

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ



АРКАДИЙ ВАЙНЕР, ГЕОРГИЙ ВАЙНЕР

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ



АРКАДИЙ ВАЙНЕР,
ГЕОРГИЙ ВАЙНЕР

ГОНКИ по вертикали

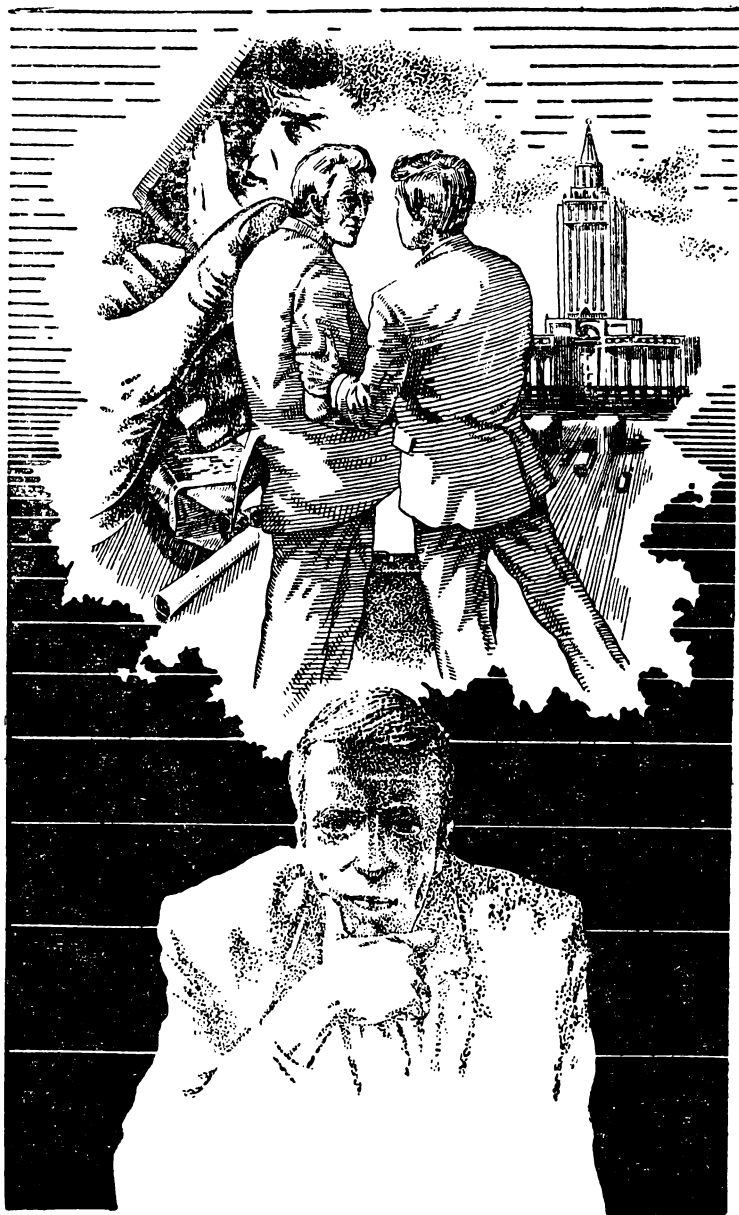
РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

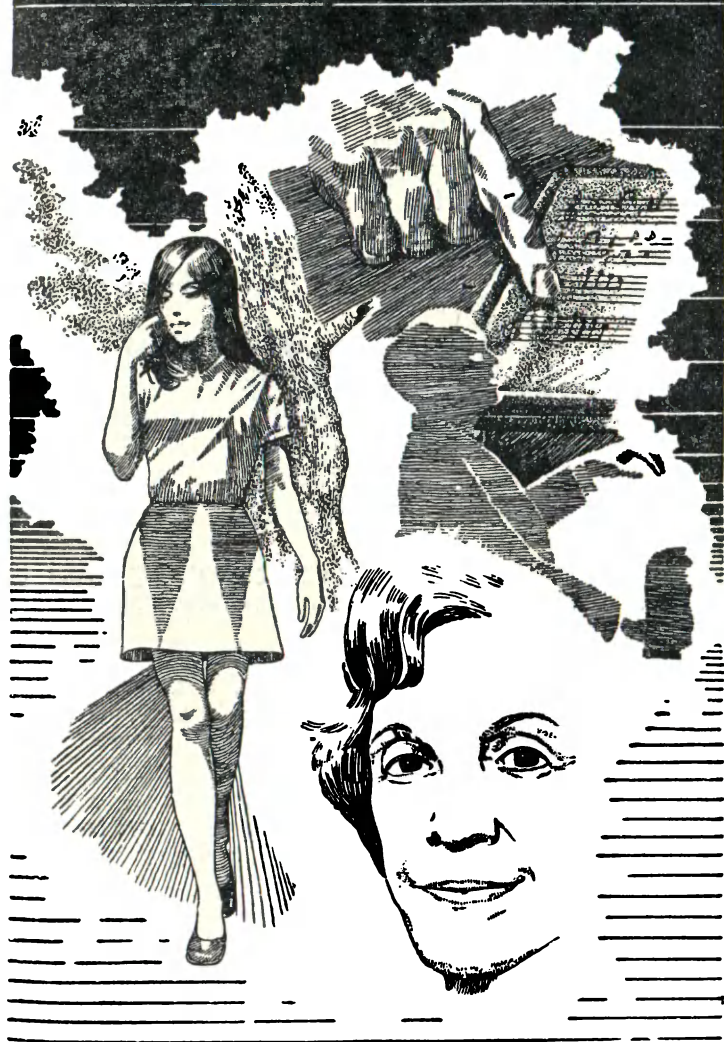
P2
B14

B $\frac{70302-158}{078(02)-74}$ без объявл.





книга первая



...Алексей Дедушкин грустно смотрел на меня бархатными черными глазами, и я видел, как под тонкими перепонками век у него накапливаются слезы.

— Мне стыдно за вас... — сказал он своим глубоким мягким баритоном.

Вот так. Ему было стыдно за нас. Или, может быть, только за меня, а за Сашку Савельева не очень? Нет, скорее всего за нас обоих, потому что беседовали мы вдвоем, и Сашке он был обязан нашей встречей даже больше, чем мне. И хотя мне тоже было стыдно за свое поведение, а уж про Сашку-то и говорить нечего, я спросил Дедушкина:

— Все-таки расскажи мне, Дедушкин, за что же тебя наградили этим орденом.

Дедушкин достал из кармана белый платок, промокнул быстрым движением глаза и негромко, интеллигентно высморкался. Платок отвел от лица, развернул за уголки и внимательно посмотрел в него, как фокусник во время представления. Но, к моему удивлению, из платка не вылетел голубь и не полезли бумажные цветы. Он просто снова сложил платок и спрятал его в карман:

— Извините меня, но предмет разговора мне пока неясен. Впрочем, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и...

И начал в пятый раз излагать какую-то фантастическую историю о болгарском друге, с которым он познакомился несколько лет назад в Крыму. Однажды купались в штормовую погоду, и болгарин стал тонуть. И вот тогда, мол, Дедушкин, рискуя жизнью, вынес его из пенных волн. Немного очухавшись, спасенный снял с пиджака орден, которым его наградили во время войны за героизм, и подарил его своему спасителю.

— ...И уж, простите меня, храню его как память, — закончил он свое прочувствованное выступление.

Почти в каждое предложение Дедушкин вставлял «прошу прощения», «уж извините», но его полный сдержанных модуляций голос дрожал от обиды, и если ты еще не совсем скотина, то должен был бы понять, что

извиняться, конечно, надо тебе самому. И у Сашки Савельева был вид человека, уже осознавшего себя прохвостом и примирившегося с этим навек. Поэтому он робко спросил Дедушкина:

— А что, старый был болгарин?

Дедушкин высокомерно усмехнулся:

— Почему же это «был»? Он еще довольно молодой человек...

Изобличенный в невежестве, Сашка совсем сник и горестно закачал головой:

— Ай-яй-яй! Вот ведь беда какая! Теперь все совсем запуталось...

— Простите, я не пойму почему? — с достоинством спросил Дедушкин.

Сашка быстро взглянул на меня, усмехнулся:

— Да по нашим расчетам получается, что вашему болгарскому другу, гражданину Дедушкин, должно быть сейчас лет эдак сто...

— Простите меня, но я не совсем...

Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал Дедушкину:

— Это очень старый орден. Вот здесь, на обратной стороне, написано...

Дедушкин взглянул мне в глаза, и океан скорби и стыда за все человечество затопил меня. Теперь Дедушкин стыдился не только за нас с Сашкой, но и за своего неведомого нам болгарского друга:

— Значит, он обманул меня...

— Ага, — сказал радостно Сашка. — Я-то все волновался, что вы нам не говорите правды, а оказалось, что наврал этот прохвост. Слава богу! Теперь надо узнать, как к вам попал этот импортный чемодан, набитый заграничными вещами, и маленькое недоразумение между нами будет улажено.

— А он, наверное, спас иностранца во время авиационной катастрофы, — невинно предположил я и повернулся к Дедушкину. — И за это иностранец наградил тебя своим чемоданом. Нет?..

Дедушкин достал из кармана свой замечательный батистовый платок и проделал с ним полный цикл фокуснических манипуляций. Потом грустно сказал мне или нам обоим:

— Вы дурно воспитаны...

Леха Дедушкин по кличке Батон, опытный вор-«майданщик», — специалист по кражам на вокзалах и в поездах, был моим старым знакомым. И, услышав это скорбно-интеллигентное «вы дурно воспитаны», я просто захохотал, поскольку с этих слов началось наше с ним знакомство восемь лет назад. Тогда он совершил непростительную для профессионала ошибку — оставил у себя редкой красоты краденые часы. Он носил их в верхнем кармане пиджака на плоской платиновой цепочке, закрепленной какой-то изящной запонкой в петлице на лацкане. По этой-то цепочке я его и высмотрел, довольно бесцеремонно извлек ее вместе с часами из кармана, и часы повисли на лацкане как военная медаль. Тогда-то он мне и сказал: «Вы дурно воспитаны». И весь он — седеющий, очень элегантный, с часами-медалью на груди — источал такую скорбь по поводу моей невоспитанности, что я растерялся и с развязностью пристыженного мальчишки сказал ему, чтобы он лучше о себе подумал, что воровать в его возрасте стыдно, и что... и что... В общем, доставляя Батона в дежурную часть, я поведал ему массу всяких пламенных глупостей, а он слушал меня не перебивая. Потом сказал с усмешкой:

— Да-а, пижонство вора погубило... — И с неожиданной злобой добавил: — Ненавижу я вас, сопляков из уголовки. Работать вы еще не умеете, но усердия и страсти на десятерых. Ты бы взглянул на себя, у тебя от возбуждения сейчас температура. Под сорок... Щенок.

Дело прошлое, но сейчас-то я могу честно сказать, что еще много лет не мог забыть и простить Батону «сопняка», которым он меня наградил при знакомстве. Я даже заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток, которые скажу ему, если доведется когда-нибудь его снова задержать. Но жизнь мало заботится об удовлетворении нашего копеечного тщеславия. Медленно, но неустанно трясет она нас в своем жестком сите, и постепенно опадает всякая труха, забываются глупости и мелочи, исчезают вздорные иллюзии, пока не остается одно лишь человеческое ядро. Правда, мне доводилось видеть, как человек целиком превращается в шелуху, или, может быть, и не было у него своего ядра, только посмотришь на такого и с ужасом обнаруживаешь, что рядом с тобой человек целиком ушел

в отходы. Да, но я не об этом. Я к тому, что много лет мне понадобилось, чтобы понять: ничего, во-первых, нет радостного в том, что я снова поймал Батона. Во-вторых, никаких слов мне не надо, чтобы доказывать ему свое нравственное и физическое превосходство, поскольку он проиграл свою партию еще до свистка. Ведь дело не в том даже, кто из нас умнее, наблюдательнее или быстрее бежит, а в самом характере наших взаимоотношений: я всегда преследую его, я всегда в атаке. Батон всегда должен скрываться, всегда бежать. Ну и, в-третьих, я только сейчас сообразил, что Батон был прав, назвав меня тогда щенком.

И неожиданно мне стало жаль этих своих безвозвратно ушедших лет, того душного вечера на товарном дворе Киевского вокзала, где остро пахло свежими сосновыми досками, угольной гарью, вишнями, и все всплыло в моей памяти, будто я просматривал ролик цветной киноленты, на которой было не только изображение, но и звуки, и запахи, и все мои волнения. Я видел нас обоих, будто не было восьми лет, и мы все еще стоим во дворе Киевского вокзала — спокойный, прекрасно одетый Батон с часами-медалью на груди и я — злой, тощий, с модненькой в то время прической ежиком и торчащими рубиновыми ушами, в скверном, все время мнущемся, несмотря на мои ухищрения, польском костюмчике, старающийся выглядеть уверенным и спокойным и от этого еще более взволнованный и неловкий. Я помню даже тополиные пушинки, которые Батон сбил с рукава точным и легким щелчком, и его злобно-презрительное «щенок». Но в тот момент я еще не мог вспомнить слов, что сразу всплыли в памяти сейчас, через восемь лет, и которые он произнес за несколько минут до «щенка». Он сказал тогда: «Вы дурно воспитаны». И, услышав сейчас эти слова, я почувствовал себя полностью отмщенным за того давнего «сопляка» и «щенка»...

— Да, не сильно ты за это время вырос, Батон, — сказал я весело. — За восемь-то лет мог бы придумать что-нибудь поновее...

Батон, не глядя на меня, ответил с большим достоинством:

— Последние восемь лет я был занят обдумыванием своего тяжелого прошлого и пришел к твердому решению жить по закону. А ваши выходки, гражданин

Тихонов, оскорбляют мое человеческое достоинство и, надеюсь, станут предметом принципиального разговора у руководства московской милиции.

Ага, даже по фамилии помнит. Я сказал:

— Что и говорить, Батон, ты типичный «человек с трудной судьбой». Но не обольщайся, полагая, что каждая кража чемодана становится предметом обсуждения у руководства.

— Я ваших порядков не знаю, но ни к какой краже отношения не имею.

— Это ясно, — кивнул я. — Правда, я не понимаю, зачем тебе эта комедия. Через час в сводку попадет заявление гражданина, у которого ты украл этот чемодан, и твоя очередная легенда получит естественное завершение.

Батон пожал плечами, показывая, что все мои домыслы не имеют к нему никакого отношения. Если бы это происходило не сейчас, а восемь лет назад, я бы, наверное, испытывал немалое злорадство, представляя, как с минуты на минуту явится потерпевший и расскажет, при каких обстоятельствах Батон увел у него чемодан. Но сейчас я не испытывал никакого злорадства, потому что прошло восемь лет и я уже не был «щенком», и хорошо знал, что Батон при опознании, и на следствии, и в суде будет выступать оскорбленным праведником, так и уйдет в тюрьму. И никакого удовольствия от того, что Батон не считает меня больше «соплянком», я тоже не испытывал.

— Что еще есть в вашем чемодане? — спросил Савельев, и я от неожиданности вздрогнул, потому что он так долго сидел молча, а я так погрузился в свои воспоминания, что совсем забыл о нем. Сашка держал в руках дорогой японский фотоаппарат марки «Никон».

— Да всякая чепуха. — Батон посмотрел на Савельева, потом внимательный взгляд его ощупал роскошную камеру. Немного помолчав, он небрежно махнул рукой. — Фотоаппарат, например...

Я сказал Сашке назидательно:

— Учитесь, товарищ капитан. Вот прекрасный образец бессребреничества и душевной широты: гражданин Дедушкин считает чепухой аппарат, который стоит больше, чем он заработал за всю свою долгую трудовую жизнь.

Но Батона такими пустяками не выведешь из равно-

бесия. Он четко гнул раз и навсегда выбранную линию. Он смотрел на меня своими грустными умными глазами, точно такими, как на старых иконах или у актера Михаила Козакова, и говорил снисходительно-вежливо:

— Ну зачем же вы со мной так, гражданин Тихонов? Помимо того, что вы еще ничего не доказали насчет этого чемоданчика, вы хоть с возрастом моим считайтесь — я ведь почти вдвое вас старше...

Ах молодец, ах нахал! Ведь прекрасно знает, что я сам раскапывал его «биографию» и доказал тогда, что ему на пятнадцать лет меньше, чем он приписывает себе, и в этом году ему исполнится только сорок четыре года, но все равно прет как танк. Ладно, мы ведь не на товарном дворе Киевского вокзала, и я, к сожалению, уже не щенок.

— Вдвое, значит?

— Вдвое. Почти вдвое, — ласково кивнул Батон.

— А я, значит, дурно воспитан и поэтому неуважительно разговариваю с тобой?

— Точно, — подтвердил Батон. — А я разговариваю с вами уважительно... Между прочим, на «вы»... Так что сначала насчет чемодана докажете.

— Докажем, Дедушкин, докажем. Ты об этом не беспокойся, — беспечно улыбнулся я. Но было мне в этот момент не особенно весело, и в глубине души нарастало беспокойство, оттого что не поступает никаких сигналов от потерпевшего, а без хозяина чемодана мы ровным счетом ничего не сможем доказать. И тогда надо будет Батона отпустить, предварительно извинившись. И пока я вел все эти для меня изнурительные непринужденные разговоры с Батоном, не покидало меня предчувствие, что здесь не все ладно, и я с нетерпением ждал известий о хозяине чемодана. Мне еще было невдомек, что владелец чемодана заявить о пропаже не может...

Сонный милиционер сказал Батону:

— Ну, пошли, что ли?

Тот встал, чинно поклонился нам, плащ перекинул на руку и гордо понес к дверям красивую седеющую голову. Глядя на Батона, я думал, что все его коренастое, крепкое туловище — только приспособление для ношения головы, значительной, крупной, вознесенной вверх, как у деревянной статуи на носу парусного фре-

гата. Милиционер посторонился в дверях, пропуская его, и Батон снисходительно кивнул. Посторонний человек, наблюдая их, наверняка бы решил, что это ненадолго заглянул сюда какой-то министр и сейчас в сопровождении милиционера обходит наши скромные апартаменты — «Рассказывайте, товарищи, какие у вас нужды?»...

ГЛАВА 2 **ВОР ЛЕХА ДЕДУШКИН** **ПО КЛИЧКЕ БАТОН**

Доброе начало полдела откачало. Это мой папаша так сказал бы. Или что-нибудь в этом роде. У него на каждый случай полно таких дурацких поговорочек. А начало получилось действительно знаменитое. Как он углядел меня, мент проклятый! Вот уж если не повезет, то никакой расчет против случая не тянет. Мне как-то на этапе Демка Фармазон рассказывал, что довелось ему удачно обобрать химчистку: сложил два здоровых тюка отборных вещичек и выкинул со второго этажа во двор. А там в затишке постовой милиционер обнимался с дворничихой — вот прямо на них тюки и упали. Спустился Демка, так они его не только повязали, еще и шею как следует наkostenяли за порушенный уют.

Но, конечно, противнее всего, что подвязался к этой истории Тихонов. С ним я дерьма накушаюсь. Это как пить дать. Вредный он, зараза, и наверняка на зло память долгую держит. Окажись под рукой мой дед, он бы мне сказал: «С людьми надо уметь строить отношения». Н-да, хорошо ему было строить отношения, когда он в Коммерческом клубе по вечерам играл в карты с ростовским полицмейстером Свенцицким. И когда полковник Свенцицкий лез под стол за упавшим полтинником, мой дорогой дед светил ему зажженной сторублевкой — «катенькой». Думаю, что Тихонов со мной не сядет играть в карты. Да и я нашел бы сторублевке лучшее применение.

Так что, попался? Неужели сгорел Леха Дедушкин? Эх, Тихонов, миляга мой расчудесный, если бы ты знал, как мне неохота лезть в «кичу» по-новому! Это ведь ты голько думаешь, что мне сорок четыре годика. А на самом-то деле мне еле тридцать семь отстучало. Ты хоть

и вострый паренек, но замотал я тебя в прошлый раз, да и масть моя седая сбила тебя с толку. Знаменитая у меня масть — седина бобровая, серебряный волос из меня со школьной поры прет. Мне бы с такой благородной окраской фармазонить — фраерам «куклы» продавать, а я вот по глупости в «майданщики» подался. Как говорила мадам Фройдиш, что держала хазу в Марьиной роще, на Пятом проезде: «Если человек дурак, то это надолго».

Конечно, виноват во всем охломон, который придумал поговорочку «Учение — свет, а неученье — тьма», потому что у меня как раз все неприятности от учения. Вот те несчастные без малого десять лет, что я отсидел в школе, и определили тайный ход карт в моей жизни. Я почувствовал огромный избыток образованности — она меня переполняла, она меня просто душила, полсвета я мог бы научить из несметных своих знаний. И даже если бы меня не вышибли из школы за то, что я спер и продал на Тишинке пальто нашего химика, я бы все равно, наверное, уже не мог учиться — я и так все знал.

Почему-то я часто вспоминаю этого химика. Он уже умер наверняка, ему и тогда было за шестьдесят. Но его я вспоминаю чаще многих живых. Он странный человек был. Однажды, поспорив с Васькой Мухановым на два бутерброда, я встал на уроке и сказал: «Петр Иванович, извините, пожалуйста, но мне кажется, что вы дурак». Дело давнее — почитай, лет двадцать с гаком укатило, но я и сейчас помню ту ужасную тишину, просто немоту какую-то, залившую класс. Замерли все неподвижно, будто грянул гром и все окаменели. А Васька Муханов побелел так, словно я ткнул его рожей в гипс, он ведь до последнего момента не верил, что я скажу. Мне и самому не хотелось говорить, но мы уже поспорили, не отдавать же ему бутерброды. Я и сказал. Тихо было в классе, только с Цветного бульвара раздавался трамвайный звон и сипло дышали проржавевшие трубы отопления. Я поднял глаза на учителя — он тоже тихо стоял, длинный, очень худой, в синей гимнастерке, штопаной, старой, обсыпанной мелом и табачным пеплом. Стоял он, заложив руки за широкий сержантский пояс, и, прищурясь, смотрел на меня одним глазом — одним потому, что на втором было большое серое бельмо.

Он, наверное, долго молчал, мне-то, уж во всяком случае, показалось — целую вечность, а потом не спеша и негромко сказал:

— Может быть. Может быть, с твоей точки зрения я и дурак, — помолчал и спросил, будто советовался со мной: — Только как же мне учить-то тебя дальше?

Не знаю, если бы он мне дал по рылу, или вышвырнул из класса, или послал бы к страшному директору школы Шкловскому — в общем, принял бы какую-то необходимую по их учительской науке меру, то, может быть, все в моей жизни пошло бы по-другому. Но он не принял мер. Или, может быть, это была неприменимая ко мне мера — он хотел подействовать на меня добром, а я этого смерть как не люблю, но, во всяком случае, он сказал только:

— Ты сядь, Алексей. Такие вещи не обязательно говорить стоя...

Вот ей-богу, я и сейчас не могу понять, почему я себя повел тогда таким макаром. Я просто озверел. Ну простил старик, садись, утри сопли и помалкивай в тряпочку. Побил он козырным тузом твою мусорную семерку — сиди и не рыпайся. Так нет же — битого валета из рукава потянул. Убежал со следующего урока, взял в раздевалке пальто химика и отнес на Тишинку. Черное пальто было, с истертым бархатным воротничком, из драпа с пылью пополам. Там меня и загребли. Доставили в 5-е отделение, сидел я в «аквариуме» вместе с какими-то пьянчугами, бабами-мешочницами, одним карманником и бритым чучмеком поперек себя шире.

Потом я увидел через решетчатую дверь, как в дежурку в клубе пара с мороза ввалился химик Петр Иванович, замотанный шарфом, в женской кацавейке поверх синей гимнастерки. Я видел его бураковые, набрякшие уши и как он судорожно растирал занемевшие от холода руки, и все во мне переворачивалось от жалости к нему и ненависти на весь мир. И слушал его тихий бубнящий голос, бившийся о деревянный барьер дежурки, как в стены бочки, и, наверное, именно тогда я первый раз подумал, что все мы живем в бочке, громадной бочке, которая нам и земля, и небо, и весь наш размах и полет, и все наши удачи и унижения, все ограничено покатыми вонючими стенками не видимой гла-

зом бочки, которая и сама-то не твердь, а так, кусок дерьма, мчащийся на волнах мироздания.

Химик бормотал: «Нервный мальчик... это эксцесс... педагоги должны в первую очередь отвечать...»

И тогда я с разбегу бросился на решетку двери, искровенив махом себе всю рожу, и заорал жутким, рвущимся из живота криком:

— Не верьте!.. А-а-а! Я сам за все отвечу!.. Мне вы все надоели!.. Я украл! Украл! Украл!..

ГЛАВА 3 ДОСУГ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

— Крупная сволочь этот твой старый друг Дедушкин, — задушевно сказал Сашка.

— Да-а? — удивился я. — Не совсем так. Это определение не для него.

— А какое же для него? — насмешливо глянул на меня Сашка.

— Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь. Но он нам враг и требует серьезного отношения.

— И что будем делать?

— Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявление.

Сашка уверенно сказал:

— Ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще и не хватиться чемодана, а сейчас, пожалуй, уже спит. Утром обнаружит пропажу и заявит...

— Да-а? Ты так думаешь? — спросил я с надеждой. — Я тоже хочу так думать...

— И что?

Я лениво потянулся, подавил в скулах зевок, сказал:

— Пива бы хорошо попить. С воблой и соленым горохом. «Праздрой» любишь?

— Ничего. Со свежими раками лучше. Так что же с чемоданом?

— А я сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения. Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего.

Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся:

— Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем: это задачка по линии математического бреда. А трехмерные упражнения мы с тобой в уме делать не умеем. Так что все равно ничего не получится.

— Да перестань ты выкаблучиваться! — прорвало наконец Сашку. — Надо сесть и подумать, в каком направлении искать...

— Вот именно: в каком направлении искать, — обрadowался я. — Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем — поезда отсюда уходят только в юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять...

Сашка сделал протестующий жест, но я успел договорить:

— Это при условии, что ты прав и пассажир еще едет в поезде. А если он, наоборот, приехал в Москву?

— Тогда надо построить несколько рабочих версий и...

— Давай. Тем более что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неутomительный...

Мне уже самому надоело балаганить, а Сашка не хотел заводиться, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появляется пассажир, у которого Батон украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло, и придумал я все это потом, тем более что сильно удивляться или волноваться не было оснований — ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но, во всяком случае, тогда я отнесся ко всей этой истории довольно спокойно, иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всем желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь, и даже если бы мы его нашли, то только все испортили. Честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идет через ошибки.

Я уже привык к мысли, что процесс нашего возмужания — это вроде вступления в какое-то труднодо-

ступное общество и, чтобы вступить в этот «Клуб опытных людей», надо много и дорого платить — годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт, или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Штука необходимая, избавляющая тебя, в частности, от унижительного сознания, что ты щенок. И как только избавился — тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу, потому что в каких-то вещах мы до смерти остаемся щенками, и, когда уходит от тебя это понимание, ты теряешь готовность к встрече с неожиданностью, которая берет тебя за шиворот и начинает тыкать носом в твою замечательную житейскую мудрость: «Ты же ведь больше не щенок? Ты же член клуба взрослых, опытных людей? Давай, давай, реши-ка мои задачки!» Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой ее допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее, потому что я был меньше щенок. И много, очень много дней и ночей я исправлял свою ошибку, чтобы, поняв и исправив ее, решить свою проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, что я уже не щенок.

Я сказал Сашке:

— Хорошо, давай подождем до завтра. Если пассажир завтра не объявится...

— Да куда он денется? — резонно возразил Сашка. — Кроме того, завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. Кого ты сейчас вечером, да еще в субботу, найдешь там?

— Завтра, между прочим, тоже нерабочий день — воскресенье, — напомнил я.

— Но ведь это будет день. День, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка! А сейчас ночь на дворе!

— Ладно, все равно мы с тобой за день сильно устали, ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон на случай, если новости будут, и поедem спать.

На том и порешили.

Мы вышли из метро на Комсомольской. Площадь была залита пронзительным дымным светом ртутных фонарей, который, перемешиваясь с нервным мерцанием неоновых реклам, вспышками автомобильных огней, поднимался над спящим городом как извержение. Моросил холодный апрельский дождь, и мостовые туск-

ло отсвечивали нефтяным блеском, а изо рта шел пар, который подолгу не хотел таять, и люди были похожи на рисунки в комиксах, когда разговор изображают такими исписанными клубочками пара, срывающимися с губ. И если бы мы с Сашкой написали слова на этих маленьких облачках, то все смогли бы прочитать, что мы с ним думаем.

И хотя большинство людей в принципе не прочь узнать, о чем думают остальные, как раз на этой площади им меньше всего до этого дела. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бессчетное количество пассажиров, заполняющих ее до предела. Я иногда с испугом думаю о том, как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое и все пассажиры уехали, и больше поезда не пришли бы к платформам, и вся эта суета утихла, исчезло веселое напряжение перед дорогой, опустели перроны, залы ожидания и переходы, и, хотя я понимаю, что это чушь, чепуха, остаток какого-то вздорного сна, я все равно пугаюсь, потому что пустой вокзал и заколоченный дом для меня всегда были символами смерти.

Из дверей метро слышался ровный утробный гул и толчками выходил теплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной, и даже здесь был осязаемый запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло земель, прошлогодней травой, тающим снегом, хвоей...

— Пошли ко мне? — предложил Сашка. — Поужинаем вместе, потремся, а захочешь — останешься ночевать.

Я покачал головой:

— Спасибо, не могу. У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости.

— Куда ты в одиннадцать часов поедешь? Знаю я твои визиты, — засмеялся Сашка. — Плюнь, завтра поедешь.

— Не могу, — упирался я, — тем более что мне и не ехать, а идти. Тут рядом, пять минут. Я точно обещал...

Я смотрел Сашке вслед, на его прямую, твердую спину в узеньком коротком пальто — крепкий спортивный мальчишка, и испытывал чувство обиды и досады, как ребенок, дважды отказавшийся за столом от люби-

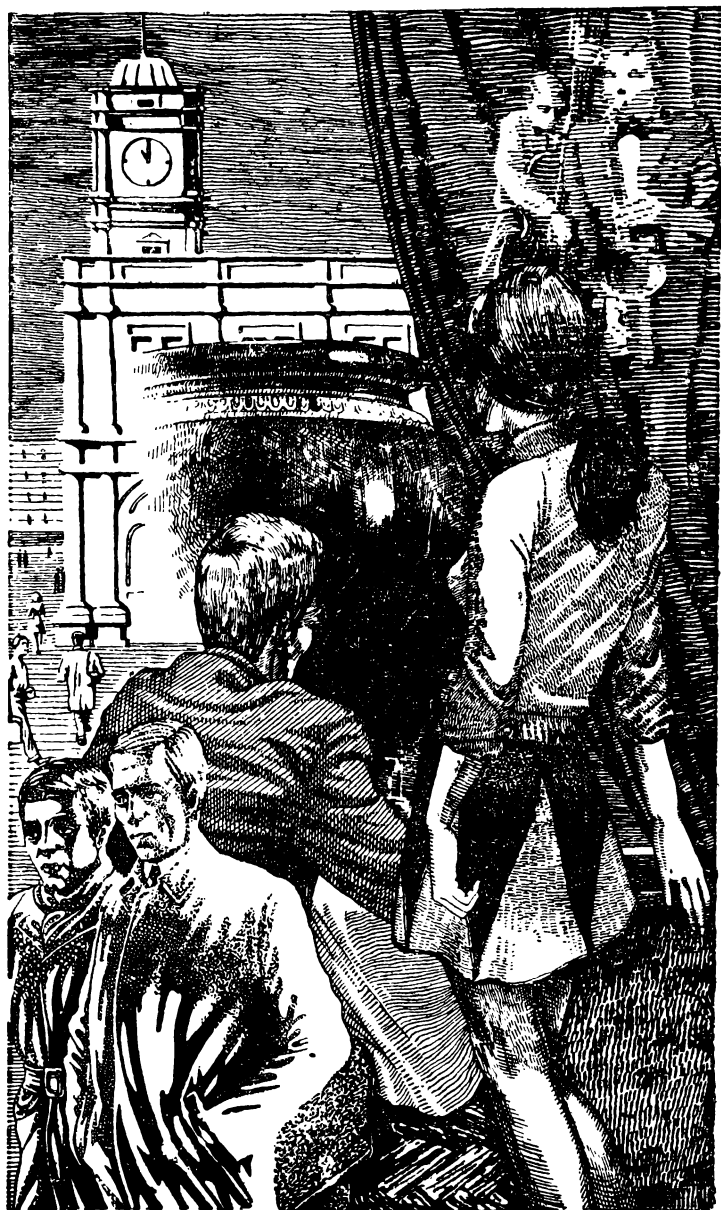
мого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню и нельзя сказать: «Я передумал, дайте мне тоже кусочек», — потому что предлагали-то от всего сердца, и никому не объяснишь, из-за чего находит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которого мне сейчас больше всего хотелось, которое мне так было нужно, не отрежешь кусочка на долю гостя.

А хотелось мне немного, всего капельку обычного обывательского покоя. Того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют «мещанским уютом», которого благополучные люди никогда не прощают житейским мескладехам. Того покоя, семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехам, окружает удобной мебелью в своей квартире, предлагает вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще позволяет иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена четыре рубля, которые стоят под вешалкой и являются для меня обелиском жизненного спокойствия, благополучия и устроенности.

В общем, когда тебе тридцать лет и у тебя масса нерешенных жизненных и бытовых проблем, весна вызывает болезненно-острое чувство грусти и активное отвлечение к своей запущенной холостяцкой комнате в многолюдной коммунальной квартире.

Короче говоря, в этот весенний прохладный вечер или ночь, уж не знаю, как правильнее надо считать одиннадцать часов, охватило меня томительное чувство неприкаянности, пустоты и абсолютной ненужности никому на свете; и, пока я шагал через площадь, раздумывая, где бы поужинать, мне становилось все досаднее, что я отказался от Сашкиного приглашения, и в душе росло какое-то несправедливое ожесточение против ничего не подозревающих людей, сумевших устроить свою жизнь бесхлопотно и красиво. Я понимал несправедливость своего гнета и вздорность своих глупых претензий, и от этого злился больше всего на себя самого.

По путепроводу Окружной железной дороги, мягко погромыхая, катился поезд Ленинград — Сухуми. В окнах, освещенных абажурчиками настольных ламп, были видны пассажиры в пижамах, папильотках, и все



эти желтые, розовые и голубые купе — отсюда, с мокрого тротуара, — виделись прекрасными микромирами уюта, благополучия и душевного спокойствия. Я поднял воротник плаща и пошел к подъезду гостиницы «Ленинградская».

Народа в ресторане было немного, и я уселся у окна, рядом с огромной, просто ужасающей своими размерами вазой, вознесенной на подоконник, по-видимому, подъемным краном. Официанта не было, и я пока занялся разглядыванием посетителей. Молодые люди ласково журчали с девушками о чем-то неповторимом, уныло разжевывали свои шницели командированные, веселилась на всю катушку компания иностранцев, судя по красным затылкам и огромному количеству пива — немцев. Они так дружно чокались и с таким аппетитом ели жареное мясо, что у меня начались голодные спазмы.

Пришел официант. Быстро записал заказ и спросил: — Что пить будем?

В глазах у него была твердая решимость, как у опытных медсестер, которые уже привыкли к постоянным отказам больных пить совершенно необходимый для них рыбий жир, и сколько бы они сейчас ни откручивались, на этот раз номер не пройдет — выпьют как миленькие! Я понял, что и мне не миновать сегодня этой чаши в прямом смысле, и сказал трусливо: «Да коньячка граммчиков сто пятьдесят, пожалуй», — хотя пить совсем не хотелось.

Я смотрел на иностранцев и раздумывал, почему же не появился с заявлением о пропаже владелец чемодана. Интересно было бы знать, что он делает сейчас. Едет куда-то из Москвы в поезде. Или, наоборот, приехал и, может быть, даже живет в этой гостинице, и сидит пьет себе пиво вместе с этой компанией. Только вряд ли. Если бы он приехал, то уже обязательно хватился чемодана. Жалко, что Сашка задержал Батона перед вечером — даже позвонить было некуда... Очень есть хочется. Я неожиданно подумал, что Батон тоже голодный — его доставили в камеру предварительного заключения уже после раздачи ужина, — и почувствовал от этого какое-то дурацкое злорадство. Нечего было воровать, а надо было заниматься каким-нибудь тихим почтенным трудом, иметь семью и диетическое питание — у него от бурно прожитой жизни наверняка боль-

ные печень и желудок. Вот если бы Батон был не вором, а приличным человеком, то у него — я это точно знаю — под вешалкой обязательно стояли бы войлочные тапки за четыре рубля. Но у Батона нет тапок, потому что он вор и ему надо все время ездить, бегать, скрываться, и тапки для такого дела совсем неподходящая обувь. А вот почему, интересно знать, у меня нет войлочных тапок?.. Я, наверное, еще долго размышлял бы над всей этой ерундой, но официант принес еду. Он меня явно не уважал и не старался скрыть этого — воспитанный человек не станет в двенадцатом часу есть борщ. Но, во-первых, я вообще люблю борщ, а во-вторых, я точно знаю, что человек за обедом должен есть одно горячее жидкое блюдо. Это я прочитал в замечательном журнале «Здоровье», где в разделе «Полезные советы» есть масса подобных откровений. Поэтому я решил съесть свой борщ во что бы то ни стало. И, кроме того, я не виноват, что мой обед так запоздал. Но поскольку я верю в судьбу, то считаю, что не только у людей — у вещей тоже есть своя судьба. Так вот, если можно борщ считать вещью, то у него была судьба остаться несъеденным. Кто-то негромко сказал:

— Стас... А, Стас?..

Не оборачиваясь, я уже знал, кто это стоит у меня за спиной и ласково смотрит мне в затылок, и борщ стал горьким, а может, кислым или сладким, не знаю, не помню, просто он исчез, я забыл о нем вместе со всеми прекрасными советами из журнала «Здоровье», как забыл про ненакормленного Батона и неведомого мне владельца чемодана, и о том, что мне сильно не хватает в жизни войлочных тапок за четыре рубля, потому что этот хриловатый низкий голос и ласково-неуверенное «а, Стас?» могли принадлежать только одному человеку на свете. Человеку, с которым мне совсем и никогда не нужен уют и обывательское спокойствие, и не нужна квартира с мягким диваном, под которым стояли бы войлочные тапки, потому что, когда мы вместе, мне просто некогда думать обо всех этих глупостях, потому что до сих пор это единственный человек на всей земле, с которым я бы хотел быть всегда вместе, и ни годы, ни боль, ни множество других встреченных мной людей ничего не могут изменить и исправить. Так уж получилось, и, видно, ничего и никогда тут не изменить.

Не оборачиваясь, я кивнул, проглотил ложку безвкусного, как горячая дистиллированная вода, борща и сказал негромко и бесцветно:

— Конечно, я. Кто же еще. Садись...

И даже не удивился исключительной глупости своего ответа — будто мы каждую ночь обязательно встречаемся в ресторане гостиницы «Ленинградская» и последний раз виделись как раз вчера. Нет, не удивился — эта женщина обладала редкой способностью заставлять меня вести себя так, как я никогда и ни с кем себя не веду. Она села на стул боком, положив удобно ногу на ногу, и со своим обычным ласковым и чуть плутоватым выражением заглянула мне в лицо:

— Ты устал? Или расстроен? А, Стас?

Я отодвинул тарелку с опостылевшим мне борщом и, не глядя на нее, сказал:

— Нет. Я очень люблю по ночам есть борщ. Обычно это занятие поглощает меня полностью.

Она положила мне на руку свою ладонь, и я подумал, что в жизни я могу подготовиться к встрече с тысячью Батонов, но вот есть же человек, живущий от меня в двадцати минутах езды, с ним в любой момент можно созвониться по телефону, и раз-два в год мы видимся, и перед которым я всегда щенок, никогда не готовый к встрече. Потому что, когда она кладет свою ладонь мне на руку, меня охватывает какое-то сладкое сумасшествие, и я забываю, что сто раз давал себе клятву презирать ее, ненавидеть, не уважать, не любить, не помнить, и мне хочется бесконечно продлить это мгновение, когда она сидит рядом со мной, ласково улыбается и держит меня за руку

Я осторожно высвободил руку из-под ее ладони и понял, что получилось это смешно и некрасиво, и, чтобы как-то скрыть смущение, взял со стола графинчик:

— Тебе коньяку налить?

Она молча кивнула, и, хотя по-прежнему не смотрел на нее, я понял это, угадав, как я всегда угадывал смысл ее молчаливых жестов, точно узнавал ее присутствие у себя за спиной.

— Ты с работы? — спросила она.

— Ну что ты! Сегодня же суббота, я не работаю, — неуклюже соврал я, лихорадочно придумывая, где бы это я мог быть вечером в субботу, откуда ушел в ресторан есть борщ. Дело в том, что мне ужасно не хоте-

лось выглядеть в ее глазах каким-то зачуханным и голодным, ведь каждый голодный человек выглядит немного несчастным. Но придумывать ничего не пришлось, потому что она наклонилась ко мне и быстро провела рукой по боку пиджака, нащупала пистолет в полукобуре на поясе и засмеялась:

— Эх ты, врунишка! Я тебе тысячу раз говорила, что ты не умеешь врать, лучше уж и не учись. А кстати, как же ты на работе-то? Ведь тебе, наверное, надо уметь ловко обманывать своих жуликов...

— Нет, они мне и так верят, — усмехнулся я.

— Но если им говорить всю правду, то ты ведь и не докажешь, что они жулики, — удивилась она.

— Я могу просто не говорить им всю правду, — пожал я плечами, — я ведь могу о чем-то просто не говорить.

Мы чокнулись, и я первый раз взглянул ей в лицо, и, как всегда во все эти долгие годы, екнуло сердце, потому что если бы я верил в бога, то подумал бы, что это лицо — крест моих человеческих исканий, вечной неутоленности, приговор пожизненного подчинения человеку, которому все это совсем не нужно. Не виделись мы больше полугода, но она совсем не изменилась, как, в общем-то, не изменялась за те десять лет, что я знал ее. Может быть, я совсем не способен оценивать ее объективно, но мне кажется, будто и сейчас ей нельзя дать больше двадцати — двадцати двух лет, хотя ей столько же, сколько мне.

— А за что мы будем пить? — спросила она.

— За что хочешь. Это не имеет значения. Вообще все это не имеет значения.

— Нет, имеет. Это вроде знака уважения или ритуала воздания небольших почестей. Давай выпьем за тебя...

— Ты же знаешь, я не люблю всякие знаки. Но если тебе нравится, давай выпьем за меня.

— Я тебе желаю счастья.

— Спасибо. Но это неважно.

Конечно, мне бы хотелось в этот момент выглядеть поуверенней и «поблагополучнее», но даже под ее гипнозом я понимал, что все удобства и блага мира, даже войлочные тапки, без нее не существуют, и прикидываться, изображая самодовольного жуира и баловня судьбы, просто глупо. Потому что, если честно гово-

рять, для счастья мне в жизни не хватало только ее, и было бессмысленно пытаться обманывать ее в этом, хотя бы из-за того, что мы все равно никогда не будем вместе. Ведь если хоть один человек на всем свете знает тайну другого и пускай никогда и никому не говорит о ней, то это уже все равно не тайна, поскольку они оба знают о ней, и она или соединяет их, или разделяет навсегда. А она знала мою тайну, мою любовь, муку, мое счастливое страдание. И еще она умела читать мои мысли. Она сказала:

— Мы ведь все забыли?

Я повернулся к ней всем корпусом:

— Нет! Даже ты не забыла. А я забывать не хочу и ничего не забуду. Когда я был моложе и глупее, я старался позабыть. Ты ведь не предложишь мне сейчас «остаться друзьями»?

— Стас, дорогой мой, но ведь это не может быть вечно! Тебе надо устроить как-то свою жизнь. Нельзя же до старости жить вот так и ходить ночью в ресторан есть борщ. А нам, кстати говоря, ничего не мешает быть друзьями...

— Мешает. Если между любовью и дружбой лежит расставание, значит, и не было никакой любви или разлюбили совсем и все позабыли. А я ничего не забыл и забывать не хочу. Это раз. А что касается необходимости устраивать свою жизнь, то она и так прекрасно устроена. Вот только куплю тапки, и все в порядке...

— Какие тапки? — удивилась она.

Я засмеялся:

— Есть такие замечательные тапки. Да это неважно. И давай не говорить обо всем этом. Лучше выпьем за тебя, ты расскажешь, как живешь, и все будет отлично.

Я почувствовал, что от голода, волнения и усталости начал пьянеть: это от двух-то рюмок коньяка! В зале пригасили часть огней, и ее лицо расплывалось в полумраке, текло, струилось, как на врубелевских картинах, и на мгновение мне даже показалось, что я просто задремал, дожидаясь официанта, и все приснилось — она не приходила, и весь наш разговор — это продолжение сегодняшних воспоминаний, которые вызвал Батон. Но она сидела совсем рядом, бесконечно далекая, и я не мог преодолеть это расстояние, как нельзя перепрыгнуть через пропасть в два приема.

— Тебя, наверное, очень боится жулье, — сказала

она. — В тебе есть какое-то ужасающее неистовство. Ты никогда не сможешь быть счастливым, потому что ты не воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, и если тебе что-то надо, то ты вцепляешься мертвой хваткой — как волкодав, пока не докажешь свое.

Я понял, что отвечать не надо: она не разговаривала со мной, а просто думала вслух.

— И мера затрат тебя тоже не интересует. Тебе важно только выиграть, а какой ценой это достанется, тебе безразлично.

Я усмехнулся:

— Не надо делать из меня человека, горящего на работе...

Она строго сказала:

— Не дурачься. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю, — ты был таким же, еще когда учился, и я тебя — безусого еще — просто побаивалась. Тебе, пожалуй, надо было стать спортсменом — из тебя вышел бы пожизненный чемпион по боксу...

— Так не бывает. Пожизненных чемпионов не бывает — человек обязательно когда-то проигрывает.

— Вот я об этом и говорю. Такие альтруисты, как ты, — тираны. Они верят в свою правоту и стремятся подчинить всех окружающих своей идее, своим страстям, своей правде.

— А если окружающие не согласны?

— Тогда ты с ними воюешь, даже если для этого приходится мучиться и любить. Но людей вокруг много, Стас, и страстей твоих много, а тебя самого мало. Поэтому ты проиграешь. Жизнь коротка.

— Может быть, — пожал я плечами. — Раз жизнь коротка, то скоро она все покажет.

Как хорошо было бы, если бы она вышла замуж за какого-нибудь дипломата и уехала с ним в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро, и я бы точно знал, что между нами полмира, и нельзя позвонить, и невозможно приехать на троллейбусе, и нигде меня не подстерегают эти случайные встречи, от которых остается чувство горечи и тоски! Может быть, тогда я бы примирился с мыслью, что ее больше нет, нет, почти физически нет, раз между нами есть муж, пухлые дети, таможни, восемь границ, тысячи километров, необходимость устроить свою личную жизнь и купить войлочные тапки и, наконец, есть миллион девушек, согласных делить со мной время

моих страстей, нести тяготы «альтруистической тирании». Но пока она рядом и пока существуют рестораны, куда в двенадцатом часу я хожу есть борщ и случайно встречаю ее, все это становится нереальным.

— Лена, мне тридцать лет, я нормальный мужчина с минимальными достоинствами и бесчисленными недостатками, самый обычный человек, в общем. Когда-нибудь я встречу женщину, которую ищу, которая мне нужна, и все проблемы решатся сами по себе...

— Но скорее всего она окажется похожей на меня. Тогда что?

— Не знаю, но думаю, что все будет нормально. Если бы мы встретились с тобой сейчас, а не десять лет назад, все было бы по-другому...

— Да, наверное.

Мы посидели молча, потом я спросил, как она попала сюда.

— Иностранную делегацию принимаем. Это издатели и переводчики из Финляндии, — сказала она. — Наше издательство заключило с ними договор.

— А что ты сейчас делаешь? — спросил я.

— Редактирую прелестную книгу про средневековых пиратов.

— Это, наверное, действительно интересно. — Я подумал, как великолепно было бы ступить сейчас на палубу пиратского галиона, и грохнул бы залп из медных жерл, взвились вымпелы на реях, не было бы горестей, тревог и забот, а только удадь и красота боя. — Слушай, а почему про нас, сыщиков, следователей, не пишут хороших книг?

— Трудно. Чтобы книга была про сыщика, а не про фельдшера, надо написать сыщика в работе. А масштаб интереса к его работе обычно поглощает интерес к его личности. Так и появляются книжки про всякие уголовные чудеса, которые раскрывают совершенно одинаковые герои в синих шинелях.

— В серых. Теперь форма новая.

— Герои-то от этого не изменятся...

— Ну что ж, до встречи?

Пройдет несколько месяцев, и я снова — в метро, или на улице, или, как было однажды, на пляже в Адлере — снова увижу ее, услышу вопросительно-ласковое «а, Стас?», и снова ударится, срываясь с ритма, застучит, забарабанит сердце, и она вновь положит мне

ладонь на руку, и я буду тонуть в радостной мучке и смешном неуважении ко всем устроенным, благополучным людям, потому что она здесь, рядом, на другом краю пропасти, которую не перепрыгнуть в два приема...

ГЛАВА 4 ТИШИНА ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

В «предбаннике» — дежурной комнате камеры предварительного заключения — у меня отобрали брючный ремень, галстук и попросили вытащить из ботинок шнурки, короче говоря, освободили меня от всего, что может жать, стягивать, мешать во сне и на чем бы я мог сдуру удавиться, коли страх перед грядущим возмездием станет невыносимым. Конечно, изъятие всех этих тряпок — приспособлений висельника — совершенная чепуха, потому что, приди мне блажь удавиться, я бы скрутил из подкладки пиджака такую петлю — хоть на Геринга.

Дежурный, пожилой старший лейтенант, еще раз просмотрел список изъятых у меня имущества, при этом протокол он водил перед самыми глазами, отчего казалось, будто он тщательно принюхивается к написанным им самим строчкам, и ту, что понравится больше всех, наверное, слизнет со страницы, но, видать, ни одна настолько ему не понравилась — не стал он слизывать строчек протокола, а бросил листок на стол и, покачав седой круглой головой — волосы его были похожи на аккуратно приклеенные к костяному шарiku лоскуты серого бобрика, — сказал сипло:

— Такой человек приличный с виду... — И снова покачал своей бобриковой башкой.

— А я не только с виду. Я и снутри тоже ужасно приличный.

Дежурный на меня внимательно посмотрел, для этого случая он даже вытащил из ящика стола очки — жутко старые очки, с отломанной оглоблей, перевязанной нитками «мулине», и смотрел он через них, как в лорнет, — держа в руке. И со своими очками, обвязанными салатовыми нитками, он был так не

похож на тюремного смотрителя, что я перегнулся через стол и заглянул в открытый ящик.

— Вам чего там надо? — сердито спросил дежурный, желтая мятая кожа на костяной голове под пыльным бобриком тускло забагровела, и он быстро задвинул ящик в стол. Лежал там старый журнал «Огонек» с наполовину разгаданным кроссвордом и промасленный бумажный сверточек с бутербродами.

— Я подумал, что у вас там должно быть вязанье и спицы, — сказал я ему душевно.

— Это почему еще?

— Да так показалось. Вы мне лучше скажите, как с моей жратвой будет?

Судя по лицу дежурного, я ему совсем мало нравился. Да уж ничего не попишешь, раз ты на службе, терпи. Терпи, терпи, может, капитаном станешь. Он все так же сердито сказал:

— Кормление задержанных производится в восемь, тринадцать и девятнадцать часов. А сейчас сколько? Какая же может быть еда среди ночи? Терпите до утра.

— А какое мне дело, сколько сейчас времени? Я ведь не то чтобы гулял по столице, дышал свежим воздухом и забрел к вам переночевать. Меня задержали около пяти часов вечера — заметьте, незаконно задержали и за это еще ответят где следует...

— Я за это не отвечаю, — сказал дежурный. — Кто задержал, тот и будет разбираться. Просто так людей не хватают.

— За арест не отвечаете. Но завтра я напишу прокурору, что и вы применяли ко мне пытку голодом...

— Какую пытку? — удивился дежурный. — Мной раз случается по суткам ничего не есть.

— Хоть по неделе. Меня это не касается...

И еще долго я балаганил, пускал слезу, нажимал на басы, грозился, и все для того, чтобы не идти в камеру, где желтый мутный свет, тишина и всегда пугающее меня одиночество. Мне и есть-то совсем не хотелось, но только невыносимо было сидеть одному в пустой камере, шуршащей, шаркающей тишине, и лучше бы еще два часа препираться с этим высохшим сморчком — дежурным, чем идти в камеру, где я буду один, а для меня нет ничего страшнее, чем находиться в комнате одному, одному засыпать и одному просыпаться. Штук тридцать психиатров и невропато-

логов смотрели меня — лысые и косматые, совсем уж потрясучие от старости и здоровенные обломы, похожие на футболистов, сладенько-вкрадчивые тихони и громыхающие нахалы, и все они стучали меня по коленям своими молотками, водили перед глазами пальцами, спрашивали, нет ли в роду алкоголиков, сифилитиков, психопатов, многозначительно бормотали: «психостенические наклонности по Баншикову», «синдром Корха», «клаустрофобические симптомы Циндлера», прописывали мне массу всяких порошков, капель, психотерапию, холодный душ, и, конечно, вся эта лабуда помогает мне как мертвому банки. Стоит мне остаться в комнате одному, не помогают ни снотворные, ни валерьянка, ни элениум, ни седуксен — ничего не помогает, и начинает меня душить бессонница, тоска холодным утюгом наваливается на грудь, и, если случается задремать ненадолго, приходят кошмары, липкие, приставучие, нелепые; они в бессмысленном калейдоскопе поднимают со дна памяти всю дрянь и грязь, все то безмерно противное, что хотелось бы забыть навсегда и о чем наяву не вспоминаешь, а стоит прикрыть глаза в тишине пустой комнаты — и все они здесь, и мечешься во сне, кричишь, плачешь, пытаешься сбросить навязчивую одурь, а они держат цепко, не пускают, и приходится выдираться из сна, как из водолазного костюма с оторвавшейся воздушной трубкой. А проснувшись, долго не можешь успокоить дыхание и чувствуешь себя гадко и стыдно, словно вынырнул из выгребной ямы.

Поэтому я и препирался с дежурным, и грозился, и стыдил его, пока ему не надоело. Он открыл вновь ящик стола и протянул мне свой сверточек с бутербродами:

— Если вам так не терпится, нате поужинайте. В бачке кипяченая вода.

— Ну уж нет! — важно сказал я. — Мы люди бедные, но гордые, нам подачек не надо. Я сыт буду, когда вас всех за нарушение социалистической законности сурово накажут. — И тут я быстро к нему наклонился через стол и сказал тихо-тихо, почти шепотом, но отчетливо, чтобы он каждое слово слышал: -- Вам до полной выслуги сколько не хватает? Совсем малость, видать? И вдруг без пенсии — на волю! А-а? Вот поворотец для карьеры!

Дежурный положил сверточек на стол, накрыл его

обеими руками, будто вдруг ужасно застеснялся или очень испугался, как если бы он мне не бутерброды свои отдавал, а предложил взятку, и я с гневом отказался от нее, а он теперь не знает, что ему делать с этими проклятыми бутербродами, хоть бы в стол втереть, и сидел он так, прикрыв сверток своими корявыми ладонями, довольно долго, потом заглянул в протокол, наверное, чтобы фамилию мою вспомнить, и стал смотреть на меня, но уже не в дурацкие свои очки, подвязанные «мулине», а просто сощурив бесцветные узкие глазки на сухом, печеном лице, и неровный бобрик у него на темени от напряжения двигался.

— Очень вы плохой человек, гражданин Дедушкин, — сказал он тихо.

Я радостно захохотал и спросил:

— А вы хороший?

— Я обыкновенный. Кабы мне право такое было дано, я бы вам в паспорте написал, в графе «Особые отметки» — плохой человек.

Сигаретку размял я, закурил и сказал ему:

— Вот видишь, старшóй, какой огромный рост гуманизма в твоей профессии. Раньше таким людям, как я, на щеках и на лбу такие, как ты, каленым железом отметку делали. А ты только о паспорте мечтаешь. Зато даже и этого не можешь.

Он еще подвигал своим тусклым пыльным бобриком, пожал плечами:

— Да, не могу. — Помолчал и вдруг добавил: — Может, оно и к лучшему...

Я смотрел в узкие невыразительные щелки его глаз, и плавала в них мýка немоты, страстное желание сказать мне как следует, врезать по сусалам, съязвить, посмеяться или, может быть, что-то объяснить, все его сухонькое лицо выражало это неудержимое и совсем бесильное стремление, подергивались вислые щечки пожилого хомяка, покраснела иссеченная жилками кургузая картошечка носа, зло и в то же время жалобно подергивались губы, и я видел, как сильно он хочет мне сказать, что клеймить раскаленным железом живого человека — это не профессия, его или моя, а это характер — его или мой, и, доведись нам сместиться во времени, еще неизвестно, кто из нас кому врезал бы в бритый лоб дымящееся, вишневое от жара клеймо. Но он

не мог этого сказать, он только чувствовал это, а сказать, хоть убей, не мог. Ему трудно все это было сформулировать, потому что в отличие от меня не прожил он такой насыщенно-бойкой жизни, а просто просидел все годы как пень в этой дежурке и сторожил таких орёликов, как я. И его не тяготили, как меня, десять классов средней школы — кошмарный стандарт всеобщей образованности. Поэтому он понапрягался, потужился, помучил себя и сказал только:

— Эх, беда с вами! Не хотите вы жить по-людски, правильно жить не хотите! Сидите тогда, черт вас поberi, в тюрьме, коли с людьми вам невоготу!

И не успел я спросить его, с кем это беда — «с вами», — со мной лично или со всем нашим братом вoрoм. А он уже отправил меня в камеру.

Захлопнулась железная дверь, протопали по коридору шаги конвойного, и поползла на меня из углов тишина. Походил я по камере, расстелил на нарах плащ, прилег, а тишина, проклятая, шуршала, грозилась, пряталась, смотрела тускло из паутины в углу, маячила грязным светом сиротливой лампы под потолком, струйками вливалась через оконную решетку, стелилась по полу как дым, давила на уши и глаза, пугала. Нервы проклятые...

Значит, жить я не хочу по-людски? Эх вы, дураки!

Я-то как раз очень сильно жить хочу, и жить по возможности хорошо. А поскольку я жить хочу хорошо, то наплевать мне на то, что там думают по этому поводу и Тихонов, и его приятель — рыжий мент по фамилии Савельев, и дежурный, старый «вертухай», и все это безмерное дурачье под названием потерпевшие. Штука в том, что они все не хотят жить хорошо, а хотят жить правильно. Они бы наверняка не возражали жить хорошо, но только если это совпадает с их убогими представлениями о правильной жизни. Но вот беда их извечная и проблема неразрешимая во все дни их тягостные — не бывает так, и понять они этого не в силах, что правильная жизнь приятной не бывает. Они скулят, жалуются или, стиснув зубы, волокут бремя своей праведной жизни, но никогда им не хватает ума сообразить такой пустяк — не бывает так, чтобы сразу было

и хорошо и правильно. И сколько бы мне ни доказывали, будто то, что для одного хорошо, для другого может быть совсем неинтересно и заради правильной жизни можно потерпеть, не поверю я в это. Я так думаю, что как раз правильная жизнь, с весельем, удовольствием и радостью — она для всех людей одна. Если ты молодой, здоровый мужик, то какие бы у тебя ни были вкусы, все равно хотеть будешь то же, что и все остальные, — вкусную жратву, крепкую выпивку и горячую бабу. И нет людей, которые этого не хотят. Есть которые не могут. Не могут, потому что нет здоровья, или нет монеты, или времени нет, а самое главное — нет сознания своего права на все эти нужные и приятные вещи.

Вот это сознание своего права на хорошую жизнь и есть наиглавнейший момент, без которого многие — с деньгами и здоровьем — волокут довольно тухлую жистишку. Потому что если ты не прочувствовал в себе права — не желания, а права — жить хорошо, то лучше живи тогда правильно. Грызи банан и размышляй, насколько твоя жизнь лучше моей, потому что ты человек почтенный, платишь профсоюзные взносы и не боишься, что на платформе Киевского вокзала тебя остановит рыжий сыщик по фамилии Савельев и поинтересуется содержимым твоего чемодана. Неинтересно сыщику Савельеву смотреть в твой чемодан, потому что ты живешь правильно и в дерматиновом брюхе твоего баула лежат линялые рубашки и мятые брючата, на которые ты набрал с двух получек — ведь за правильную жизнь платят до обидного мало. А интересно заглянуть ему — наоборот — в мой чемодан, потому что, во-первых, он не мой, во-вторых, он набит дорогими и дефицитными шмотками, а в-третьих, — и это тоже важно, для меня-то это, во всяком случае, ужасно важно — все это добро стало моим за пять минуточек хорошо обдуманного и рассчитанного в каждом движении риска.

Но если много раз подряд все получается удачно и риск уже не горчит испугом, а только приятно взвизгивает, как акробата перед прыжком, то в один не очень-то прекрасный день врезаешься рожей об забор. Вот как сегодня. Ведь правильно живущие люди ужасно недовольны, когда я живу хорошо. Они в какой-то мере справедливо полагают, что моя хорошая жизнь

складывается из тех крупниц хорошего, что я уважу у них. И за это они меня сильно не любят. Достаточно любому из них, пускай до этого он меня никогда не видел, не слышал обо мне и я у него зерна макового не тронул, но каждому из них покажи на меня пальцем: «Это вор!», и он начинает меня сильно не любить. И чувство это стойкое и острое, потому что всегда оно густо замешено на любопытстве: «Откуда такие берутся?» И никак вы понять не хотите или не можете, что беремся мы оттуда же, откуда и вы, — из жизни, обычной людской жизни.

И не любите вы меня, граждане люди, еще не только за то, что беру я ваше и живу вашим, и, причинив вам зло, творю себе этим добро. Это вы простили бы мне, ведь не убил же я никого из вас, не ограбил последнее, ни один жадюга не повесился от моей кражонки! Ненавидите вы меня не за то, что живу я вашим, а за то, что живу не по-вашему.

А сейчас вы нутром своим, тысячелетним инстинктом, голосом крови своей прямо-таки биологическим отвращением отвергаете меня, вот точно как овца начинает биться и хрипеть, едва почуяв волчий дух.

Не знают правильно живущие люди, да и знать, конечно, не могут, но чувствуют всегда, понимают, догадываются, всеми фибрами души ощущают, что вся наша жизнь настолько разная, что, стоя с ними на одной ступеньке эскалатора метро, будто пребываю я совсем на другой планете. Я поздно ложусь, и поздно встаю, и никогда у меня руки не гудят от тяжелой работы, и устаю я только от нервного напряжения да оттого, что хорошо живу, — ведь это тоже утомительное занятие, и напиваюсь я не в праздники, а когда хочу, и «Запорожец» мне не нужен, потому что наше самое дешевое в мире такси действительно надежный и удобный вид городского транспорта, ну а пенсия, как верно заметил этот змей Тихонов, мне действительно не полагается, вот я и не думаю о ней никогда. А детей с их визгами, пеленками и слюнявыми «у-гу-гу» я просто не люблю. Остается жена. А на кой мне жена, если в мире баб на полтора процента больше, чем мужиков? Принимая во внимание масштабы нашего поганого человечества, это пятьдесят миллионов баб на мою долю. Если отбросить старух, несовершеннолетних, лесбиянок и уродок — все равно миллионов двадцать мне останется. Из тако-

го количества невест пойдя сделай выбор, обязательно ошибешься и будешь потом кусать локти. Так что и жена мне не нужна, обойдусь невестами, тем более что сейчас все эти понятия сильно перемешались.

Вот и выходит — не за что людишкам любить меня. Да и я-то, если по-честному говорить, от них не то чтобы в бешеном восторге. Они ведь знают, что я живу лучше их, а все равно страшат мной детей и сильно обеспокоены всегда, как бы их бесценные чада не пошли по моему скользкому пути. А я бы в жизни свой скользкий путь на ваши гранитные дороги не променял!..

Вот в этом месте своих размышлений «за жизнь» и поймал я себя на том, что я не на «бану», и не на «малине», и даже не у следователя в кабинете. Я ведь в КПЗ — один я здесь, в камере, нет никакой аудитории, и не говорю я, а думаю, думаю, совсем я тут один, значит, и наигрывать нечего, и врать самому себе незачем. Великий ученый Карл Маркс не то сказал, не то написал где-то, что бытие определяет сознание. Вот и у меня от многолетнего общения с блатными появились их замашки — норов истерический и привычка врать всегда, в том числе и самому себе. А врать себе — занятие очень увлекательное, но опасное. Никакой лжи человек не верит так радостно и с такою охотой, как своей собственной, и если с этим делом пережить маленько, создается придуманный понарощечный мир, очень уютный и приятный, но это не мир, а мираж, и, пока он ласкает, успокаивает твою воспаленную голову, ноги, а вернее руки, аккуратно приведут в тюрьму.

Врать себе глупо, а ложь состоит в том, что я из всех сил стараюсь не думать о тюрьме. О том, что я уже в тюрьме. Конечно, КПЗ еще не тюрьма, но разница, в общем, чисто условная. Как говорил карманник Сережка Мичман, КПЗ — это комната принудительной задумчивости: «Попал сюда, хошь не хошь, задумаешься — как сюда притопал, куда отсюда поползешь». Ну ладно, все-таки КПЗ не тюрьма, отсюда на волю выскочить легче, чем из следственного изолятора № 2, в просторечье именуемого Бутырками. И мы еще побьемся. Как говорит мой дед, еще конячья мама не сдохла. Иначе коли Тихонов разыщет потерпевшего,

то придется менять это уединенное жилье на общую камеру в Бутырках, потом следствие, суд и исправлять меня начнут в колонии строгого режима, а это много хуже, чем правильно жить, даже если жить правильно не так уж приятно.

ГЛАВА 5 СТЕНА ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Мотоцикл «Индиана» загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат, — чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гога Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне:

— Садись передо мной, на бак. Потом я сдвинусь назад, и ты поведешь сам...

— Упадем, наверное?

— Нет. Мы никогда с тобой не упадем. Падать нельзя: убьемся...

— Я ведь не умею.

— Неважно. Жизнь коротка. Надо узнать все...

Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом, «бочки», где на самом верху была сделана галерея для зрителей аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было, и я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче: если номер удастся — приятно насладиться триумфом, а если грохнемся — то лучше, когда рядом люди. А мотоцикл гремел и вырывался у Гоги из рук, и он говорил мне грустно, но твердо:

— Садись, надо ехать. И зрителей не будет — когда человек решается ехать по стене, он делает это один...

— А ты?

— Я не в счет. Это моя жизнь, моя работа. Людям необходимо, чтобы кто-нибудь мог в любой момент проехать по стене...

— Но ведь это бессмысленно! Это же ничего людям не приносит!

— А что ты приносишь людям, когда ловишь убийцу? Ты ведь не можешь возместить причиненный им вред.

— Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей!

— Правильно. Людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удается. Я езжу из дня в день, чтобы напоминать людям: это можно, просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене...

Я сидел перед ним на баке и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное, спокойное дыхание.

— Поехали?..

Горячий бензиновый дым, дрожит от рева круглая деревянная стена «бочки», которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на один с собой, она дрожит от нетерпения проверить — можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по стене?

— Поехали.

Захлопнулась дверь, через которую мы вошли на дно «бочки», — последняя возможность вылезти и жить, как жил раньше, и не ехать по стене, а купить лучше войлочные тапки, стать серьезным человеком, достойно и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я больше не смогу никогда прийти сюда, на галерейку, ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми, потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать внизу, а затем стремительными спиралями поднимаясь вверх по стене, вместе с ним со дна «бочки» будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь ни представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем...

Дрогнул ребристый каучук переднего колеса, мелькнули, сливаясь в сияющий диск, спицы, тяжелый мотоцикл покатился по круглому манежу, застонали досочки пола, ближе к краю, рядом стена, первый круг пройден, все мелькает в глазах, мотоцикл нагибается внутрь манежа, откос у стены, сейчас мотоцикл развалится от напряжения, толчок, толчок, небо рухнуло на плечи и вжало, вбило меня в машину, а перед нами узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх, но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает, и дорога загибается за нами, и я с ужасом

вижу, что вишу вниз головой, и только тут сообщаю — мы мчимся по стене! По стене!

Дорожка — это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной, ее вертикаль бессильна — я проехал, промчался по второму измерению, по страху и войлочным тапкам! Значит, меня не так мало! Пусть еще строят стены!..

Так я и проснулся с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы и долго не мог поверить, что ничего этого не было, не хотел верить, что все приснилось; и хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель и аттракцион не работает, но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу проехать по стене. Потому что в тридцать лет человек должен знать о себе все, а поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе все, то надо знать, по крайней мере, готов ли ты проехать по стене?

Звонил телефон пронзительно и долго, а я лежал, не открывая глаз, и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле, и я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же. И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, я протянул руку и снял трубку, в которой булькал, захлебываясь словами и чувствами, голос Сашки Савельева. Вначале он меня ругал, кажется, за лень и тунеядство, потом сказал четко и отдельно:

— А потерпевший не объявился... — И в голосе его я услышал растерянность и удивление.

Я проснулся окончательно.

— Мысли есть? Излагай...

Сашка говорил, что он уже обзвонил все линейные отделения — заявления о пропаже чемодана не поступало, и еще что-то долго и путано объяснял. Говорил он все время как-то бубниво-монотонно, как будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело.

— Все, рапорт принят. Распорядись доставить Батона, я через полчаса буду в управлении...

Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с Батоном. Кроме абсолютной уверен-

ности, что чемодан ворованный, я не располагал никакими уливающими Батона фактами. А обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. Шестнадцать часов сидит Батон, а потерпевшего нет. Ситуация грозная. Впрочем, один шанс есть...

Когда я вошел в кабинет, Сашка оживленно беседовал с Батоном. Молодец Батон. И не думает сдаваться. Ну что ж, у него, помимо сдачи и чистой победы, есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Батон выглядел веселее и оживленнее, чем вчера, но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение ожидания. Ведь долгие годы Батон изучал юриспруденцию с другой стороны моего стола и хорошо знал, что, если мы сейчас не введем в кабинет хозяина чемодана, значит, потерпевший не объявился, значит, доказать его вину юридически почти невозможно и тогда он еще с нами потягается. Что ж, приступим:

— Скажи, Дедушкин, у тебя есть войлочные домашние тапки?

Это было одно мгновение, практически неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля неприятеля. Но я его заметил, а может быть, скорее почувствовал — Батон спружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след.

— Тапочки? — переспросил он задумчиво.

— Ага, тапочки, — подтвердил я невозмутимо.

— Войлочные?

— Ну да, войлочные.

— Нет. Искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок...

— Вот и прекрасно, — сказал я довольно. — Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и об этих тапках.

— Да-а? — неуверенно протянул Батон. Он не знал, куда я веду, и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений. — И что?

— А ничего. Вот у меня их тоже нет. Ты не усматриваешь в этом связи?

Батон пожал плечами:

— Не понимаю...

— Я это к тому говорю, что есть такой диалектический закон единства и борьбы противоположностей. А мы с тобой — противоположусы.

— В процессуальном смысле? — живо осведомился Батон.

— Да. И в человеческом тоже.

— Что?! А-а... Ну да... — усмехнулся Батон. — Но это же не основание брать меня под стражу?

— Ну это ты брось! Твою свободу мы... ограничили... по другой причине. Но мы с тобой... как бы это сказать... особая форма общественных отношений — «полицейские и воры»...

Батон весело рассмеялся:

— Все понял. Хотите сказать, что мы, мол, скованы одной цепью?

— Не совсем так. Но из-за формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что, пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет.

— Но ведь у вас их тоже нет? — напомнил Батон.

— Нет, — кивнул я, — хотя они мне нужны. Ты-то мне и мешаешь иметь тапки.

— Да почему я? — искренне возмутился Батон. — На мне, что ли, свет клином сошелся? Тоже нашли короля преступного мира!

— Когда-то ты мне сказал — «сопляк»...

— Значит, мстите? — прищурился Батон. — Фэ. Не красиво, совсем некрасиво...

Я покачал головой:

— Эх, Батон, совсем ты, значит, ничего не понял за эти восемь лет.

— Чего же тут не понять! Побитое самолюбие как старая рана, — и через двадцать лет саднит.

— Да какое же самолюбие? Это я только тогда на тебя обиделся. За «щенка». Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться, что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал.

— Ну и что?

— А то, что пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более что прошло восемь лет и я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну просто дряхлым волком...

— Поживем — увидим, — зло блеснул золотой коронкой Батон. — Возможно, за все это вам еще придется извиняться...

— Нет, — решительно мотнул головой я, — мне пе-

ред тобой извиняться не придется. Я докажу, что чемодан ты украл.

— Это без потерпевшего-то? — ехидно улыбнулся Батон.

— Почему же без потерпевшего? Я его найду, это я тебе точно обещаю.

— И что это вы так со мной надрываетеесь?

— Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты смеялся надо мной? Помнишь?

— Допустим...

— Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей просто наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя. Понимаешь, нельзя. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор, пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест и позарез понадобятся войлочные тапки. Вот тогда мы вместе и купим их.

— А не наоборот? — хитро прищурился Батон. — То есть вам смертельно надоест, а не мне? А? И вы — в отставку... А я спокойно куплю тапки...

Мы все засмеялись, и обстановка у нас была непринужденная, легкая, как за обеденным столом в санатории, во всяком случае, вид у нас был именно такой. Я открыл сейф, достал из него несколько папок, железнодорожное расписание и сказал:

— Шутки шутками, но пора найти потерпевшего. Нам поможет твой преступный почерк...

— Пустячок, а приятно, — оживился Батон. — Обычно мой дедушка перед тем, как мне всыпать, вместе со мной проверял, хорошо ли вымокла лоза... При чем здесь мой почерк?

— При том, что ты никогда не хватаешь в вагоне первый попавшийся чемодан. Ты намечаешь себе жертву и «пасешь» ее, дожидаясь нужного момента, ставишь свой «фарт» на точный расчет: по пути следования есть несколько станций, где встречные поезда останавливаются либо одновременно, либо через несколько минут после отправления твоего поезда. Поэтому ты ворешь только на этих станциях. Здесь уж везенье про-

сто необходимо: если на первой станции украсть нельзя, ты дожидаясь следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает холостым. Но как только подворачивается момент, ты берешь чужой чемодан и тотчас же пересаживаешься во встречный поезд. И удаляешься от потерпевшего с удвоенной поездной скоростью. Пока человек хватится, пока доедет до следующей станции, заявит в милицию, пока передадут по линии — ты уже вместе с толпой пассажиров сходишь на платформу в Москве, садишься в такси и отправляешься восвояси. Если, конечно, не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий тебя по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым твоего чемодана. Как тебе нравится мой рассказ?

— Довольно занимательно. А с потерпевшим-то что? Без него это только психологический этюд. Увлекательный. И не более... Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет.

Точно, нужен потерпевший. Ты, Батон, человек умный, опытный и правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займемся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибемся, подскажешь...

— Ну это уж увольте. Я в уголовном розыске зарплату не получаю, чтобы вместе с вами самого себя ловить.

— Да что вы все «деньги» да «зарплата»! — удивился Сашка. — Ведь есть же интерес академический, бескорыстное творчество.

— Как же, как же! Мне за творческое удовлетворение «пятерик» сунут, а вам — по медали. Ничего себе премии на вашем конкурсе!

— За вас, Дедушкин, медаль не дадут, — сказал Сашка. — У нас медали скорее дают за храбрость, чем за сообразительность.

— А нам в суде больше за сообразительность дают, — огорчился Батон.

— Так у вас сообразительность, Дедушкин, вредная, за это и дают много, — вежливо объяснил Сашка.

— Ну-ну, посмотрим, у вас какая сообразительность, — сказал Батон, — может быть, вам правильно медалей не дают.

— Может быть, — согласился я. — Итак, начнем

сеанс материализации духов. Во сколько ты его задержал, Саша?

— Половина седьмого было. Он шел с кишиневского поезда — 18.25. Экспресс «Молдова» называется поезд.

— Отлично, — я взял расписание и стал выписывать на отдельный лист все остановки экспресса. — Позвони, пожалуйста, в справочную, узнай, не было ли опозданий, остановок и задержек вне расписания.

Пока Сашка трудолюбиво накручивал телефонный диск, я выписал перпендикулярно к графику движения экспресса «Молдова» расписание всех поездов, отправившихся из Москвы от Киевского вокзала за вчерашние сутки.

Кишиневский скорый останавливался девять раз: Котовск — 0.13, Вапнярка — 1.49, Жмеринка — 3.03, Винница — 3.47, Казатин — 4.52, Киев — 7.08, Конотоп — 9.29, Брянск — 13.47, Сухиничи — 15.20 и в 18.25 — Москва. Получились своеобразные оси координат, где кривая движения лежала между временем и направлением. Поэтому один из московских поездов должен был обязательно пересечь какую-то из девяти временных точек движения кишиневского поезда.

Линию пересек в Конотопе «Дунай-экспресс», который прибыл туда в 9.10 и отправился далее в Софию — Стамбул через девять минут. Где-то на ближних семафорах он встретился с подходящей к станции «Молдовой», ни разу в этом рейсе — по сведениям Сашки — из расписания не выходившей. Через семь минут Батон отбыл в Москву. С чемоданом своего попутчика из «Дунай-экспресса».

Ознакомив Батона с результатами своих подсчетов, я спросил:

— Будем теперь всерьез говорить?

— Нет. Вы же знаете, Тихонов, что я не люблю «чистосердечных признаний». Кроме того, я хочу проверить вашу угрозу. Вдруг вы и вправду докажете, что воровать нельзя? — Батон ненадолго задумался и добавил: — Между прочим, вы учили только московские поезда... А с «Молдовой» могли встречаться в этом рейсе и другие?..

— Не-а, нас другие не интересуют.

— То есть? — поднял брови Батон.

— А то и есть, что ваши домочадцы любезно сооб-

щили инспектору Савельеву, что позавчера вы еще были дома. И выехали, следовательно, из Москвы...

— Редкий случай, когда алиби сильно мешает, — засмеялся Сашка.

— Ладно, — сказал я и повернулся к Сашке: — Садись за машинку, я тебе продиктую парочку телеграмм.

Сашка долго устраивался на стуле, прилаживался к машинке, потом сказал неестественным голосом, каким возглашают на опустевших платформах машинисты метро:

— Го-то-ов!

— Записывай, диктую: «Фототелеграмма. Контрольно-пропускной пограничный пункт Унгены. Прошу срочно предъявить поездной бригаде «Дунай-экспресс» № 13 настоящую фотографию для опознания. В положительном случае выяснить, до какой станции имел билетопознанный, где и при каких обстоятельствах он сошел с поезда...»

Батон, отвернувшись от нас, смотрел в окно, на улицу, залитую холодным весенним светом, расчерченную квадратами оконной решетки, и голова его больше не была похожа на носовое украшение фрегата. Он как будто сильно устал от всего нашего разговора.

Сашка спросил:

— Все, что ли?

— Подожди. Я ведь обещал доказать, — я снял трубку и позвонил дежурному: — Пришлите за задержанным конвой.

Батон, не оборачиваясь, смотрел в окно.

— Пиши, Саша, следующую. «Кишинев, отдел уголовного розыска жел. дор. Прошу произвести по прилагаемой фотографии опознание поездной бригадой пассажира».

Я перехватил Сашкин недоуменный взгляд:

— Они ведь из Москвы уже отправились обратно. И последняя телеграмма в Конотоп: «Линейный отдел ст. Конотоп-пасс. Прошу допросить кассира, работавшего вчера с 9.00...»

Батон шумно вздохнул, откинулся на стуле и взглянул на нас будто откуда-то издалека, желая рассмотреть нас попристальнее:

— А что теперь?

Сашка пожал плечами:

— Теперь мы вас сфотографируем и по фототелеграфу направим снимки в Унгены, Кишинев и Конотоп. Там ваши снимки предъявят. В Унгенах вас опознают проводники, с которыми вы ехали до Москвы, а в Конотопе вас наверняка вспомнит кассир, продавший билет. Билет-то, наверное, в мягкий вагон взяли?

Батон, не отвечая, засмеялся каким-то своим мыслям, немного погодя сказал:

— Замечательный город Конотоп. Войдет в историю тем, что в нем из-за сапог убили Хулио Хуренито и из-за чемодана сгорел Леха Дедушкин, по кличке Батон. — Он провел по лицу руками, будто смывая с него смех. — Это все прекрасно, но вот насчет потерпевшего что?

— Саша, сдай это на телеграф, — протянул я бланки и ответил Батону: — Будет вам и кофе, будет и какава. Найдем, я же обещал.

— Тогда поторопитесь, — сказал серьезно Батон. — У вас времени совсем мало. Часов пятьдесят осталось...

Это он точно сказал. По закону задержанного подозреваемого можно содержать под стражей не больше трех суток. После этого ни один прокурор без солидных доказательств, на одних подозрениях санкцию на арест не даст.

— Ничего, я думаю, успеем, — ответил я ему тоже серьезно. — Я вообще человек не ленивый, а уж для тебя, видит бог, постараюсь от души. Понимаешь, мне в последнее время сильно понадобились тапки войлочные.

В дверь постучали, вошли конвойные. Сашка сказал:

— Все. Гражданин Дедушкин, вам придется пока поскучать, дожидаясь результатов. Если надумаете рассказать чего-нибудь — милости просим, будем рады. Мое самолюбие не пострадает и без проверки сообразительности, и мы останемся довольны вашим добровольным признанием. Так называемым чистосердечным. Вам же лучше — меньше дадут.

— Вот это уж дудки! Я ведь и так могу подтвердить весь этот ваш кроссворд, потому что мой маршрут, который вы здесь так ловко рассчитали, еще не доказывает моей юридической вины. Потерпевший вам нужен.

— Точно, — сказал я. — Очень нужен. Я уж постараюсь. А что касается подтверждения маршрута, то это уже после ответа на наши телеграммы. Тогда будет

видно, что ты сам, по своей воле ни слова правды не сказал, все пришлось делать нам. Суду это будет интересно...

Батон бессознательно заложил руки за спину — на мгновение ослабло внимание и из глубин всплыл рефлекс, выработанный многими годами хождения под стражей, и двинулся к дверям. На полпути остановился, взглянул мне в глаза и сказал:

— Помните, в «Празднике святого Иоргена» Микаэль Коркис говорит: «Главное в профессии вора — вовремя смыться»?

— Да, помню.

— А я считаю, что главное в профессии всех фартовых — не расковыривать запечатанных бутылок.

— Почему?

— Никогда не знаешь, из какой выпустишь джинна. Вот я нарушил это правило, — он повернулся к конвойному: — Ну?..

Захлопнулась дверь, и мы с Сашкой еще минуту молчали, пока он не спросил:

— Ты как его понял — он сейчас выпустил джинна или восемь лет назад?

— Не знаю. Я тоже не понял...

— Ну ладно, тогда загрузи работой: начальник должен держать аппарат в напряжении, — сказал Сашка. Его голова сейчас была особенно похожа на взрыв: красные жесткие волосы стояли дыбом. — У тебя случайно в столе сигарета не завалилась? Все выкурил...

Зная, что я не курю, ребята специально кладут в нижний ящик моего стола недокуренные пачки и прибегают ко мне в тяжкие минуты. Я пошарил в столе и нашел красную квадратную коробочку с изображением собачьей морды. Сашка покрутил пачку, положил обратно на стол:

— «Друг». Замечательные сигареты... я такие даже посреди ночи не курю.

— Уж больно ты переборчив, — сказал я сварливо. — Давай лучше к делу. Значит, так: у нас остаются еще два канала информации — орден и фотоаппарат, найденный в чемодане. Орденом займусь я, а ты сдай аппарат в научно-технический отдел и, если в нем есть пленка, поставь перед экспертизой два вопроса: что за пленка в фотоаппарате, страну-производитель пусть

установят, и второе — пусть определяют профессиональный уровень снимавшего. Кадры с пленки, коли она там есть, пусть отпечатают крупноформатные.

— Указание получено. А с орденом что ты собираешься делать?

— Думаю отвезти показать его в Исторический музей. Очень уж он меня развлекает, этот орден.

— Чего так?

— Скорее всего это старый русский орден. Видишь, тут славянской вязью написано: «Св. Александра Невского...» Эта вязь, наверное, и сбила Батона с толку — решил, что болгарская... Непонятны две вещи — зачем такую драгоценность возят с собой в чемодане и кто тот человек, которому он принадлежит.

— Когда будешь?

— К вечеру, наверное. И брось, пожалуйста, свою паскудную привычку отвечать на любой телефонный звонок, что я буду через двадцать три с половиной минуты.

Когда меня не бывает на месте, Сашка выдает такие ответы, что людей на другом конце провода бросает в дрожь. Всем женщинам он говорит коротко, но внушительно: «На операции...», хотя знает, что я поехал на вещевой склад за новой шинелью или в судебный архив за справкой. У него на этот счет есть даже теория, которая сводится к тому, что служащему или производственнику трудно поверить, порой наша работа может состоять из целодневного болтания по городу и очень часто совсем безуспешного. Или просто в долгих бесплодных поисках какого-нибудь пустякового свидетеля, а то и вовсе в стрельбе в тире или борьбе самбо. Если ты сыщик или следователь, то давай целый день допрашивай преступников, а ночью сиди в засаде или проводи обыски и задержания. Поэтому, мол, не надо разрушать иллюзий о характере нашей работы, вносить новые сомнения в несколько поколебленную романтику нашей профессии.

Я вышел на улицу, и солнечный свет был такой яркий, плотный, холодный, что хотелось плыть по нему. Тени от людей ложились на асфальт синие, точные, и не было полутонов, а голые деревья, впечатанные в тротуар железными решетками, казались нелепыми конструкциями, расставленными вдоль улиц, как абстрактные украшения в современном интерьере. И в этом

яростном неистовстве света, отбрасывающего от каждого препятствия четкую злую тень, где добела рыжий цвет уничтожил все остальные, оставив лишь черно-синий, была какая-то прямолинейная непримиримость, крикливая незавершенность природы. В такие дни, когда тебя еще не разморила радость начала весны, негa теплого воздуха, пока не охватило бессмысленное чувственное блаженство от одного ощущения, что ты живешь в этом прекрасном мире голубых рассветов, клейкой молодой листвы, прозрачных снеговых луж, я думаю, что жизнь все-таки складывается не так, как бы хотелось. В такие дни этот нестерпимый свет высвечивает тебя насквозь лучше всякого рентгена, потому что лучи старого умного немца не могут показать душевные рубцы, проявить незажившие душевные раны, не зафиксируют очаги жизненной неудовлетворенности. Да и вообще он утверждает, что нет такого органа у человека — душа. Легкие есть, мозг, сердце есть, а души нет. Он был большим утешителем людей, настоящим лириком, мудрый физик Рентген, лучи которого снова подтвердили, что никакой души у человека нет, а потому и болеть нечему. И поэтому тебя на улице ждет апрельский свет, холодный, яростный, непримиримый, не знающий, что у тебя нет души, и высвечивающий все ее закоулки. Он будит память, как дремлющего зверя, и бросает его на тебя, когда ты с ним не хочешь и не можешь бороться, когда ты уже понял, что не может быть мира между мечтой и буднями, и согласен провести в душе хотя бы линию прекращения огня. Но апрельский свет не знает компромиссов, ты его не уговоришь, потому что он — это ты, а себя не обманешь. И не выключишь его, потому что это свет твоей молодости, острота необломанных углов, не шлифованных опытом терпимости.

От этого, наверное, охватывает меня в такие дни мучительное волнение, стремление что-то сделать, все изменить, куда-то бежать, купить войлочные тапки или промчаться по стене. А по ночам снятся цветные сны растворившегося в годах детства, когда ты счастлив в ощущении своей вечности и нужности людям, когда нет времени дня, а существуют лишь времена года и никогда не возникает вопрос, зачем ты живешь на земле. Мне снятся мои товарищи, нет, не сегодняшние, солидные, уже сидящие мужи, обремененные слу-

жебными проблемами или нехваткой грудного молока у супруги, а те ребята из вечности, из моего чувства бессмертия и целесообразности моего существования. Я никак не могу поверить, будто это одни и те же люди, восходящие по спирали своего качественного развития. Потому что они вновь вернулись к начальной точке мировосприятия, хотя жизнь и развеяла для них иллюзию бессмертия и заставила ответить, зачем они живут на земле. Став взрослыми, они просто забыли про бессмертие, и от этого оно родилось вновь, только отодвинувшись на задний план, как старая декорация в театре. Но был еще вопрос: «Ты зачем болтаешься по миру?» И они ответили на него, став инженерами, врачами, летчиками, то есть людьми, в общественно-историческом смысле в сто раз более ценными, чем я. Так, во всяком случае, многие считают.

Я где-то читал, что каждые семь лет в человеке происходит полная замена всех клеток. Вроде бы заново появился человек, только не враз, а постепенно. Значит, я должен был уже четырежды обновиться, и если бы это случилось, все было бы наверняка нормально. Но мне кажется, что когда-то — в семь, а может, в четырнадцать лет — что-то сломалось в моем генетическом механизме, и больше ничего не изменялось, и я рос только количественно, унося в страну взрослости маленький прямолинейный мир детства, который никак не уменьшается, не влезает или выпадает из гибкой округлой рамы моей нынешней повседневной жизни. И с годами моя память, пробивающаяся сквозь сумрак времени лучами игрушечного проектора — аллоскопа, превратилась в мучительный апрельский свет, проходящий сквозь всю мою жизнь и никогда не дающий ей развалиться на отдельные бессвязные куски, обрекший меня на пожизненный моральный дальтонизм, ибо я не различаю полутонов, а из всех цветов для меня существуют только белый и черный.

Но, кроме того, когда бушует на улице апрельский свет, я всегда думаю о Лене. Он не позволяет мне забыть ничего, и тогда я снова жалею, что клетки во мне замерли и не хотят сменяться новыми, потому что за это время я успел бы полностью переродиться и сбросить себя прежнего, как змея сбрасывает старую прошлогоднюю кожу, и, став совсем, стопроцентно, новым,

смог бы навсегда все позабыть. Но оттого, что клетки не меняются, я и сам остаюсь таким, как был, и не хочу ничего забывать, и в этом вихре ослепительного света часами бесцельно вспоминаю все, и думаю о Лене, о себе, о нас обоих, о том, как могло бы быть и ничего не получилось. И, наверное, оттого, что клетки не меняются, они устают, и тоска моя перешла в ровную грусть, которую почти не беспокоит этот неистовый свет, если только накануне мы не встречаемся ночью в ресторане, куда я прихожу есть борщ.

Я шел по улице Горького через этот нестерпимый свет, будто плыл в нем, зная, что человек освобожден от бессмертия, потому что ему очень трудно ответить на вопрос, зачем он вообще живет. А во внутреннем кармане пиджака лежал тяжелый драгоценный крест, волнующий своей непонятностью, как таинственный знак кабалы, определяющий судьбу.

ГЛАВА 6

ПАСЬЯНС ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Рыжий милиционер Савельев разложил на столе, как карты в пасьянсе, цветные фотографии. Снимки, черт бы их побрал, были интересные. Очень красивая девка, мужчина лет тридцати пяти и мужчина лет пятидесяти. На шести карточках сняты девка и пожилой, на трех — девка и молодой, на одной — оба мужчины и, наконец, на последней — только пожилой. Савельев передавал Тихонову их именно в этой последовательности, и я понял, что у него уже есть на сей счет какие-то соображения. Я ведь этих фотографий не видел, мне и самому было интересно посмотреть, чего они там на-снимали. Вот фокус-то получится смешной, если тот хмырь был шпионом.

Фотографировались на улицах, на фоне каких-то памятников — видны были только части их, один снимок был сделан скорее всего в гостиничном номере — современная обстановка с рекламной картинкой. На этой фотографии девка в узеньком бюстгальтере и трусиках сидела на коленях у пожилого гражданина, нежно обнимая его за толстую шею. Фигура у девы была великолепная, и она это знала наверняка, и позировала



так, чтобы лучше можно было рассмотреть груди. А ноги, длинные-длинные, стройные, с круглыми коленями, расчеркивали снимок пополам.

— Ваше лихоимство, Дедушкин, вынуждает нас быть нескромными и рассматривать картинки из интимной жизни посторонних людей, — с тяжелым вздохом сказал Савельев.

— А вы поберегите свое целомудрие, — посоветовал я ему. — Не смотрите.

— Не могу — служба, верность долгу обязывают меня рассматривать все это очень внимательно, — ответил Савельев серьезно. — Тем более что девица напоминает — внешне, конечно, — одну мою старую знакомую, которая из всех театров предпочитала ресторан. Пришлось ей меня бросить. А вы так и не вспомнили, кто эти люди и где вы их фотографировали?

— Нет, не вспомнил. На курорте, наверное, в прошлом году. Лица-то вроде знакомые, а вот точно не припомню.

— Ну-ну, допустим, — сказал Тихонов. — А чего же вы себя не запечатлели в этом теплом коллективе?

— А я на первых тринадцати кадрах не снимаюсь. Примета плохая. Я как раз на следующем хотел сфотографироваться, да не успел, наверное.

— Такая предусмотрительность греет мое сердце, — сказал Савельев. — А где пленочку цветную достаете? Это же дефицит сейчас?

— В магазине на улице Горького была.

Савельев записал ответ, дал мне расписаться, потом поцокал языком и достал из ящика бланк.

— Ц-ц-ц... Никак эксперты наши ошиблись? Пишут-то чего: «Извлеченная из аппарата пленка производится в ФРГ компанией «ИГФИ», цветная, обратимая, светочувствительность семнадцать дин, в СССР не импортируется»...

Тихонов засмеялся и сказал:

— Дедушкин, сейчас самая пора схватиться за голову и заявить что-нибудь вроде «эх, старость не радость, склероз проклятый!» и вспомнить, что аппарат ты давно купил вместе с пленкой у какого-то поиздержавшегося иностранца... Врать, так с размахом.

Положение у меня было, конечно, аховое, поэтому я доверчиво посмотрел на него, хлопнул себя ладонью по лбу и сказал с нажимом:

— Эх, старость не радость! Склероз проклятый! Вспомнил! Я ведь давно купил этот аппарат вместе с пленкой у одного поиздержавшегося иностранца! Говорить правду, так с размахом, всю до конца! Чисто-сердечно, с искренним раскаянием!

У Савельева в глазах полыхнул нехороший огонек, но он, сморкач несчастный, постарался сдержаться и сказал невозмутимо:

— Давайте, Дедушкин, поразмышляем вместе над этими фотографиями.

— А чего там размышлять? Разлагается буржуазия как хочет, — сказал я вроде с юмором, но, наверное, раздражение мое уже заметно просвечивало.

— Э нет, — не согласился Тихонов. — Джинны, вырвавшись на свободу, хотят понять, что вокруг них происходит.

— Да-а? — осторожно спросил я.

— Несомненно, — заверил меня Тихонов. — И могущество их не от бога, а от дьявола и заключается в знании, которое они добывают трудом и любознательностью. Итак, мы располагаем тринадцатью фотоснимками...

Он взял фотоснимки, сложил их в одну пачку и перетасовал вроде карточной колоды.

— Чтобы осмыслить их содержание... Что нам надо, Саша, чтобы осмыслить их содержание?

— Система, — бойко отрапортовал Савельев. — Она необязательна только для камерного снимка с полуобнаженной девицей, где формы исчерпали содержание.

— Нужна система, все правильно. Теперь надо решить, что нам взять за основу для классификации. Дедушкин, есть соображения?

— Я свои соображения для другого применю, — категорически отказался я от соавторства.

Они сделали ставку на то, чтобы раскатать меня на перегрузках страха, и если я сделаю ошибку в расчетах у них на глазах, тогда дело мое будет швах. Они не случайно вели все эти разговоры в моем присутствии — они ведь рассчитывают, что я не выдержу «психологической атаки» и сдамсь. И когда они впотьмах шарили в омутах моей тайны, сердце у меня все время сжималось в тревожном предчувствии, даже скорее предвидении — сейчас нащупают, ухватят, и тогда все запира-

тельство станет бессмысленным, и, как говорится в любимой песне: «...опять, опять передо мной — решетка, вышка, часовой...» Все свои маневры они проводили у меня на глазах, неизбежно выводя меня из равновесия. Только бы не ошибиться. Мне очень важно было сейчас удержаться в полной «несознанке»...

— Раз Дедушкин не хочет думать вместе с нами, разрешите мне внести предложение, — сказал Савельев. — Снимки нужно классифицировать по группам изображенных на них лиц.

— Принято за основу. Против нет? За — двое, воздержавшийся — Дедушкин. Принцип подбора групп? Какие предложения?

— Чего ж тут думать? Везде, где девка, в одну группу, все остальные — в другую, — быстро сказал я, слабо надеясь, что мне удастся их сбить со следа.

Савельев чуть не подпрыгнул от радости:

— Гражданин Дедушкин будет участвовать в прениях только по второму вопросу! Председатель, внесите в протокол заседания. Предложение Дедушкина принимается?

— Проголосуем, — сказал Тихонов безразлично. — Я против.

— И я против, — вроде бы огорченно сказал Савельев. — Вы, Дедушкин, условия задачи, наверное, не поняли. Девулька-то, красавица, нас пока не интересует. В чемоданчике вещи мужские были. Эти трое на снимках — все равно как уравнение $X+Y=5$. Нас пять не интересует — пять оно ведь и есть пять. Нам надо узнать, кто такие X и Y .

Тихонов усмехнулся:

— А для этого отложим первый фиш — девица с пожилым. Я тебя правильно понял, Саша?

— Абсолютно. Шесть карточек — основа нашего пасьянса. Выведем за скобки два кадра, там, где девица одна, они нам не нужны сейчас. Под ними три снимка с дамой и молодым джентльменом. Сюда кладем фото обоих мужчин, а внизу — пожилого. Итого?

Пальцем для верности Тихонов пересчитал их:

— Девица — на одиннадцати, пожилой — на восьми снимках и молодой — на четырех. А все трио вместе — ни разу. Выводы?

Я понял окончательно, что они вышли на цель точно, и тихо сидел помалкивая.

Савельев поведал:

— Вот видите, Дедушкин, оказывается, Тихонов выполнил свое обещание.

На всякий случай я сказал:

— Не шейте, чего не было, не знаю я тут никого...

— Как же не знаете, — разозлился Савельев. — Мы для вас здесь все как на блюдечке разложили, а вы — «не знаю, не шейте». Давайте еще раз повторю. На снимках три человека в разных сочетаниях, но нигде их нет втроем. Поскольку это сувенирные, памятные снимки на фоне достопримечательностей и тепе и тепе, значит, их было только трое, иначе они все вместе снялись бы. Вот два совершенно одинаковых по сюжету фото, снятых почти с одной точки: старик с девочкой около какой-то пушки — это кадр номер восемь, и то же самое на кадре номер девять, но место старика занял молодой. Трое их было, понимаете, трое!

— Ну а если трое, так что? — спросил я.

— А то, что нам нужно, чтобы их не было четверо, — сказал Тихонов.

— Почему? — продолжал я прикидываться дураком.

— Потому что тогда мы точно определили хозяина чемодана, — терпеливо сказал Савельев. — Фотоаппарата, во всяком случае.

— И кто же это?

— А вот этот, молодой, — ответил Тихонов уверенно.

Я старался изо всех сил, чтобы ни один мускул, ни один нерв в моем лице не дрогнули. Так же тупо и настойчиво я спросил:

— Почему вы так думаете?

Савельев покорно наклонил голову и монотонно стал объяснять:

— Из двадцати трех объектов съемки молодой зафиксирован только четыре раза. Трижды его фотографировал пожилой и один раз девица. Это уже достаточно реальное основание предположить, что хозяином аппарата является он. Во-вторых, экспертиза дала заключение, что эти четыре снимка сделаны гораздо менее опытными людьми — выбор ракурса, панорама, а один кадр немного смазан. Это дополнительно подкрепило наше предположение, что хозяин аппарата — молодой. Ясно? Как, Дедушкин, перед фотографическим ликом потерпевшего, может быть, начнем рассказывать правду?

— Я так полагаю, что вы обойдетесь без моих признаний, — грубо сказал я.

— Эх, Дедушкин, с вами не в МУРе, а в священной инквизиции разговаривать... — покачал головой Савельев.

ГЛАВА 7 **ВЧЕРА И ЗАВТРА ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА**

Батона увели, а мы еще долго разглядывали фотографии, пытаясь извлечь из них какую-то дополнительную информацию. Но ничего подходящего найти не смогли. Правда, на заднем плане четырех снимков был виден бирюзовый «мерседес», причем на один попал даже кусок номера — 392... Остальные знаки загоразживала фигура девушки. Она была сфотографирована, по-видимому, около кинотеатра, потому что прямо над ее головой висел афишный щит, на котором два молодца выясняли отношения — один совал в нос другому пистолет. В рамку кадра влезли три светящиеся буквы названия кинотеатра — ...СКВ...

— Чего будем делать? — спросил я Сашку.

— Давай пошлем в Унгены фотографию хозяина чемодана. Если поездная бригада его тоже опознает, то вместе с пограничниками там в два счета установят его личность. У них же места нумерованные.

— Это программа-максимум: поездная бригада вернется в Унгены через сорок часов. А через сорок шесть часов надо решать вопрос с Батоном. Ты не забывай — мы ведь могли и ошибиться. Представляешь наши физиономии тогда?

— Да, это будет малопривлекательное зрелище. Но почему он все-таки не заявил о пропаже чемодана?

— Вот я об этом и думаю все время. И орден этот непонятно как попал к нему...

— М-м-да, — промычал Сашка. — Слушай, а тебе не приходило в голову, что мы, может быть, несправедливы к Батону?

— То есть как это? — удивился я

— А вдруг он действительно не воровал у него чемодана? Вдруг это была какая-то совсем другая опе-

рация — фарцовка, укрывательство или что-то еще в этом роде?

Я подумал и отрицательно покачал головой:

— Не думаю. Полным чемоданом вместе с грязным бельем обычно не фарцуют. Но мне кажется, что, независимо от Батона, надо плотнее заняться этим человеком. Тем более что они сейчас для нас, как Аяксы, неразделимы. У меня есть идея...

— За идеи платят только у Херста, — усмехнулся Сашка. — У нас вещественные доказательства в цене.

— Вот давай попробуем оценить по-настоящему наши вещдоки. Я буду по-прежнему ковыряться с орденом. А ты, раз уж так пошло удачно, продолжишь линию фотопленки.

— А что с нее еще возьмешь?

— Надо попробовать выяснить, где они фотографировались. Тут возникает два «если». Первое — если его опознает поездная бригада и второе — если мы установим, где они фотографировались; тогда это открывает для нас дальнейшую перспективу.

Сашка, не вдаваясь в обсуждение, сразу кивнул:

— Надо произвести архитектурную и скульптурную экспертизы — специалисты, возможно, по памятникам определят, где они установлены.

— И еще одно дело надо будет завтра же организовать. Внешнеторговая организация «Экспортфильм» должна, по-видимому, получать проспекты всех зарубежных фильмов. Там наверняка должна быть какая-нибудь просмотровая комиссия, — я протянул Сашке снимок с девицей на фоне киноафиши.

Заканчивался еще один день. Сашка ушел, и я долго сидел один в кабинете. Верхний свет я погасил, настольная лампа вырывала из темноты сплюснутый желтый круг, из коридора доносились звуки шагов и обрывки разговоров уходивших домой сотрудников. Потом все стихло, и кабинет затопила густая, вязкая, как нефть, тишина. На работе мне было нечего делать. Впрочем, как и спешить куда-то, поэтому я и сидел в этой теплой сонной тишине, лениво передвигая по желтому сплюснутому кругу тяжелый золотой портсигар. Наверное, многое нужно иметь или многого достигнуть, чтобы позволить себе таскать такую дорогую штуку. Подобного портсигара я еще никогда не видел — вся нижняя крышка была покрыта гравировкой нотной

партитуры. На лицевой стороне монограмма — «П. В.» На месте хозяев таких дорогих вещей вместо никому не понятных нот и таинственных инициалов я бы гравировал свой почтовый адрес — для сохранности. Долго сидел я так, и мысли текли неспешные, тягучие, как этот пустой весенний вечер, когда не к кому пойти, да и идти неохота. Потом набрал телефонный номер. Трубку сняли мгновенно, будто дожидались моего звонка, и я услышал:

— Нет, милочка моя, вам с сольфеджио еще надо повременить, извините, я только отвечу. Аллёу! У телефона.

— Здравствуй, мама. Это я.

— Стас, мальчик мой! Здравствуй, родной! Ты совсем меня забросил! — началось обычное телефонное представление.

Я мог побиться об заклад, что мать сейчас стоит, облокотившись на рояль, прижимая ухом трубку к плечу, и прикуривает новую сигарету, пока другая дымится в пепельнице на столике, а глазами, бровями, губами, всей своей богатой и пластичной мимикой поясняет очередной дурынде ученице, что вот он, тот самый, тот мифический, легендарный, таинственный сын-нелюдим! В ее рассказах я выгляжу дьявольски похожим на лорда Байрона, и я ужасно доволен, что от меня не требуется сломать ногу, чтобы придать этой легенде окончательную достоверность.

Вопросы она мне задает «скромненькие, но со вкусом»:

— Стас, никаких перестрелок больше не было?..

— Мама, о чем ты говоришь? Какие перестрелки! Их со времени нэпа нет. Можно подумать, будто по Москве разгуливают банды вооруженных гангстеров...

— Все секретничаешь. А у Ксении Андреевны из профкома украли марки. Ты ничего об этом не знаешь? Может быть, их уже поймали? Не прикидывайся, будто тебе ничего не известно. Настоящие профсоюзные марки. Для взносов.

— Как это ни странно, но я действительно ничего не слышал про марки. Я и не мог и не должен был слышать про эти марки, их вообще, наверное, скорее всего потеряли...

— Ах, Стас, чтобы успокоить меня, ты что угодно наговоришь!

— Мама, я не успокаиваю тебя, потому что тут и волноваться не из-за чего. В жизни есть масса всяких вещей, из-за которых стоило бы волноваться.

— К сожалению, вы, дети, никак не можете понять, что большинство наших волнений из-за вас.

— Но я ведь, мама, доставляю тебе очень мало волнений. Я благонравен до противного — я даже не курю, очень редко напиваюсь и не распутничаю, не играю на беге и в карты. А родителей больше всего волнуют эти пороки.

— Пусть они волнуют твою парторганизацию, эти пороки. Меня волнует, что ты никак человеком не станешь. Я бы тогда, может быть, примирилась с увлечением ипподромом.

— Как я понимаю, твоя ученица еще не ушла и ты можешь своими неосторожными замечаниями разрушить легенду, — сказал я ехидно.

— Ах, Стас, ты еще совсем маленький и глупый мальчишка. И очень злой, — сказала она грустно, — я даже не понимаю, почему ты такой злой.

— От своей праведности. Все праведники очень злые и нетерпимые люди. У них почему-то всегда с желчным пузырем неприятности.

— Ты говоришь со мной, будто я желаю тебе зла, — сказала растерянно мать. — А я ведь тебе только добра хочу...

— Я это знаю, мамочка. И я себе добра хочу. Но, честно говоря, я даже не очень-то понимаю какого. Поэтому я ищу...

— Но тебе ведь уже тридцаты! В восемнадцать ищут!

— В восемнадцать, мама, человек обязан идти в институт или в армию, как в семь идут в школу, а в шестьдесят — на пенсию. Я говорю не об этом.

— Но так ты можешь и не найти ничего и никогда!

— Не исключено. Хорошо, что живем не в Италии, иначе там бы мы с тобой разорились — там повременная оплата телефонных разговоров. Я к тебе лучше заеду попозже, и мы обо всем поговорим...

На троллейбусной остановке было много народу, и я пошел пешком. С Тверского бульвара были видны сияющие айсберги Нового Арбата: опробовали первомайскую иллюминацию. Праздник был совсем рядом.

Я помню, как мучительно медленно тянулось рань-

ше от праздника к празднику время, а сейчас оно будто перешло на какой-то новый счет, побежало, помчалось, не успеваешь оглядываться. А может, это не время, а я сам быстрее побежал через него? Ушли назад, остались за спиной вчера и позавчера, и год назад, но они не пропали, не растворились в сумерках времени, а замерли, как плиты туннеля, через который я иду к станции счастья. Я думаю, что время постоянно и существует все целиком — как мир, как вселенная. Люди для своего удобства ввели порции, разделили время на доли, как кинолентку на кадры. А потом забыли об этом и стали поклоняться не времени, а порциям, загнав себя в колодец циферблата, в лабиринт перекидных календарей, где вчера предшествует сегодня, которое идет всегда перед завтра. Но ведь всего два дня назад твоё вчера должно было стать завтра! И из-за того, что я часто думаю об этих чудесах, мне непонятны люди, легко и охотно забывающие своё вчера, живущие только сегодня и плюющие в завтра, потому что я свято верю: время не разделить на эти крошечные ломтики, и завтра — это кусок моего вчера. Ведь в движении кинолентка времени может свернуться, и вчера опередит завтра. Кто его знает, какое для этого нужно движение и, возможно, световая скорость для этого не нужна, а достаточно раз в жизни промчаться по стене. Но смотреть в завтра страшно из-за того, что для этого надо проехать по стене. Мы никогда не могли договориться с матерью, наверное, потому, что она терпеть не может смотреть в завтра. Для неё будущее — ближайшие десять минут, и когда она говорит со мной о моем будущем — это тоже разговор о сегодня. И мне бесполезно говорить с ней о том, что время можно свернуть и посмотреть в своё завтра — оно для неё линейно и непостижимо. Я ни за что не осуждаю её: нельзя требовать от молодой и неприспособленной женщины с маленьким пацаном на руках, когда муж пропал без вести, выполняя задание в тылу врага, чтобы у неё достало сил совершить бросок по стене и рассмотреть свернутую в движении ленту времени. Просто она сказала мне: «Стас, я ещё молодая женщина, ведь и мне надо устроить свою жизнь». Я этого не понял и не принял. Тогда я не понимал этого, потому что знал: устраиваются на работу, устраиваются на спецжиры, наконец устраивают в школе вечер. Но как можно устроить

жизнь, я не понимал. Впрочем, и потом я так и не усвоил для себя второго, глубинного смысла этого слова.

Отца я совсем не помню, потому что он ушел на фронт, когда мне было три года. В эвакуации у нас пропали все вещи, и не осталось даже его фотографии, и было у меня лишь полустершееся воспоминание, как незадолго до войны отец принес домой радиоприемник «б-Н-1», включил его и из загадочного ящика рванул бравурный марш, а я от неожиданности напугался и заревел благим матом, и отец таскал меня на плечах, распевая:

Испугался мальчик Стас —
В дом явился Карабас.
Ну-ка свяжем ему руки,
Ну-ка снимем с него брюки,
Ну-ка всыплем мы ему,
Чтобы помнил Карабас —
Не боится мальчик Стас...

Мне очень нравилось, что мы снимем с грозного Карабаса брюки и всыплем ему по попке, чтобы он не пугал маленьких детей. И больше я ничего не помнил, все растворилось, утекло, исчезло. Иногда я просыпался по ночам и долго бормотал: «Испугался мальчик Стас», пытаюсь этими словами, как заклинанием, вызвать в памяти облик отца, потому что еще мгновение назад он разговаривал со мной во сне, большой, веселый, сильный, но лица у него не было, и это мучило меня как физическая боль.

Мать вышла замуж за преподавателя немецкого языка с той же кафедры, где работал отец. Это был добрый, рыхлый, очень флегматичный и чрезвычайно трудолюбивый человек. Мы переехали к нему и прожили вместе одиннадцать лет, до тех пор, пока я не поступил в институт. Тогда я вернулся к нам на старую квартиру, где живу до сих пор. Вскоре мой отчим умер. И хотя мы прожили много лет вместе, я редко вспоминаю о нем, будто это случайно встреченный на улице прохожий. Я совсем не узнал его за все годы, так он и остался в моей памяти каким-то молчаливым серым пятном. Наверное, это получилось из-за того, что я сам был ему совсем неинтересен и он всегда был со мною безразлично-ласков, как с соседской кошкой. Вежливый, спокойный, скромный, как пожилой театральный статист. Ведь никто не приходит в театр рассматривать

нюансы игры статистов, а он был прирожденный статист, и, когда он сошел со сцены, похоже, что никто этого и не заметил.

Когда он умер, мне было восемнадцать лет, а матери тридцать девять, и она была еще очень красивой женщиной, и я был уверен, что она как-либо будет устраивать свою жизнь. Мы часто ссорились с матерью, и она, сердясь и грустя, говорила мне: «Папочка! Вылитый папа!» А потом она вышла замуж за молодящегося полковника в отставке.

Полковник Хрулев оказался веселым, хорошим мужчиной, и я был доволен за мать, потому что с ним она чувствовала себя в жизни уверенно и твердо, а он действительно помолодел на двадцать лет, и они оба вроде устроили свою жизнь и были взаимно счастливы, радостны и удовлетворены. И оттого, что они оба были уже немолоды и встретились после долгих жизненных мытарств, они как-то недоверчиво относились к прочности своего благополучия, неся его, как переполненную чашу, на вытянутых руках, всецело поглощенные охраной своей непрочно устроенной жизни, никогда не заглядывая в завтра и напроць зачеркнув вчера, потому что время существовало для них только в форме сегодня. И если бы они могли, то наверняка остановили солнце на небосклоне, лишь бы оттянуть, задержать закат, после которого должно прийти совсем неизвестное завтра. В этой их погруженности в свои проблемы мне не было места, и я снова все чаще и чаще вспоминал отца, потому что у меня накопилось уже много вопросов, которые я не мог решить сам. И тогда отец стал защитником всех моих сумасбродных и странных поступков, потому что я поверил: будь он жив, мы бы смогли с ним о многом договориться, он бы многое понял, чего мать не принимает и не желает понимать. Он стал для меня пробным камнем, символом отрицания того, что делает и говорит мать.

Но оттого, что у него в моих воспоминаниях не было лица, объемности, из-за того, что я никогда не мог с ним поговорить, я начал постепенно с тоской думать, что, может быть, его не было совсем, моего отца, и никто не таскал меня на плечах, распевая «испугался мальчик Стас», и некому уверить, что «не боится мальчик Стас», и не с кем будет повязать разных Карабафов моей жизни.

Уже поступив в милицию, я пошел в университет и там в архиве разыскал его личное дело. И когда я перевернул обложку пожелтевшей, выцветшей папки, меня точно в сердце ударило — с первой страницы анкеты на меня смотрело мое лицо. Короткие жесткие волосы, сердитый взгляд, уши торчком. Тихонов Павел Михайлович, 1911 г. рождения. Конечно, это биологическая случайность — я мог быть похожим на мать или не походить ни на кого из родителей. Но в двадцать два года случайностей не бывает — мир предопределен и заранее рассчитан, как схема телевизора. Именно тогда я впервые подумал, что время едино и человек может возвращаться в свое вчера и заглядывать в завтра. Я хотел незаметно от секретарши вырвать из папки фотографию, а потом раздумал, сложил пожелтевшие корочки и ушел. Мне больше не нужна была фотография, потому что показывать ее было некому, а моя память навсегда перенесла ее в завтра.

Я не могу сказать, что любил отца. Наверное, это называется как-то по-другому, потому что люблю я, несмотря ни на что, мать. А с отцом все по-другому. Это какое-то эгоистическое чувство нашей с ним нераздельности. Когда я увидел его фотографию, у меня будто щелкнуло что-то в мозгу, открылся клапан и понеслись одна за другой картины былого или придуманного, где нам было три года и тридцать, он нес меня на плечах по Красной площади на демонстрации, а я подавал ему вторым номером патроны у пулемета, потом он стоял в хоккейной маске в воротах, и я бросал ему нижнюю «резаную» шайбу, и он стыдил меня из-за того, что я горько плакал, когда меня бросила Лена, или, может быть, это я утешал его, что мать вышла замуж за Хрулева, но все это кружилось в бешеном круговороте, и я не мог нас разделить — где он и где я, потому что мы встретились впервые, когда он уже погиб, и для этого я пришел из его завтра в свое вчера.

Тогда-то я понял, почему у нас с матерью такие неважные отношения. Я остро, болезненно ревновал ее к рыхлому, флегматичному преподавателю немецкого и полнокровному, веселому Хрулеву, которые должны были устраивать с ней жизнь после отца, а он был со мной неразделим, он был, я, а они заняли наше место и, значит, она их больше любит, чем меня-отца. И я люто, бессознательно ненавидел карточки на хлеб, ве-

щи, очереди, человеческое одиночество, всю войну вообще, из-за которой у людей возникает необходимость устраивать жизнь, зачеркивать вчера и отворачиваться от своего завтра.

А мать я любил и ненавидел, как можно любить и ненавидеть самого счастливого из всех несчастных людей, потому что она не смогла в труднейший момент своей жизни проехать, пройти по второму измерению, чтобы свернулась лента времени, она не захотела и не сумела сделать вчера своим завтра, а только надеялась устроить свою и мою жизнь, не понимая, что жизнь нельзя устроить для себя — время едино и завтра — всегда часть твоего вчера, а вчера еще был жив отец, но она поверила, что он мертв, когда он еще мог быть жив, а жизнь нам таких вещей никогда не прощает. Годы шли, шли, шли, пока я понял, что моя любовь и ревность к матери — это половина памяти отца, а ненависть — бремя верности этой памяти, которое я хотел возложить на нее, а она не могла его снести, потому что была обыкновенной слабой женщиной, и я не вправе требовать от нее умения чувствовать единство времени, где память есть любовь, а завтра только часть твоего вчера....

Я поднялся по лестнице на второй этаж большого дома, старого, очень удобного, какие строили в Москве в начале века. Мать открыла мне дверь, сказав:

— Я и не думала, что ты будешь так быстро.

Она подставила мне щеку для поцелуя, и я почему-то подумал, что мать никогда меня не целует, наверное, чтобы не испачкать помадой.

В прихожей стояла миловидная девушка в пальто — она, по-видимому, прощалась, когда я пришел. Мать сказала: «Познакомьтесь, пожалуйста...» Началась ненавистная мне процедура знакомства. У меня есть мерзкая привычка не слушать, когда незнакомый человек называет свое имя, из-за чего уже через две минуты я попадаю в дурацкое положение: вместо того чтобы называть его по имени, приходится выдумывать всякие безличные обращения вроде «видите ли» или «понимаете ли». Кроме того, знакомясь с неинтересным тебе человеком, нужно непременно говорить массу пустых, ничего не обозначающих слов. «Очень рад». Почему это я очень рад?.. В общем, пробормотал я чего-то там вежливенькое, да и девушка, видно, была разоча-

рована несоответствием моей весьма заурядной внешности с той легендой, которая была тщательно создана матерью. На том, слава богу, и расстались. Мать проводила ее и возвратилась улыбаясь:

— Очень способна...

Я не удержался от ехидства:

— Наверное, уже выучила «Жаворонка»?

Мать взглянула на меня и весело засмеялась.

Ах, как я люблю смотреть на мать, когда она смеется. Исчезают морщинки, незаметная легкая желтизна кожи, а глаза, голубые, выпуклые, как озера весной, разливаются добром и весельем. Когда она смеется, глаза у нее загораются каким-то непостижимым светом, притягивающим к ней мужчин, как маяк в ночи. Я никогда не слышал, чтобы она хохотала, как это часто делают многие женщины. Она смеется совершенно беззвучно, и только радостно и сильно полыхают ее глаза, и мужчины начинают тихо сумасшеднуть, стараясь сделать что-то сверх своих возможностей, а поскольку это всегда довольно затруднительно, то обычно они становятся просто хвастливыми...

— Не понимаю, зачем ты с ними занимаешься.

Мать пожала плечами:

— Техника все больше машинизирует людей, им не хватает эстетического воспитания, понимания красоты искусства...

— При такой широте подхода надо это делать за бесплатно, — предложил я.

— Но ведь мне и для себя необходимо создать видимость своей необходимости людям, — сказала она, и я не понял: шутит она или говорит всерьез. — Ты так погружен в эту проблему, что и я стала над ней задумываться всерьез, — и мать снова засмеялась.

Потом она посерьезнела:

— Стас, дорогой мой, мы с тобой стали совсем чужие. Ты так ужасно отдалился!

— Что делать, мама, — развел я руками, — у меня очень мало свободного времени...

— А, разве в этом дело! Я ведь совсем не знаю, как ты живешь, и меня это очень пугает. Я, наверное, стала уже старая и все время думаю о тебе, и очень боюсь за тебя...

— Чего ты боишься? — искренне удивился я.

— Стас, я совсем ничего не знаю о тебе. Не знаю,

с кем ты дружишь, с кем сталкиваешься по работе, что ты делал сегодня и год назад.

— Мама, мы с тобой уже говорили об этом. Мир, в котором я вращаюсь, тебе непонятен и неинтересен. И жизнь моя не меняется: и восемь лет назад, и сегодня я разбирался с одним и тем же вором по кличке Батон.

— Я говорю не о том! Вчера ко мне приходил Вадик Петриченко...

— Знаю, знаю! — перебил я. — Вадик — твой любимый ученик, мой ровесник и уже лауреат международного конкурса! Но я, мама, не хотел и не мог стать пианистом — у меня слуха нет. Хотя в этом-то я не виноват?

— Ты так гордишься отсутствием слуха, будто за это диплом выдают. Но ты напрасно меня перебил, я еще не такая бессмысленная старуха, какой ты меня всегда представляешь. Вадик рассказал мне страшную вещь — ты помнишь Лю Ши-куня?

Я кивнул:

— Пианист, ему хунвэйбины камнями разбили руки.

— Так ты знаешь об этом?

— Я читаю газеты.

— И ты говоришь об этом так спокойно?!

— Мама, я не говорю об этом спокойно. Но что можно сделать? То, что происходит там, — как чума, как градобой.

— Но ведь это сделали люди, а не микробы и не град!

— Да. Но я-то что могу сделать? Я-то здесь при чем?

— Ах, Стас, ты не видел, какие у него были руки! Он маленький, худенький, а руки будто выточены из бамбука — тонкие, нервные, сильные. И по ним били камнями. Камнями!... Ты понимаешь, как это страшно!

Мать замолчала, нервно раскуривая сигарету. Две недокуренные дымилась в пепельнице. Я аккуратно погасил их.

— Я почему об этом с тобой говорю, — сказала мать, судорожно вздохнув, — твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов. Я боюсь за тебя, боюсь, что вся твоя жизнь уйдет ни на что. Ну ответь мне по-человечески, чтобы я поняла, если я действительно такой отсталый человек, почему именно ты должен ловить жуликов? Каждый творческий человек вы-

бирает себе работу по призванию. Разве твое призвание — ловить жуликов? Разве вообще есть такое призвание?

Я сидел молча, раздумывая над ее словами. Как же мне ответить ей?

— Ну почему ты молчишь?

Да, действительно, разве бывает такое призвание? Так я и сидел молча, и рассматривал комнату матери — другой мир, в который мне не было доступа, потому что у меня с детства не было слуха, а главное — желания проникнуть в него. И интересовали меня совсем другие вещи, а мать была занята устроением жизни и воспитанием будущего лауреата Вадика Петриченко, который, по-моему, уже лет в семь точно знал свое призвание и был действительно хороший парень — вежливый, скромный, трудолюбивый и с абсолютным слухом. Так что я медленно и неуклонно открывал дверь в свой мир — задымленные милицейские дежурки, неистребимый запах пота и капусты в тюрьмах, тревожную сонливость засад, витиеватую матерщину задержанных хулиганов, всегда пугающий холод уже остывшего трупа...

Интересно было бы перевесить с этой стены в мой служебный кабинет портрет Стравинского. Нельзя. И нельзя перенести фотографию Рахманинова, и неуместен там маленький бюст Бетховена, бронзовые подсвечники, раздерганные пожелтевшие ноты. Нельзя. Я и сам был уверен, что наши миры разделены прочно, навсегда. А оказывается, что жизнь их связывает, как подземные реки.

«...Твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов...» Но ведь где-то же хулиганов приучают разбивать камнями руки? Как же объяснить матери, что мое призвание не только в том, чтобы ловить жуликов, а и в том, чтобы не позволить хулигану раздробить пальцы лауреату Вадика Петриченко? Ведь дело не в одном лауреате и не в одном хулигане. Господи, как же называется мое призвание?

— Мама, ничего я не могу тебе сказать. Тут словами ничего не скажешь, это надо чувствовать, как я это чувствую в себе...

— Все разумное, осмысленное можно сказать словами, — сказала мать.

— Ладно, мама, не будем больше говорить об этом. Здесь нам с тобой ничего не изменить...

Зазвонил телефон. Быстрым точным движением мать провела платочком по лицу, не размазав ни одного косметического штриха, достала из-под рояля трубку и сказала: «Аллёу». Через мгновение она с увлечением обсуждала со своей приятельницей новую прекрасную программу Михновского, чем-то возмущалась, огорчалась, радовалась, восхищалась чьими-то шведскими замшевыми сапогами.

Я достал из кармана портсигар и держал его наготове, чтобы сразу вклиниться между отбоем и подробным пересказом всех деталей этого «волнительного» разговора.

— Ой, какая прелесть! Откуда у тебя такая вещица?

— Это вещественное доказательство. Посмотри, пожалуйста, что это за ноты на нижней крышке?

Мать, прищурясь, рассматривала нотные знаки необычного золотого клавира и длинным тонким пальцем отстукивала на полированной крышке стола ритм, а я мучительно старался не смотреть на этот тонкий нервный палец, потому что точно такие же сухие тонкие пальцы, совсем не мужские, трепетные и хрупкие, были у Вадика Петриченко, и уж, наверное, ничем, разве что цветом, не отличались они от рук Лю Шикуня, которого я никогда не видел.

— Это токката Панчо Велкова...

— Что, что? — переспросил я.

— Есть прелестный болгарский композитор, — начала подробно объяснять мать...

ГЛАВА 8 ШКОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Не знаю уж почему, но злобы к Тихонову я не испытывал. Может быть, потому, что он глупый? Про него правильнее сказать, что он не глупый, а ограниченный. Во всем вроде нормальный парень, а на работе своей прямо звереет. Ну будь он тщеславным, хитрым чинушей, я бы это мог понять: хочешь в начальники выскочить — давай паши людской навоз. Но по нему не видать, чтобы он сильно рвался к большим погонам,

ему надо мне какие-то глупости доказывать. И главное, зачем? Никто его не просит так надрываться, и славы на мне он никакой не заработает, но вот завел я его однажды, и теперь он будет со мной биться, пока пар из него не пойдет.

Смотрел я на него долго и вдруг заметил, что у него ворот на рубашке протерт. Сорочка белая, поплиновая, чистенькая, много-много раз стиранная и в сгибе у шеи протерлась до тонкой ворсистой бахромки. И никак я не мог на него разозлиться, пока он из кожи вылезал, загоняя меня в тюрьгу.

Не мог я сосредоточиться, чтобы по всем правилам дать ему оборотку, а может быть, и не в моих это было силах — отбиться от него, потому что он давно уже не щенок, а матерый, жесткошерстный розыскной пес. И все в его поступках и размышлениях было логично, смело и правильно, только одного он не мог сообразить, и касалось это не меня, а его самого — он очень хороший, отлично вышколенный пес, который сторожит забор без дома. За тем забором, вдоль которого он бежал за мной ровной, не знающей усталости рысью, настигал меня, прыгал мне на спину, валил на землю и волочил харей по грязи и дерьму прямо в тюрьму, он лично — не капитан милиции, не инспектор МУРа, а просто одинокий тридцатилетний парень с худым сердитым лицом по имени Стас Тихонов, — вот он лично ничего своего не оставил за этим забором, который он так истово охранял от моих преступных посягательств.

И подумал я об этом, глядя на протертый у сгиба воротничок сорочки. И от этой мысли я никак не мог сосредоточиться, потому что он мне вроде бы доверил свой большой секрет и обязывал держать его в тайне, а сам душил и рвал меня, пытаюсь вытащить у меня из глотки те слова, что он мог бы записать в протокол, дать мне расписаться и лишит меня за эти слова самого дорогого, что есть у человека, — жить без конвоя. Дело в том, что мне казалось, будто мы двое знаем о протертой на воротнике рубашке, ведь всем остальным до этого не было никакого дела, и никто с лупой не станет рассматривать его сорочки, и об этой протертости — унижительной печати бедности — знали только мы двое: он и я.

Он увидел свой старый, изношенный воротник сего-

дня утром, собираясь на работу, и мне казалось, что я стою в его комнате и вижу, как Тихонов, еще в майке, растягивает на руках сорочку и прикидывает: можно еще надеть эту рубаху? Достаточно ли незаметна намечающаяся дыра? Или выкинуть и надеть кобеднешнюю? Пожалуй, еще разок можно надеть эту, старенькую. Надевает и идет на работу сюда, на Петровку, 38, чтобы решить вопрос всей моей жизни. И здесь протертый воротник увидел я, и он совсем вышиб меня к чертям из седла, потому что я с какой-то болью ощутил, в каком нелепом, перековеркнутом мире мы все живем.

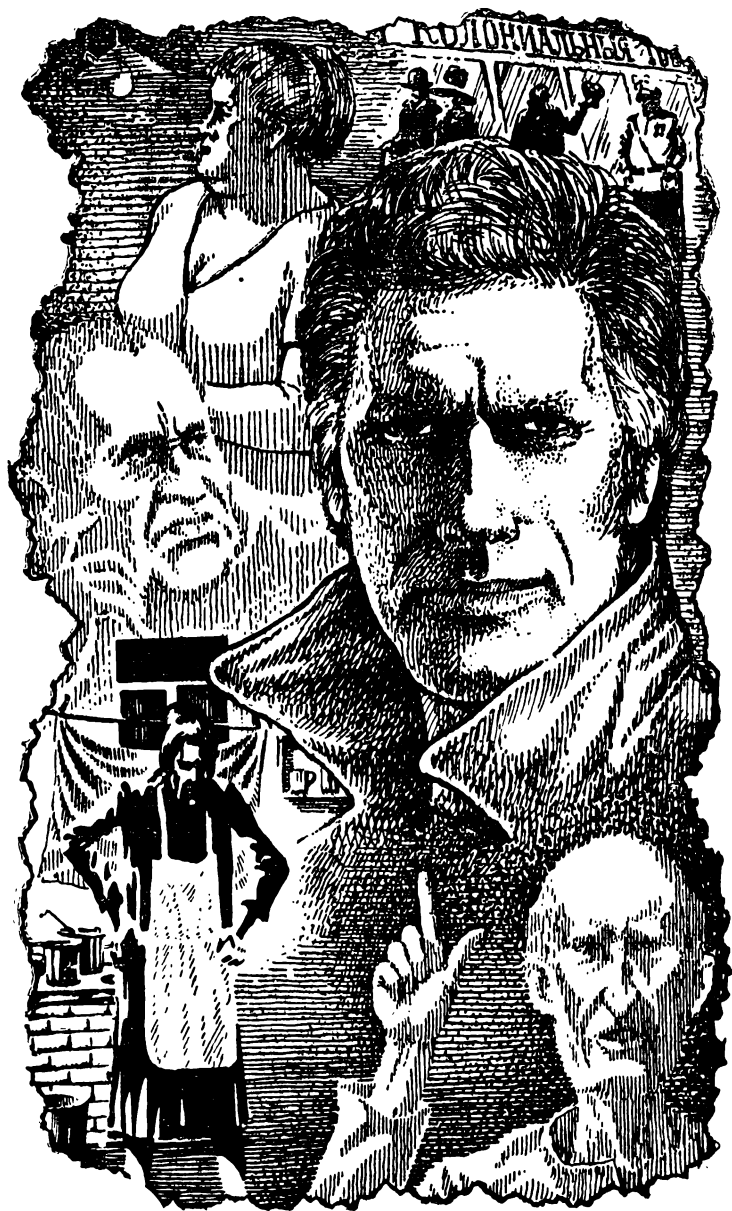
Господи, да я бы ему сто, или двести, или тысячу рубашек купил бы, только бы он выпустил меня отсюда! Заикнулся бы он только, я бы выплатил ему его зарплату за пять лет вперед! Я бы, наверное, не обратил внимания на его рубаху, будь она грязная, мятая или разорванная, но она была вытертая! Вытертая от многолетней аккуратной носки. И у этого человека в руках была вся моя жизнь! Господи, чушь какая!

Но Тихонову не нужна тысяча нейлоновых, банлоновых, орлоновых, льняных и хлопчатых полосатеньких пижонских рубашек «кент». И не нужна ему в один миг полученная от меня зарплата за пять лет вперед. Его вполне устраивает протертая на воротнике поплиновая, чисто выстиранная рубашечка, потому что только в ней он может носиться со своей ответственностью перед всеми людьми, будто бы уполномочившими его сторожить забор, по одну сторону которого поселились они со своими пожитками и жалким обывательским покоем, а по другую — я с моей никогда не утихающей жаждой жить легко и приятно.

Он ведь не стадный, он не осел, повторяющий послушно чужие, навязанные ему прописи, такие, как он, на все имеют свою точку зрения и умудряются первыми получить все самые поганые обязанности и последними выуживают из котла награды и призовых слонов. И все-таки ему нравится то, что он делает. Почему? Может быть, это жажда власти? Или славы? Или силы? Или возвращение долга за жалкое и нищее детство? Или он считает, что вершит справедливость? Но этого не может быть — он же не блаженный идиотик? Нельзя же быть умным взрослым человеком и верить в какую-то общую и добрую справедливость!

Для меня вера в справедливость скончалась, когда мне было десять лет. Это словечко было в большом ходу в нашей проклятой семейке. Почесывая длинное родимое пятно на щеке — «мышку», дед говорил: «Бог забыл нас, умерла справедливость, и погрязли мы в скверне»... Полагаю, что второго такого разбойника на ростовских хлебных ссыпках, как родненький мой дедуля, было не сыскать. Мать смотрела на меня с ненавистью, и красные мятые пятна проступали на ее пористой коже: «По справедливости говоря, лучше было бы мне сделать аборт, чем вырастить такое чудовище...»

Но больше всех любил это словечко папа. Вечерами он приходил с работы, стягивал сатиновые синие нарукавники, отряхивал с туалъденоровой толстовки невидимые крошки, садился к столу и долго, зябко умывал одну ладонку о другую; он всегда судорожно тер ладони, будто ни вода, ни мыло не могли отмыть налипшую на них за день грязь, и он все тер и тер их, даже во время еды отложит на минуту ложку, потрет синие, влажные, всегда очень холодные ладони и снова принимается за суп, отвратный, воняющий кислятиной и прелыми овощами. Почему-то у нас дома всегда мерзко ели, и не потому даже, что каждая выдача денег на жратву сопровождалась кошмарной свалкой и «битвой с саблями наголо», и в этой бойне рвался вверх дедов визгливый фальцет: «Жулье, моты проклятые, сколько можно несчастного старика доить!», а отец испуганно тряс башкой, он весь сгибался на одну сторону от унижения и страха, но держался несокрушимо: «Я честный служащий и денег не кую!», а мать, шваркнув в деда кастрюлей с остатками вчерашнего супа, потом с удовольствием, с мясницким «хэк!», с отяжкой охаживала отца по тощим лопаткам скалкой и, проходя дав мне по рылу, говорила душевно, почти ласково: «Сгорите вы все в огне! Подавитесь вы все трое! Воши проклятые, нет на вас санпропускника тифозного! Чтобы вас уж скорее на простынях отсюда вынесли! Чтобы вам ваши рты поганые забросало гнилыми нарывами, тогда бы вы жрать не хотели и никаких денег было бы не надо!» И готовила мать с отвращением, просто с ненавистью, поэтому она начинала варить борщ, забывала о нем, борщ выкипал, пригорал, и в обед она тычком совала на стол грязную, закопченную кастрюлю, мрач-



но объявив: «Жрите. Овощное рагу». До сих пор я никогда не ем компота, потому что дед однажды достал где-то мешок порченных сухофруктов, и каждый день мы ели на третье компот из заплесневелого чернослива и гнилых грушек, невыносимо кислый, и в каждой ложке плавала парочка белых фруктовых червяков. Дед вышвыривал их ловким щелчком желтого железного ногтя, подмигивал мне: «Давай, давай, с мясным наваром сытнее». Однажды меня затошнило, и мать мне сразу помогла, дав такую оплеуху, что я скovyрнулся с табуретки, и тошнота сразу прошла, и все сразу условились, что компот нам нравится.

Так вот, вспомнил я, как отец, дожрав хлебово, которое ему мать совала на всегда замусоренный, изгаженный, липкий стол, вытирал о подол толстовки свои вечно зябнущие ладошки, садился у подоконника и начинал вершить справедливость.

Он творил ее вдохновенно, как, наверное, писатели придумывают свои книги. Он брал мою старую, не дописанную до конца тетрадь, аккуратно разглаживал ее на подоконнике и, почесывая тупым концом карандаша в ухе, задумывался. Видимо, он сочинял сюжет. Потом он делал в тетради какие-то пометки, и, надо полагать, это были эскизы к образам. Сидел он подолгу, не спеша все обдумывал, иногда коротко негромко всхохатывал — наверное, ему нравилась какая-то отдельная мысль или поворот событий. Потом заискивающе спрашивал меня: «Ленчик, ты уже все уроки сделал?» Так он называл меня только в тех случаях, когда сотворял справедливость. А во всех остальных случаях он меня просто никак не называл, а обходился протяжным и выразительным обращением — «ты!». И это «ты» он говорил длинно, вытягивая и округляя губы, и получалось какое-то странное слово: «Д-д-ы-ы!»

А поскольку я был двоечник, то уроки у меня всегда были сделаны. Он сажал меня рядом с собой у подоконника, открывал чистый лист в тетради и начинал мне диктовать, а я писал. Я писал ему доносы. Доносы были на всех. На соседей, на сослуживцев, просто на каких-то малознакомых людей. Я спрашивал его: «А зачем?» А он говорил мне добро и задумчиво: «Так надо. Справедливость во всем нужна». Писал он о том, что домоуправ злоупотребляет и соседи живут не по сред-

ствам, инвалид Жинкин — симулянт, начальник треста Волобуев берет взятки, партиец Коновалов разлагается в быту с лаборанткой Косенковой, продавщица Лапина ворует и на каждый день носит фильдеперсовые чулки — с зарплаты так не пофорсишь. У Семенкиных что ни день, то пьянка, а главный инженер Фомичев, беспартийный, из бывших буржуазных спецов, шагая со знаменем в колонне на демонстрации, антинародно улыбался и при этом думал: «Надо же — как бараны тащимся, а я вовсе как дурак с этой тряпкой вылез...»

Я спросил его: «А ты откуда знаешь, что думал Фомичев на демонстрации?» Отец дал мне подзатыльник, не больно, а так, чтобы поставить на место и чтобы вопросов глупых не задавал: «Раз сигнализирую, значит, известно мне это...» Потом подумал и сказал: «Пожалуй, зачеркни лучше «думал». Напиши так: «Все время бормотал себе под нос». Доносы он подписывал загадочно и внушительно: «Группа честных доброжелателей».

Мать, проходя мимо, недовольно бурчала: «Вот скорпион проклятый на мою голову навязался. Чем за правду бороться, сходил бы за картошкой лучше». И самое главное, что я долго верил, будто отец действительно воюет за справедливость, и только очень сильно удивлялся, почему он, зная за этими людьми столько плохого, бежит с протянутой рукой через весь двор навстречу домоуправу, пьет с инвалидом Жинкиным водку, спрашивает у партийца Коновалова о здоровье драгоценнейшей супруги, продавщице Лапиной достает модельные «лодочки», а Сашке Семенкину продал стопу пластинок с песнями Лещенко и Вертинского. Быстро времечко бежало под теплым родительским кровом, и очень скоро представился случай все понять.

За какие-то там стахановские рекорды наградило правительство директора треста Волобуева собственной машиной — «эмкой», и держал он ее во дворе под своими окнами. Однажды в воскресенье собрался он куда-то ехать, глядь — а заднее колесо спустило. Ну конечно, не то чтобы оно само постояло и спустило, а это я ему вывинтил ниппель на пружиночке — очень смешно воздух выходит, когда на железный штырек нажимаешь: «пье-сь-сь-ть!» Задумчиво походил пузатый директор вокруг машины, а тут, естественно, папаня наш

тут как тут. Вот, наверное, Тихонов бы повеселился, кабы узнал, что он еще в штаны писался, когда я получил первое предупреждение от высшей справедливости — папашиними руками, конечно.

Папка дорогой мой говорит Волобуеву: «Почтеннейший Ван Саныч, давайте подсоблю, насос вам маленько покачаю». С того уже водичка соленая течет, он и рад помощи. Смотрел я, смотрел, как отец директору шину качает, стало мне за папаню обидно, подошел я и говорю: «Плюнь ты на него, не качай ему шины. Ты же знаешь, что он взяточник, его не сегодня-завтра НКВД к себе заберет».

Н-да, сценочка была загляденье. Отец медленно разгибался, вытягивая постепенно вверх ручку насоса, и казалось, будто он одним ходом штока высосал из себя весь воздух, я ведь даже не знал до этого, что из человека можно выпустить воздух не хуже чем из шины и даже на штырек ниппеля нажимать не надо. И синюшное его, сморщенное личико с длинным прямым носом все запахло и усохло, а глаза от страха сощурились. А Волобуев побледнел. Сначала он даже не понял, что я выкрикнул, а потом до него это медленно дошло, и он побледнел. Надо было хоть раз видеть Волобуева, чтобы понять, какое это невероятное, небывалое явление — бледный Волобуев. Он был здорово похож на урожай, который обычно рисуют на плакатах, — огромный пузатый пшеничный сноп с кирпично-красным лицом и пышными усами из колосьев.

Побледнел он, обхватил меня за спину огромной ручищей и подвинул к себе легко и быстро, как фунтик с прилавка снял, и я чувствовал, что его теплая ладонь обхватывает сразу половину моей спины.

— Ты что сказал, пацан? — спросил он. — А ну повтори?

Сказал он это не с угрозой и не зло, а так, будто я что-то ужасно всем интересное поведал, а он на минутку отвлекся и вот, черт возьми, прослушал. И от этой бледности и спокойной уверенности его я как-то сник и почему-то засомневался в том, что он очень плохой человек, которому, как я писал под диктовку отца, «давно пора отрубить карающим мечом правосудия заgreбушие лапы хапуги». Я не очень хорошо понимал, что такое взятки, я только помнил, что их зачем-то дают и берут и что это ужасно плохо и стыдно. И, мо-

жет быть, поэтому мне стало жалко, чтобы такие огромные и теплые лапы отрубили. Я сказал тише и уже без прежнего пламенного жара:

— Вы, дядя Волобуев, взяточник и хапуга. И вам надо карающим мечом...

Я не успел закончить, захлебнувшись кровью и зубами. Ручкой насоса отец брякнул меня изо всех сил по лицу, и все вокруг подпрыгнуло, и закружился проклятый продажный мир наш, загаженный и заплеванный, в сверкающем никелированном колпаке на колесе дареной директорской «эмки»...

Таким образом я получил первый урок, что за справедливость не надо бороться — она тебя сама найдет. И урок этот запомнил крепко, потому что еще много лет, пока я не получил среди блатных кличку Батон, прозывали меня все Щербатым. Иногда я задумываюсь над тем, что даже в случаях, когда за-ради справедливости люди и не хотели мне зла, все равно она выходила мне боком. Ведь если бы тогда Волобуев, узнавший от меня случайно, кто донимает его анонимками, приволок моего родного папульку в суд и там ему припаяли годика два за клевету, то, может быть, и в моей жизни все повернулось бы по-другому. А может быть, и не изменилось бы ничего, и на те же круги я выкатился бы все равно, но только Волобуев решил это все как-то неожиданно: жалко ему стало меня сиротить, сам он из беспризорных, горький хлеб безотцовщины еще на губах, так он и оставил эту историю без последствий. Выгнал только отца из своего треста.

Эх, кабы в десять лет можно было бы понимать ясно и четко то, что и к сорока не совсем еще яроянилось! Уйти бы мне тогда из дому и податься в детдом, или в ремесленное, или в ФЗО, и стал бы я с годами летчиком, или фрезеровщиком, или шофером — безразлично кем, но возникла бы у меня с детства потребность жить правильно и не было бы во мне отравы — необходимости жить приятно и легко, и не сидел бы я сейчас в пустой камере.

Но в десять лет нельзя себе выбирать дороги и жить с семьей кажется единственно возможным. Даже если в обычных свалках из-за денег появляется новая тема: отвечая на вопли матери, отец колотил меня ложкой по затылку и гугниво сипел: «Вот у него, у него,

у байстрюка своего, проси денег на жизнь. Он с нами за все доброе расплатился!» А мать отвечала: «Сам хорош, прыщ в подмышке! Кто тебя просил за правду бороться? У них разве найдешь справедливость!» А дед благодушно журил зятя: «Дурак был и помрешь дураком. Разве серьезное дело можно мальцу поручать? А пасть ты ему не зря наломал — пусть навек запомнит: что бы дома ни было, оно все, и хорошее и плохое — наше. Они нам чужие, и нечего им про нас знать».

Может быть, и забылось бы все это, тем более что вскоре Волобуев получил новую квартиру и уехал из нашего дома на своей дареной «эмке», а отец устроился кладовщиком в артель инвалидов. Но тут пришла первая в моей жизни настоящая беда.

Из дому пропали колье и аграф.

Не знаю, сколько они тогда стоили, но в доме колье и аграф были вещами символическими. Они остались от той — от ТОЙ! — жизни, и каждая буква в этом коротком словечке произносилась у нас в доме как заглавная. ТА жизнь, к которой я, к несчастью, не поспел, видимо, была жизнью удивительной, и когда говорили про ТУ жизнь, а говорили о ней с какой-то извращенной страстью каждый день, то говорили с тяжелыми вздохами, мать часто со слезами, а дед мрачно сплевывал и сквозь зубы матерился.

Все в ТОЙ жизни было замечательно — полно всякой дешевой жратвы, никаких тебе карточек и спецжиров, мать шила свои шмотки на Кузнецком мосту у дорогих «костюмьеров» — она почему-то всегда говорила «костюмьеры», у деда была оптовая хлебная торговля и несколько магазинов, и даже люди в то время были совсем другие — деликатные, воспитанные, приличные. Вот насчет людей я верил с трудом, глядя на своих дорогих папашу и мамашу. Мать, когда папаша к ней сватался, была его на пять лет старше, да и видом своим больше на циркового борца смахивала, чем на лилейную барышню. Но отец верил в справедливость и был убежден, что дед тоже поступит справедливо, коли переведет его из младших конторщиков в управляющие за то, что сумел он разглядеть тонкую душу его дочери и поступил к нему в зятя. Не знаю уж, какие на этот счет у деда планы были, только диктатура пролетариата внесла свои поправки в личную жизнь

всей моей дорогой семейки. Экономическая передышка кончилась, командные высоты индустрии остались в руках бывших эксплуатируемых, а ныне хозяев своей судьбы, а заодно и своей страны, и весь этот распрекрасный нэп прикрыли к едрене фене, как засвеченную «малину». Реквизиции, экспроприации, конфискации, обложения, самообложения — все и не упомнишь, хотя мне и помнить нечего, — я тогда еще на свет не родился, но, во всяком случае, в нашей семейке с эксплуататорскими способами существования было покончено. Деда забрали в ГПУ и попросили поделиться с народом накопленными им нетрудовым путем ценностями. Следовательно объяснил, что в стране идет грандиозное, доселе в мире неслыханное строительство и для этих целей нужно много желтого мегалла, хотя они могут принять также драгоценности и иностранную валюту. Дед мрачно сказал ему: «Когда нет денег, то не строят...», но ценности сдал. Его тотчас же отпустили, и стала моя семейка вносить посильный вклад в дело строительства социализма.

А справедливость тут как тут. Чтобы как-то утешить огорченную столь серьезными потерями семейку, на свет родился я. Судя по тому, что вылетел в этот прекрасный мир я только с пятой попытки — четверо моих старших брательников родились мертвыми, — я был в семейке долгожданным ребенком. Но, вспоминая теперь, что вытворяли со мной мои бесценные родители, я часто задумываюсь: чего это они так старались делать детей? От любопытства, что ли? А когда у меня бывает совсем плохое настроение, то я жалею, что среди братьев Дедушкиных я не был вторым или четвертым.

Во всяком случае, сколько я себя помню, столько в нашем доме было разговоров про колье и аграф. Это все, что осталось у них от ТОЙ жизни, и мать относилась к этим дурацким бусам и брошке прямо с религиозным восторгом. «Такую вещь сейчас не найти», — говорила она дрожащим от удовольствия голосом, прикладывая колье к могучей красной шее с несколькими поперечными складками. Гранатовая штукавина, как мне сейчас представляется, не больно-то была дорогая и довольно безвкусная. Ну да это не имеет значения — нравилась, значит, нравилась.

И вот колье и аграф пропали. Обнаружилось это

вечером, когда отец уже отужинал и томился бездельем, потому что писать доносы после истории с Волобуевым он пока опасался, а телевизоров тогда еще не придумали. Мать открыла жестяную банку из-под индийского чая, в которой она хранила свое сокровище и облигации, и, не находя побрякушек, начала быстро шарить в коробке рукой, и выглядело это точно так, как кошка скребет лапой по песку. Потом она подняла на нас потемневшее от прилива крови лицо, и две тяжелые складки набежали у нее около переносицы. Она сказала негромко и зловеще:

— Колье...

И переводила свой тяжелый взгляд с деда на отца, с отца на меня, с меня на деда и снова на меня. И я понял, что пропал. Видимо, у меня уже тогда были плохие нервы, и я очень испугался, даже не знаю, чего я испугался, может быть, предчувствие в сердчишке екнуло, но только я от этой пугающей тишины, от этой духоты взаимной ненависти заплакал. Я и сам это не сразу заметил, но когда отец сипло спросил: «Значит, кошка знает, чье мясо съела?», я почувствовал, что у меня по щекам текут горячие быстрые струйки и сильно трясется подбородок. Хотел я закричать во весь голос, что не виноват, что не брал я никакого колье, но голос пропал, и все происходящее стало разворачиваться в стремительный бессвязный кошмар, который до сих пор мучает меня в тишине и одиночестве.

Мать била меня с маху по щекам, и моя башка моталась, будто привязанная на веревочке, и пьяненький грустный дед подскакивал на своем стуле, редко лупая красноватыми веками, а отец с ремнем в руках нетерпеливо сучил ногами, будто в уборную торопился, и когда я получал удар слева, справа на меня бросался наш торгсиновский буфет, и мчался он на меня с грохотом и треском, как поезд по мосту, и то ли буфетная створка, то ли ласковая мамочкина рука врезала мне по правому уху оглушительно и страшно, а уже слева наезжал на меня черный клеенчатый диван, и предшествовала ему громадная, во всю диванную спинку ладонь, и эта ладонь-диван вмазывала мне по левой скуле, иплыли вокруг меня, как на китайском цирковом аттракционе, звенящие, переливчатые радужные круги, которые время от времени сталки-

вались, и тогда во все стороны летели ослепительные сине-зеленые искры.

И все они кричали без остановки: «Куда ты дел колье, распроклятый, негодяйский мерзавец, отвратительный выродок! Вор! Вор! Вор! Вор!..» Их охватило истерическое неистовство, свойственное плохим людям, когда случится им встретиться с гадким поступком, который бы они и сами с охотой совершили, но вот почему-то замешкались, не успели и какой-то шустрик их сумел опередить, и тогда досада от упущенной возможности кажется им самым праведным гневом незаслуженно обиженных людей.

«В нашем доме вор!» — голосили они. «Это подумать надо — в нашей семье вор!» И они так напирали на это обстоятельство — в нашей семье, что сторонний человек мог подумать, будто вор объявился в семье князя Трубецкого.

Но традиции воспитания в хорошей семье требовали не только кары, необходим был еще и момент раскаяния. Поэтому отец выволок меня на кухню, где собрались досужие соседи, сочувствующие, возмущенные и равнодушные, и, сдрючив с меня брючишки, стал пороть ремнем, чтобы впредь воровать неповадно было. Господи, я ведь уже большой мальчишка был — десять лет, и с меня при всех стащили штаны и лупцевали по голой костлявой заднице. И боли я уже никакой не чувствовал, а только мечтал, чтобы устал он или чтобы у него рука отсохла, только бы отпустили и дали натянуть штаны.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, но на крики мои явился Сашка Семенкин — здоровенный парень, формовщик с завода «Станколит», наш сосед. Он швырнул отца в угол, как куль с тряпьем, взял меня на руки, прикрыл полкой пиджака и сказал сердито: «Вы, иуды, ишь расходились! Я вас всех правов родительских лишу. С ума посходили? Время-то не старое...»

Исполосованная задница зажила, и ничего дома не менялось. Только дед стал часто пьяненький приходить, и мать грызлась с ним до синевы. Однажды я вел его домой из пивной совсем пьяного, раскачивало его во все стороны, и он каждый раз наваливался на меня всем телом, и я уговаривал его еще немного удержаться, не падать, потому что двор наш уже почти рядом.

А дед тыкал мне в щеку мокрыми холодными усами, дышал на меня портвейном, пивом и воблой, ласково приговаривал:

— Эх, дурак ты, Леха, всю жизнь в дураках будешь. Тебе за каменья гранатовые порка была, а мне на них удовольствие от захмеления. Потому как я умный, а ты дурак.

Я сказал:

— Сейчас брошу тебя и пойду матери расскажу.

А он засмеялся:

— Так она тебе и поверит! Да и поверит если, ты ведь уже оплеухи со щек не скинешь. А когда правого за чужую вину выпороли, то от сраму и неправого простят.

— Гад ты, дедушка, — сказал я.

И вот тогда, именно тогда я почувствовал себя вором, еще ничего и не тронув у людей, потому что человек становится вором не тогда, когда украдет, а когда ему при всех сказали «вор!», за воровство при всех покарали и, расходясь, припечатали: «Поделом вору мука!»

ГЛАВА 9

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

В это утро наконец вышел на службу Шарапов. Я шел по нашим длинным унылым коридорам и думал, что с пятницы собираюсь позвонить ему и никак не выберусь — забываю. А около его кабинета вдруг уловил за дверью запах кофе. Без стука толкнул дверь и увидел его за столом — Шарапов наливал в хрустальный фужер кипяток, и кофейный аромат поднимался горькими нежными клубами.

Этот дурацкий фужер с отбитым краем я помню столько лет, сколько знаю Шарапова. Когда-то давно, в те поры, когда у нас еще не было растворимого кофе, он варил натуральный на электрической плитке в маленьком кофейничке. Из-за этой плитки постоянно скандалили комендант и пожарник, которые в своих письменных и устных рапортах называли ее только «пожароопасным электронагревательным прибором». Спор решил начальник МУРа. Раскрываемость

преступлений в отделе Шарапова, видимо, волновала его больше, чем возможность небольшого пожара. А поскольку и то и другое было, очевидно, связано с плиткой, то он сказал, чтобы Шарапова оставили в покое.

А теперь вот уже много лет пил Шарапов растворимый кофе потому, что натуральный кофе пить уже было совсем нельзя — здоровье не позволяло. Так плитка с кофейником, ставшим просто кипятильником, превратилась в маленькую достопримечательность, лишенную содержания традиционную форму, как пирамида, из-под которой уже давно выкрали фараона. Но Шарапов с каменным спокойствием пирамиды хранил от посторонних свою тайну, отшучивался, говоря, что растворимый кофе — его уступка прогрессу, и только я догадывался, как болезненно-нервно он боится за свою былую репутацию «железного» Шарапова, выпивающего за ночь дюжину фужеров кофе — «чтоб спокойно работалось...»

Он дождался, пока в фужере поднялась желто-коричневатая пена, и сказал:

— Ну, здорово...

— Здравствуй, Владимир Иванович. Я третий день тебе собираюсь позвонить.

Шарапов глянул на меня голубыми узкими глазами, усмехнулся:

— Но-о? Третий день?.. Ладно. Допустим. Кофе попьешь?

Я кивнул. Он достал из стола белую эмалированную кружечку и стал насыпать в нее из банки кофе. Окна кабинета выходили на Петровку, к саду «Эрмитаж», и комната была залита ярким утренним солнцем. И оттого, что было очень светло, я вдруг увидел, что Шарапов больше не белобрысый блондин, а седой. Волосы у него были не мочально-белые, а тускло-серебристые. Лицо ватное — припухлое, белое, и я почему-то подумал, что Шарапова, наверное, и в молодости не любили женщины. Интересно знать, как он до женитьбы ухаживал за своей Варварой? Думаю, что никак не ухаживал. В немногие свободные вечера ходил с ней в кино «Колизей», молча приносил свиную тушенку из пайка и, отдавая, говорил своим невыразительным тихим голосом: «Возьми, мне и так много да-

ют...», хотя пайка не хватало даже на житье впроголодь. Потом, наверное, сказал однажды, что ему дали комнату и им надо бы зарегистрироваться. Пошли и записались — тогда ведь не надо было ждать три месяца очереди во Дворец бракосочетаний. Скорее всего именно так все и происходило. А может быть, и нет, кто его знает...

Шарапов, увлеченный приготовлением кофе, метнул в меня быстрый взгляд:

— Я вижу, не порадовал тебя мой видок-то.

Я пожал плечами:

— Ты же с бюллетеня, а не с курорта.

Он сказал задумчиво:

— У человека есть порожек, до которого его спрашивают люди: «Вы почему сегодня так плохо выглядите?» После, как перевалил, вроде радуются: «А сегодня вы замечательно выглядите!» Закон — чего необходимо, а чего — достаточно.

— Тебе сколько лет, Владимир Иванович?

— Пятьдесят два. Это еще немного, — он был почти весел. — В таких случаях еще пишут: «... в расцвете творческих сил...»

Не давая мне сказать, Шарапов продолжил, как будто отвечая моим мыслям:

— Я шучу, конечно. Дело не в годах, не в том, что их осталось мало. Дело в том, что они — которые остались — для меня стали слишком быстрые, короткие слишком...

Он прихлебнул коричневую дымящуюся жидкость и, отвернувшись от меня, стал смотреть в окно. А за ним бушевала весна, которую жизнь, будто сумасшедший режиссер, почему-то решила сделать декорацией к его осени. По-прежнему глядя в окно, он сказал:

— Я во время болезни прочитал записки Филиппа Блайберга. Это тот мужик, которому пересадили сердце...

— И что?

— Меня там одно удивило — я это будто своими глазами увидал: он пишет, что согласился на операцию потому, что знал — его сердце до конца изношено. Вместе со всей этой... сердечной сумкой. Да-а. Вот я тоже попытался представить, как мое сердце выглядит...

Не знаю почему, но помимо своей воли я сразу же увидел сердце Шарапова — большую красно-синюю дряблую мышцу, разъеденную, как коростой, кофе и никотином, изношенную бесчисленными жизненными заботами, радостями, горестями, ужасно тяжелой ношей, — как изнашивают хозяйственную сумку, складывая в нее постоянно и без малейших раздумий грузы и грузики ежедневной жизни. Складывают, носят и выкладывают. Но из сердечной сумки ничего не выкладывают. В нее только складывают и носят. Складывают и носят в себе до тех пор, пока один из сосудов, через которые сейчас еще с шумом, неровными толчками бьет кровь, вдруг не лопнет. Как в сумке авоське неожиданно лопается ниточка-перекладина, и вся поклажа, вся ноша летит на асфальт, в жидкую, растоптанную ногами грязь...

Все это промелькнуло у меня перед глазами, но я ведь недаром имел восемь лет начальником Шарапова. Я был у него способным учеником. Поэтому я и бровью не повел. Дело было серьезное, и играть теперь надо по его правилам.

— Да-а, дела-а, — сказал я, копируя шараповскую манеру. — У нас с тобой, Владимир Иванович, серьезно. Вот один вопрос только имеется: ты бы на пересадку сердца согласился?

Еще мгновение он смотрел в окно, потом повернулся ко мне и засмеялся:

— Ты змей, Стас. Нет, я бы не согласился.

— А почему?

— Не знаю. Я это понимаю, только объяснить мне трудно. Я ведь плохо говорю...

— Мрачных разговоров достаточно! Впрочем, насколько я тебя знаю, ты со мной неспроста завел эти погребальные разговоры. Чего-то ты от меня хочешь.

Он встал, не спеша прошелся по кабинету, будто раздумывая — говорить дальше или не надо. Потом подошел к сейфу, отпер, достал из нижнего ящика с отдельным замком толстую тетрадь в ледериновой серой обложке, сел за стол, аккуратно положил тетрадь перед собой, водрузив на нее свои огромные кулаки.

— Да, — сказал он. — Мне кое-что нужно от тебя.

Вот в этой тетрадке досье по одному давнему делу. Когда будешь постарше — поймешь, что для каждого человека высшая судебная инстанция — суд его совести... Я, Стас, ошибся тогда. И если я... уйду — закончи его вместо меня. Потому что ошибки надо исправлять... А чем ты сейчас занимаешься?

Я рассказал ему про Батона, сказал, что завтра кончается срок задержания, что мы ждем сообщения из Унген. Шарапов хорошо знал Батона, и мой рассказ его развеселил:

— Да-а. Батон — это тебе не роза, которую мечтаешь приколоть на грудь. На прошлом суде его же защитник Окунь так и выразился.

— Работенки он нам подкинул по горло.

— Пора привыкнуть, — сказал Шарапов. — У нас ведь как у дворников: сколько снега выпадет, столько и убирать.

Отправляясь на свидание к незнакомому человеку, я стараюсь обычно угадать заранее его внешность. Иногда это мне удается, и тогда я радуюсь необыкновенно, пытаюсь объяснить удачу наличием в себе парапсихических свойств. Но поскольку никакой системы угадывания вывести мне не удалось, то при каждой следующей ошибке я уныло соглашаюсь с тем, что за меня просто сыграл случай. Это же подтвердила Людмила Михайловна Рознина, которую я представил себе после телефонного разговора серенькой канцелярской мышкой, покрытой пылью времени, которое архивисты консервируют в толстых папках на бесконечных стеллажах и в сейфах.

Людмила Михайловна обещала разобраться с крестом и дать справку, кому он принадлежал. Я приехал в архив около двенадцати и снова убедился, что по части парапсихологии у меня сильные перебои: серая мышка оказалась очень элегантно и смешливо девушкой и, конечно, называть ее Людмилой Михайловной было просто необходимой уступкой служебному этикету — она была просто Люда, Людочка, а еще лучше — Мила.

Она спросила серьезно:

— Товарищ Тихонов, а вы действительно настоящий сыщик?

— А как же! Вот мое удостоверение и запрос к вам насчет ордена.

— Да нет, я не об этом, — сказала она разочарованно.

— А-а! — протянул я. — Понятно. Но я еще не волшебник, я только учусь. Кроме того, могу сообщить, что хоккеист Боря Майоров стрижется всегда у одного и того же парикмахера...

Люда-Людочка-Мила недоуменно пожала плечами:

— Он что, франт?

— Не-ет, ни в коей мере. Просто парикмахер равнодушен к этой мужественной игре, и поэтому он единственный из всех людей, кто не разговаривает с Майоровым о хоккее.

Она усмехнулась и невинно спросила:

— Но Майоров среди хоккеистов самый знаменитый. А вы?

— Среди хоккеистов — пожалуй...

— Нет, среди сыщиков?.. — спокойно добила она мяч в ворота.

— Пожалуй, вряд ли, — ответил я и добавил: — А если подумать, то наверняка не самый...

— А хочется?

— Быть «самым»?

— Ну да. Самым знаменитым сыщиком...

— Хочется, — кивнул я покорно. — Вот вы мне поможете и, может быть, стану. Тогда мое тщеславие будет удовлетворено вдвойне.

— Почему вдвойне?

— Потому что я стану первым живым знаменитым сыщиком. Дело в том, что живых знаменитых сыщиков не бывает. Я вот, например, не слышал.

— Да-а? — недоверчиво протянула Люда-Людочка-Мила.

— Да, — подтвердил я сокрушенно. — Вы слышали про знаменитых убийц: извозчика Комарова и Ионеску по кличке «Мосгаз»?

— Слышала.

— И многие про них слышали. Но ведь редко кому приходит в голову, что они стали знаменитыми после того, как их выследили и поймали совсем не зна-

менитые сыщики. Про Ионесяна вы слышали много, в газетах даже читали, а о том, что его поймал, вместе с другими конечно, совсем неизвестный вам подполковник Шарапов, вы и понятия не имели. Точно?

— Но ведь это, наверное, несправедливо? — сказала девушка с досадой.

— Нет, — я перестал дурачиться и засмеялся. — Все справедливо. Люди должны знать актеров и спортсменов — и это правильно. А если бы сыщика прохожие стали узнавать на улице как кинозвезду — толку от него стало бы как от козла молока. У нас работа такая, что чем меньше людей знает нас в лицо, тем лучше.

— Ладно, не набивайте цену, а то мне становится обидно, потому что вы-то сумели найти себе оправдание, а мне и придумать нечего. Я-то как раз хотела бы, чтобы меня узнавали на улице, но ведь знаменитых архивистов тем более не бывает.

— Ха! — сказал я весело. — Зачем вам слава? Слава — тлен! По-настоящему узнал меру счастья только тот лебедь, который вырос из гадкого утенка.

Она грустно пожала плечами:

— Но ведь бывают гадкие утята без перспективы. Не вырастет прекрасный белый лебедь — вырастет обычная простая утка.

Я тихо засмеялся, потому что у меня стало очень радостно на душе. Она еще просто не понимала, что ее грусть — это томление весны, избыток молодости и сил.

— Вы ехидный человек. И если бы вы не пришли с официальным запросом, я бы не дала вам справку.

— А что... уже? — спросил я с надеждой.

Люда-Людочка-Мила важно кивнула и достала из стола напечатанную на бланке справку.

— Вот это темпы! — восхищенно пробормотал я, жадно впиваясь в текст. Мгновенно прочитал и вновь повторил концовку: «...Его превосходительство генерал-майора кавалерии барона Николая Августовича фон Дитца, командира 307-й Тернопольской дивизии орденом Святого благолепного князя Александра Невского со звездой и мечами 13 октября 1916 года от Р. Х.».

— Значит, Людмила Михайловна, другом Батона был его превосходительство генерал-майор кавалерии барон Дитц?

Она искоса взглянула на меня и сказала:

— Я не знаю, о каком Батоне вы говорите, но этот барон уже много лет ничьим другом быть не может. В 1946 году генерала Дитца, сподвижника атамана Семенова, по приговору Военной коллегии Верховного суда повесили...

— Какого Семенова? — не сообразил я сразу.

Она осуждающе покачала головой:

— Ай-яй-яй! Стыдно не помнить. Атаман Семенов, белогвардейский генерал, в конце гражданской войны отступил в Маньчжурию, где и чинил всякие антисоветские козни, пока его в 1945 году после разгрома Японии не взяли в плен. Потом судили и вместе с четырьмя другими главарями повесили. Вот и все, что я знаю.

— А что есть еще про Дитца?

— Ничего. Я уже посмотрела. Вам надо поинтересоваться в архиве Верховного суда. Я не помогла вам стать самым знаменитым?

Эх, Люда-Людочка-Мила! Я вдруг подумал, что хорошо было бы жениться на ней. Она красивая, веселая и хочет вырасти лебедем. И, может быть, ее бы не так угнетало бремя альтруистской тирании. Но я наверняка опоздал к ней на свидание. На несколько лет. В пять часов она торопливо накинёт свое светлое демисезонное пальто, которое пока еще терпеливо висит в углу на гвоздике, прогремит легкой дробью каблучков по бетонным лестницам, выбежит на Пироговскую улицу, жадно вдохнет студёный вечерний воздух апреля, сядет на пятнадцатый троллейбус и в сутолоке часов «пик» будет мчаться по бульварам к центру, не замечая толкотни и препирательств пассажиров, и через запотевшее стекло будет разглядывать, как сквозь волшебную линзу, людей на тротуарах, раздумывая о далеких белых лебедях и тупых жирных утках, нисколько не заботясь о том, что какой-нибудь парень увидит ее задумчивое, грустно-улыбчивое лицо в желтой рамке окна, и толстобокий гудящий троллейбус сразу превратится в голубую мечту, быстро исчезающую в сторону Пушкинской площади, и этого парня, что кольнула нечаянно в сердце, Людочка и не заметит — мечта цепко держится за поводья электрических проводов и мчится в жестком графике вечернего маршрута. А на конечной остановке Люду-Людочку-Милу будет ждать молодой человек, для которого надо вырасти лебедем, потому

что и он еще твердо уверен, что по-настоящему счастливы только те, кто стал самым знаменитым. Жизнь еще не призвала его проехать по стене, и он не знает, что вряд ли он будет когда-либо счастливее, чем сейчас, когда к нему мчится через весь город Люда-Людочка-Мила, оставляя на одно мгновение несчастным того парня на тротуаре, что увидел ее лицо в желтой рамке мечты, курсирующей от «Детского мира» до Лужников.

Я опоздал на свидание, поэтому ее будет встречать молодой человек, который еще не знает, что самые знаменитые никогда не бывают счастливы. И опоздал я довольно давно, и по-настоящему ждет меня сейчас только один человек на земле — вор Леха Дедушкин по кличке «Батон», которому осталось сидеть под стражей еще несколько часов...

ГЛАВА 10 ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

В середине дня бачковой принес миску баланды и кашу. Полбуханки и три куска сахара нам выдают утром, и привычный ритм тюремной жизни уже захватил меня. Если сидишь без передач и пока без ларька, главное — правильно распределить харчевку в течение дня. Советами врачей, которые рекомендуют плотнее пожрать утром, обед сшамать облегченный, а на ужин выпить стакан кефира и тогда, мол, фигура будет в норме и настроение — люкс, — вот этими советами приходится пренебрегать.

В тюремной диете я разбираюсь получше их и знаю наверняка, что люди, жрущие из бачка баланду, заняты какими угодно заботами, но только не беспокойством о своей фигуре. Баланда тебе сама фигуру обрывает. Тут очень важно — если ты без передачи и без ларька — обеспечить себе ужин. Когда после суда отправляют в колонию, там с едой вопроса нет — кормят вполне достаточно, а вот в КПЗ или в УСИ изволь подумать про свою вечернюю жратву, иначе кишки у тебя повоюют. УСИ — это так интеллигентно называется следственная тюрьма: учреждение следственного изолятора, и питание тамошних обитателей строго рассчита-

но по калориям на расход энергии здорового человека, не занятого физическим трудом.

Может быть, те, кто составлял нам рацион, и правы были в своих раскладках, кабы спустили они их в больницу или какой-то паршивенький пансионат. Там люди тоже не заняты физическим трудом. Но находятся они в холе и покое и не знают, что такое расход нервной энергии, а от него тоже жутко жрать охота. И начинаешь расходовать эту свою нервную энергию прямо с утра при разделе пайки. Полкило черняшки я прикидываю на глазок и разрезаю черенком ложки на три части: две по сто граммов и одна триста. За завтраком я съедаю пшеничную кашу с постным маслом и выпиваю две кружки кипятка с одним куском сахара и маленьким ломтем хлеба. К двум часам я готов съесть порцию жареных куриных потрошков, гурийскую капусту, одно сациви, яичный паштет, сулгуни на вертеле, затем сборную мясную соляночку или борщ по-московски, на второе — колбасу по-извозчицки или карский шашлык, можно цыпленка-табака или шницель по-министерски. Де-воляя тоже подошел бы. Теперь десерт — омлет «сюрприз» или кофе-гласе, а потом чашечку кофе по-турецки с пенкой и хорошую сигарету. Официант, приговорчик! Дежурный отпирает дверь, и бачковой приносит миску с рыбьим супом.

Это особая, ни на что более не похожая уха, и ее особый, ни с чем более не сравнимый вкусовой букет, видимо, связан с тем, что редкостные породы дорогих заграничных рыб — мерлуза, бельдюга, сайда и сквама — варятся на бульоне из трески, притом целиком, вместе с головой, хвостом и плавниками, поэтому, выловив кусок в миске, никогда не знаешь, что это — глаз или икра. Тут же немного картошки и перловки. Все, привет! На второе — вареная картошка или, если подвезло, каша из гречневого продела. На десерт — маленький кусок хлеба с кипятком. В ужин снова каша с каким-то коричневым, неаппетитным на вид соусом. Но у меня еще есть здоровый кусман хлеба — не меньше трехсот граммов и два куса сахара. Устраиваю шикарное чаепитие в Мытищах, то бишь в Бутырках, и заваливаюсь на нары, не менее довольный, чем нахальный мордатый поп с вышеупомянутой картины. И начинаю думать.

Тут бы лучше всего уснуть, закрыть рожу плащом

от тусклого унылого негасимого камерного света и спать. Но в камере тихо, пусто, и я знаю, что через час истекут семьдесят два часа пребывания под стражей в порядке задержания, и, где бы сейчас ни был Тихонов, чем бы ни занимался рыжий мент Савельев, они бешено скребут копытами землю, решая вопрос о мере пресечения для меня. Никаких чудес быть не может — если они разыскали того пижона, то все, сушите сухари, пишите письма, мы ждем их в солнечном Коми.

Эх, беда в том, что во взаимоотношениях между собой люди плохо понимают отведенные им жизнью места и заранее расписанные им роли. Как-то такое несколько лет назад, незадолго до моего выхода с очередной отсидки в колонии, проводили диспут «зеков» «Готов ли ты к жизни на свободе?». Приехали всякие начальники, ученые юристы и психологи. Поскольку моего согласия на участие в диспуте никто не спрашивал и предполагалось, что я еще не решил для себя вопрос — готов ли я к жизни на свободе, меня вместе со всей 18-й бригадой тоже доставили в клуб. Всякие глупости там говорили и ученые, и раскаявшиеся заключенные, подробно поделившиеся с нами своими планами новой, прекрасной и правильной жизни. Я от выступлений воздержался, потому что мои планы немного расходились с планами тех молодцов, которые поняли свою готовность к новой жизни на свободе только после нескольких лет усиленного режима исправительно-трудового воспитания. Но один психолог, молодой еще совсем парень, сильно близорукий, в очень толстых очках, говорил об интересных вещах. Излагал он жутко ученым языком, сильно волновался, сбивался и, чтобы было интереснее, употреблял массу иностранных слов, отчего его вообще никто не слушал. А бубнил он о штуковинах умных и очень важных. Ну смысл у него был приблизительно такой: масса конфликтов происходит между людьми оттого, что они не хотят понять и правильно оценить свою роль в обществе. Такого никогда не может произойти, например, в армии. Там никому и ничего придумывать не надо, да и нельзя. Там каждый человек раз и навсегда знает, что ему делать, кто подчиняется ему и кому он подчиняется сам. И если ефрейтор считает себя Львом Толстым, он все равно должен беспрекословно выполнять приказ младшего сержанта, ну и уж, естественно, шку-

ру спустит с солдата, если тот вздумает ему доказывать, будто у него в черепушке шариков больше.

Вот Тихонов хотел бы довести до меня свою армейскую философию. Он считает, что у нас уже раз и навсегда расписаны роли в этом мерзком представлении под названием жизнь. Он славный, замечательный человек, бескорыстный борец за благо потерпевших, умный и проницательный сыщик. Я подлый, бесстыдный, корыстный паразит, живущий за счет чужого труда, короче говоря, явление безусловно вредное. Поэтому он должен меня ловить, сажать в тюрьму, перевоспитывать, отучать воровать, или, как он говорит, заставлять меня понять, что воровать НЕЛЬЗЯ. И полнейшая армейская красота получилась бы у нас, кабы я тоже согласился взять на себя эту роль.

Но тут вот и вся загвоздка. Дудки! Не получится у нас, гражданин инспектор, этого красивого представления. Не может или не хочет Тихонов понять, что ему борьба против меня нужна для собственного человеческого утверждения. Что он изо всех сил доказывает, какая я мразь, чтобы самому получше высветиться на этом фоне, что он изо всех сил доказывает мне, насколько он сильнее и умнее меня. Ему и невдомек, что его сила — это огромная сила множества человечков под названием потерпевшие, иначе именуемых — люди, народ. Они все очень меня не любят, и каждый из них дал ему против меня совсем чуточек силенок, а все вместе — это много, ух как много, и бороться мне против его силы просто глупо. Поэтому весь спор у нас — кто умнее, ловчее, быстрее. И когда он в уме тягается со мной, то он тоже не прав — наш ум нельзя сравнивать. Вот как нельзя одной меркой мерить тонны и километры. До самой старости он останется очень умным, просто талантливым мальчишкой. А я уже мальчишкой был старым глупым мудрецом. Потому что учили меня уму-разуму отец и дед. Тихонову негде было научиться их мудрости, а если бы было, то, может быть, сидели бы мы сейчас здесь вместе, дожидаясь, пока Савельев вызовет нас обоих на допрос.

И первая заповедь, которой родственнички меня обучили, была формула их собственной жизни: всяк человек дерьмо. Конечно, они не формулировали так своих представлений, но у нас в семейке, о ком бы ни говорили, подвязывали сразу человеку обидную кли-

куху, а сравнения носили исключительно оскорбительный характер: «Эта врачиха просто дрымпа какая-то, точно как наша сумасшедшая тетя Клава», «У этого безусого вора-управдома жена спуталась с придурочным инженером из седьмой квартиры»...

Все люди вокруг были глупыми, некультурными, вродливыми, жадными, мстительными, подлыми — и все эти их скверные качества не просто подвергались домашнему осуждению в нашей семейке: де они вот плохие, и мы, наоборот, хорошие. То, что мы все — наша семейка — хорошие, это и не ставилось под сомнение и в утверждении не нуждалось. Просто другим были свойственны все эти паршивые свойства, и надо очень умело использовать все их гадостные черты, чтобы самому выжить. И оттуда, с тех незапамятных времен моего детства, от дорогой моей семейки идет мой ум, вызревший совсем на других представлениях, чем у Тихонова. И воспитанный десятилетиями образ мышления предписывает мне то отношение к людям, что я получил от отца и деда:

Если человек глуп, его надо обмануть.

Если он некультурен, над ним надо смеяться.

Если он доверчив — его надо обворовать.

Если он мстителен, надо ему первым такую гадость учинить, чтобы ему не до тебя было.

Если он подл, то будь его подлее вдвое, и он захлебнется подлостью.

Уроков пакостной сообразительности я получил в детстве на всю жизнь. Хитро улыбаясь и почесывая длинную родинку на щеке, дед спрашивал меня:

— Вот нанимаешь ты себе сторожа. Какого выберешь?

— Самого сильного, — мгновенно отвечал я. — И самого храброго!

— Дурак ты, братец, — отвечал дед. — Перво-на-перво пригласи закурить всех. И особо взирай на тщедушных с дохлой грудью. Это самые лучшие сторожа. Он от курева всю ночь кашляет, не до сна ему. А сила и храбрость ему без надобности — у него вместо этого бердан имеется. Тут ведь все просто. Вот найми кучера в теплом тулупе — обязательно сам замерзнешь. А брать кучера надо в худом армячишке — он сам для сугрева всю дорогу бежать будет, и ты скоро доедешь.

— Дед, никаких кучеров давно нет, — говорил я глубокомысленно.

— Хе-хе, дурашка, люди-то все на местах остаются, ты смотри местечко свое не проморгай. Или в худом армяке — бёгом, или под волчьей полстью — богом.

Тогда еще я был пионером, и представления о всемирном братстве бедняков вмешивались в мое сознание.

Я спросил:

— А нельзя, чтобы мы оба ехали в санях?

Дед покачал головой:

— Нельзя.

— Почему? Там же ведь обоим места хватит?

— Хватит — это верно. Но как только он угреется рядом с тобой, отдохнет маленечко — на первом ухабе тебя самого из саней — хлопбысь!

— А вдруг не станет он меня выталкивать? Чем ему вместе со мной плохо-то?

— Поживешь — поймешь. Вон по радио говорят, что не от Адама вовсе человек происходит, которого господь бог из праха сотворил. А происходит он от обезьяны. Надо же!

— Это точно, — подтвердил я. — Нам училка обо всем этом говорила.

— Вот и не верь ты ей, брешет она, — сказал дед.

— А кому же — попам верить? — спросил я.

Дед посидел молча, потирая пальцами длинную черную родинку на щеке, пошурил на меня с усмешкой подслеповатые глазки, потом сказал:

— Ты и попам не верь. И училке не верь. И комсомольцам своим задрыванным не верь. Ты мне верь — я все знаю.

— А что ты знаешь?

— А знаю я, что если не от Адама, то и не от обезьяны произошел человек. А пращуром была ему противная, вонючая, всежрущая свинья — зверь без разума, без совести и без памяти.

— Не может быть! — удивился я.

— Может, может, — заверил дед. — Выбери самого лучшего человека и подойди к нему в момент преблагостный, в минуты полной тишины душевной — прислушайся только повнимательней и услышишь в глубине духа его хрюканье алчности и зла...

В этом-то, конечно, дед был прав, хотя в последние годы стал я сомневаться — а не обманул ли он меня в чем-то самом главном, как обманул меня отец с грамотой?

В тот год, когда мне надо было идти в школу, моя семейка забыла об этом. Ну да, дел было полно всяких, и забыли они меня записать в школу, сразу обеспечив мне на следующий год совершенно определенное положение переростка-дылды. И дожидался я первого сентября с таким же нетерпением, как впоследствии ждал амнистии или конца срока. Повел меня в школу отец. Построили нас всех во дворе школы в Сухаревском переулке, и директор, сказав приветственные слова, начал вручать похвальные грамоты; вручали их после каникул, первого сентября, так сказать, за прошлые успехи и в ожидании новых. Ну отличники, значит, выходили перед строем, директор вручал им грамоту, поздравлял, горнист и барабанщик врезали торжественный мотивчик, все мы орали что-то приветственное, в общем, все это было очень красиво. Начали с отличников старших классов, постепенно перебираясь к малышам.

Когда вручили первую грамоту, отец нагнулся ко мне и сказал: «Жди, Алеха, я список видел — тебе тоже дадут!» Я просто обмер от счастья — восемь лет мне было, и меня еще можно было легко обмануть. И тогда я не мог знать, что даже грамоту надо долго и терпеливо заслуживать, и за-ради грамоты мои одноклассники-отличники целый долгий учебный год правильно жили, и часто им было тяжело, и в эту картонку с золотым тиснением вложено много-много скучных часов учебы, тех часов, что я гонял на катке или катался на подножке трамвая «А». Но я этого всего не знал и принялся ждать грамоты. Пригладил слюнями чубчик, отряхнул еще раз брюки, пытаюсь пальцами навести на них несуществующую складку — мать, конечно, не успела их погладить, заметив, что они шевиотовые, а все остальные оборванцы будут в вельветовых. Стопка грамот на столике становилась все меньше, и, когда выдали отличникам из 2-го «Г», директор поздравил всех с наступающим учебным годом, и нас повели по классам, а я стоял один и чувствовал себя несчастным, ну никогда за всю жизнь потом я не чувствовал себя таким несчастным, потому что мне присудили гра-

моту, должны были под горн и барабан вручить перед строем и почему-то раздумали, не стали вручать, и директор не пожал мне перед строем руку. Несчастный и расстроенный, бросился я к отцу, а он хохотал, ужасно довольный своей шуткой. И школа мне опротивела навсегда...

Долго я лежал на нарах, раздумывая и вспоминая, и незаметно задремал, и почти сразу мне приснился дед, как он сидит у подоконника с железными очками на кончике носа и, елозя пальцем по строкам, читает вполголоса и нараспев «Житие протопопы Аввакума». И в моем сне голос его звучал хоть и бубниво, но вполне отчетливо, я разбирал слова, которые столько раз слышал наяву.

«...И нападе на нея бес, учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою коковать.

Аз же зжалился об ней.

Покиня херувимскую петь, взяше от престола крест, и на крылос взошед закричал: «Запрещаю ти именем господня; полно, бес, мучить ея!»

Бес же изыде от нея...»

И грохот бесовского исхода пушечным громом гремел у меня в ушах, я испуганно открыл глаза и увидел «вертухая»:

— Вставай, на допрос вызывают...

Я пришел в себя, долго смотрел на конвоира, пока окончательно понял: нет, так просто не изыдет этот бес, и мукам этим конца не видно.

ГЛАВА 11 УНИЖЕНИЕ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

У дежурного для меня лежало несколько телеграмм. Я даже не очень волновался, читая их, настолько я не сомневался в правильности наших расчетов. И еще, может быть, потому, что все это было бы важно позавчера — сегодня это было лишь доказательством нашего лестничного мышления, той сообразительности, что подсказывает лучшие ответы и решения, когда дверь за тобой уже захлопнута. Телеграммы были отправлены почти в одно время из Конотопа, Кишинева и Унген. Поездные бригады и кассир в Конотопе безогово-

рочно опознали Батона. Проводники шестого мягкого вагона «Дунай-экспресса», два таможенника и пограничник КПП Унгены опознали молодого человека с фотоснимков и сообщили его имя — Фаусто Кастелли.

Фаусто Кастелли, Фаусто Кастелли. Ничего родители имечко подобрали. Что же это ты, Фаусто, не заявил, что Батон спер у тебя чемоданчик? А, Фаусто? Почему же это ты так поскромничал? Не нравятся мне такие тихие ребята... Такой ты богач, что не хотел себе из-за чемодана голову морочить? Это вряд ли. По своей практике я знаю: чем состоятельнее человек, тем бережливее он относится к своему барахлу. Нет, из-за этого молчать ты не стал бы, по крайней мере заявил бы проводнику. А ты, Фаусто, друг мой ситный, ни гугу никому. И в декларацию внес только один чемодан, а про тот, что Батон прихватил с собой в Конотопе — ни слова. И как же этот крест повешенного генерал-майора фон Дитца, белогвардейца и военного преступника, оказался у тебя в чемодане? Ну скажи на милость, зачем тебе орден благолепного князя Александра понадобился?

Билет у Фаусто Кастелли был до Софии. Проводники показывают, что туда он приехал благополучно. В Софию, в Софию... Черт те что! Ничего не понятно. Не хотел привлекать к себе внимание? Почему? Почему же ты, голубчик Фаусто, не хотел привлекать к себе внимание уголовного розыска? Слушай, Фаусто, а может быть, ты шпион? Но шпион не повезет с собой открыто вещи, которые при первом же досмотре обязательно привлекут внимание. Так кто же ты, Фаусто? Жулик? Или просто болезненно застенчивый человек, боящийся нас оскорбить намеком, что в великой социалистической стране еще не перевелись воры? Не знаю, не знаю, что-то я не верю в твою гипертрофированную тактичность. Ладно, займемся тобой вплотную.

Как говорит в таких случаях Савельев, объявляется день повышенной добычи. Я влез на подоконник и растрепал верхнюю фрамугу.

По Петровке гонял синий апрельский ветер, тонко парили лужицы на асфальте, а в саду «Эрмитаж» на газонах еще лежали иссеченные солнцем глыбы грязного черного снега. Рабочие обухами топоров разбива-

ли фанерные колпаки над цветочными вазонами, и этот густой толстый звук — тох! тох! — перекрывал уличный гам и доносился отчетливо сюда. В воде на мостовой купались толстые растрепанные сизари. Весна. И завтра Батон уже сможет насладиться ею в полном объеме на свободе. Я не смог ему доказать, что воровать нельзя, нельзя. Не смог. Какой-то сумасшедший калейдоскоп фактов, не имеющих между собой никакой осязаемой связи: Батон в КПЗ, Фаусто в Софии, генерал фон Дитц на том свете. Всех их объединяет крест. Нет, с этим крестом не все ладно. Я не могу пока еще понять его значение, но какая-то роль ему отведена, и, возможно, далеко не второстепенная...

Надо сосредоточиться, понять, что и куда ведет. Так, во-первых, выяснить все о Кастелли. Второе — прочитать дело Дитца. Третье — с Батоном. А что с Батоном? При всей униженности моего положения Батона придется выпустить. Юридических оснований для дальнейшего содержания его под стражей не имеется.

Почему-то в этот день меня никто никуда не дергал, и даже телефоны не звонили, будто мои бесчисленные абоненты почувствовали, что меня не надо сегодня отвлекать. А я сидел за своим маленьким неудобным столом и писал запросы, план расследования, рисовал оперативную схему и раздумывал о том, что не должна вот так закончиться наша нынешняя встреча с Батоном. Это будет неправильно, ну просто вредно для нас обоих. Уже совсем стемнело, когда позвонил Савельев:

— Так что в Библиотеке Ленина я...

— Что? — удивился я. — Ты как попал туда?

— Значит, подробностями я тебя обременять не стану, сообщу сразу результат: пленочка вся или почти вся отснята в Болгарии.

— Ты сохрани эту лаконичность для всех остальных случаев, а сейчас уж, будь друг, обрмени меня подробностями...

— Хозяин-барин, пожалуйста. В «Экспортфильме» сделали очень неуверенное предположение, что на афише изображен кадр из болгарского кинофильма «Опасный полет». Но, во-первых, утверждать этого категорически они не могли, а во-вторых, болгарский кинофильм мог идти где угодно — хоть в Уругвае.

— Понятно, понятно, дальше...

— Сам же просил подробностей. Тогда я в Союз ар-

хитекторов. Естественно, запрос наш там еще никто и не рассматривал. Ну поторопил я их... Не, не, все очень вежливо. Ласково все им объяснил, со слезой в голосе. Ну отыскиали они мне в два счета какого-то дедка в ермолке, вот он сразу и точно заявил, что все красоты на снимках — фрагменты памятников, установленных в Софии и Плевене. Облобызал я деда на радостях и помчался в библиотеку.

— А в библиотеку-то зачем?

— Я деду-эксперту доверяю, но проверяю. Потому как я еще не академик архитектуры, а просто сыщик. Он ведь и ошибется — научный просчет, а мне шею намылят. Вот и взял я тут вечернюю софийскую газету, чтобы ознакомиться с репертуаром местных кинотеатров...

— А что ты по-болгарски понимаешь?

— Все, — спокойно заявил Сашка. — У них язык точно как у нас, только на старославянский сильно смахивает. У нас — «я», у них — «аз», мы говорим — «был», а они — «бьяше». «Слово о полку Игореве».

— Да, ты у меня крупный исследователь, — согласился я. — Так что с кинофильмом?

— Помнишь, на фото просматривались три буквы названия кинотеатра — «СКВ»? Оказывается, в Софии есть кинотеатр, который называется «МО-СКВА»! И с 28 марта по 3 апреля в нем шел кинофильм «Опасный полет». Возражения имеются?

— Порядок. Можешь возвращаться на базу. Выполнял поручение истово.

Я сел к машинке и отстучал постановление об освобождении Батона из-под стражи и, когда я дошел до слов «... из-под стражи освободить...», настроение у меня совсем испортилось, потому что обозначали они мой полный провал. Потом спрятал бланк в папку и отправился к шефу. Вошел в его кабинет и, как смог твердо, сказал:

— Полагаю, что Дедушкина ни в коем случае отпустить нельзя!

Как расхваставшийся и неожиданно уличенный мальчишка, я надеялся, что еще может произойти какое-то чудо, которое спасет меня от позора, хотя отлично знал — ничего не может сейчас случиться и Батона надо будет выпустить.

Шарапов поднял взгляд от бумаг и как будто взвесил меня — чего я стою, усмехнулся и снова опустил глаза, дочитывая абзац. При этом он пальцем придерживал строку, будто она могла уползти со страницы. Потом подчеркнул что-то карандашом, поставил на поле жирную галку и отложил документ в сторону. Снял очки и положил их на стол. Очки у Шарапова были наимоднейшей формы — с толстыми, элегантно оправленными в металл оглоблями, крупными, отливающими синевой стеклами. Не знаю уж, где достал себе Шарапов такие современные очки, но нельзя было и нарочно придумать более неуместной вещи на его круглом мясистом лице с белыми волосами. Он помолчал немного, потом спокойно сказал:

— Судя по твоему тону, все законные основания для содержания Батона под стражей исчерпаны. Да-а...

Это было его фирменное словечко — да-а. Он говорил его не сжева, вставляя, набиралось в нем обычных «а» штук пять, и в зависимости от интонации оно могло означать массу всякого, от крайнего неодобрения до восхищения. И незаметно мы все — Сашка, я, Дрыга, Карагезов, все ребята из отдела стали говорить «да-а-а-а». Не то что мы подделывались под Шарапова — словечко уж больно хорошее было. А сейчас его «да-а» ничего не выражало, ну вроде он констатировал, что я крупно обмешурился, и все. Я кивнул:

— Да, почти исчерпаны. Но существует еще арест в порядке статьи девяностой — до десяти суток без предъявления обвинения.

Шарапов усмехнулся:

— Да, я слышал об этом где-то. Там аккурат речь шла об исключительных случаях.. Предположим, что мы продержим Батона еще неделю. Какие ты можешь гарантировать результаты? Если они будут на нынешнем уровне, извиняться перед Дедушкиным придется втрое. И все.

— Я, между прочим, не пылесосы выпускаю. И не электробритвы. Ну и никаких гарантий давать заранее не могу... Но... но...

— После такого «но» должно последовать серьезное откровение...

— Этого не обещаю. Но я предлагаю двинуться не вдоль проблемы, а вглубь.

Шарапов поднял белесую бровь. Я разложил на столе оперативную схему и развернутый план расследования.

— Дальнейшая разработка и допросы Батона представляются мне бесперспективными. Сознаться он не станет. Но мне не дает покоя крест. Станный он очень, этот крест. Поэтому я хочу затребовать из архива Верхсуда дело атамана Семенова. Это раз. А затем самое главное: надо связаться с болгарским уголовным розыском — запросить их об этом Фаусто Кастелли. Вчера он приехал в Софию. Если он вполне respectable человек, надо попросить болгарских коллег порасспросить его о чемодане.

Шарапов зачем-то надел очки и посмотрел на меня исподлобья сквозь дымчатые стекла. В это время постучал в дверь Савельев:

— Разрешите присутствовать, товарищ подполковник?

— Присутствуй.

— Давайте еще раз с Батоном поговорим, — предложил я.

— Бесполезно, — с ходу включился в разговор Сашка. — Это же не человек — это кладбище улик.

Но Шарапов уже снял телефонную трубку и коротко приказал:

— Дедушкина ко мне, — положил трубку на рычаг и сказал нам: — Поговорим и, по-видимому, отпустим...

Сашка, который не слышал начала нашего разговора, взвился с дивана, как петарда:

— То есть как это отпустим? В каком смысле?

— В прямом, — спокойно сказал Шарапов. — Тем более что Батон не иголка, фигура всесоюзно известная и в случае чего никуда от нас не денется. — Он быстро взглянул на меня и снова повернулся к Савельеву. — Я думаю, что у Тихонова уже лежит в папке постановление об его освобождении. А, Стас?

— Допустим, что лежит, — сказал я зло.

Сашка посмотрел на меня так, будто я предал его в тяжелую минуту:

— Как же это можно? Он ведь вор... Он же отъявленный ворюга...

— Да, он вор. Но мы не доказали этого, — сказал Шарапов грустно. И я подумал, что, когда он нас хва-

лит, он говорит: вы это хорошо сделали, а когда мы в провале, он говорит: мы этого не смогли сделать.

Сашка обернулся ко мне, будто ища моей поддержки:

— Ну ты-то что молчишь? Для чего же я его поймал? Ведь его нельзя выпускать. Он ведь завтра снова чего-нибудь украдет...

Шарапов положил очки на стол и сказал задумчиво:

— Да, сынок, ты прав. Он представляет собой постоянную общественную опасность. Но содержать в тюрьме человека без достаточных доказательств — еще большая опасность для общества. Ты кое-что, к счастью, не помнишь...

— Но ведь Батон преступник, и смысл, содержание закона на нашей стороне, — почти выкрикнул Сашка. Он был бледен той прозрачной синеватой белизной, что заливают лица рыжих людей в момент сильного волнения.

Шарапов твердо сказал:

— Закон — это тебе не абстрактная картина, и смысл его выражен в форме. Саша, запомни, пожалуйста, что, когда причастные к закону люди начинают толковать его смысл, а соблюдением формы себя не утруждают, закон очень быстро превращается в беззаконие. Незадолго до моей болезни у нас с Тихоновым был разговор на эту тему. Ты как сказал тогда, Стас? А?

Да, я сказал это тогда, а сейчас я проиграл, и надо признать поражение:

— У нас не бывает побед по очкам...

— А дальше?

— За нами признают только чистые победы.

— Вот именно. И, пожалуйста, правила игры под свои возможности не подгоняйте. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы не поняли меня. Судя по вашим стомам, вы оба решили, что раз Кастелли в Софии, а Батона отпустим, то делу будет позволено догнывать на корню. Должен вас разочаровать — я с вас шкуру спущу, если вы его до конца не доведете. И примите как приказ, если нормальных человеческих слов не понимаете...

— Перспектив мало в этом случае, — буркнул Сашка.

— Мало? — сердито посмотрел Шарапов. — Может быть, и мало. Но это твоя вина. Потому что нераскрываемых преступлений не существует. Есть сыщики, которым это не удастся.

Сашка, пожав плечами, изобразил возмущение — мол, давайте уж, валите все сразу.

— И мимические жесты свои мне не показывай, для девушек побереги. Рассказали мне, что ты в подшефной школе беседу провел «Единоборство с воров». Чуть это все!

— То есть как это? — удивился я.

— А так! Нет никакого поединка, поскольку смысл в этих словах — это соревнование один на один. Взять хотя бы, к примеру, твое первое серьезное дело, Савельев. С бандитом Валетиком. Ты как думаешь, взял бы ты его один на один?.. Никогда бы ты его не отработал. И Тихонов бы ничего не сделал. И я то же самое. Он ведь каждого из нас не глупее был. Смог бы ты спуститься по водосточной трубе с одиннадцатого этажа, не знаю. А Валетик спустился...

— И что? — все еще задиристо спросил Сашка.

— Ничего. Валетик-то против тебя действительно один, у него весь расчет как у волка — только на себя. А мы тут против него впятером думали. Но и не это самое главное. Когда ты выходил за Валетиком, у тебя в одном кармане лежал «макаров», а в другом красная книжечка. Там написано, что ты — офицер МУРа. И эта маленькая картоночка давала тебе силу ну просто исключительную! Мандат от всех людей. Ты был их представитель и, может быть, об этом не думал, но уверен был, что, кого ты ни попросишь или поручишь, все будут доброхотно тебе помогать.

— Что, значит, я ничего и не сделал? — обиженно сказал Сашка. Я разделял его обиду, потому что дело-то действительно было проведено блестяще.

— Как не сделал? — удивился Шарапов. — Ты прекрасно поработал. Но успех вовсе не от этого твоего «поединка» взялся и не от храбрости, и тебе и тепе... Добросовестность. Понимаешь? Добросовестность в работе. Ты хорошо думал тогда — тяжело, трудно. Как пахал, как лес рубил, с потом, с кровью, больно думал. Оттого и победил...

— Да вы же себе сами противоречите, Владимир Иванович! — сказал Сашка.

— Нет. Если бы не было тебя, это дело отработал бы Тихонов, или Дрыга, или я. Но никто из нас в одиночку его бы не сделал, разве что случай помог бы. Да какая надежда на случай, ты сам знаешь. Ты вел это дело как вожак упряжку. Но тяжелые сани один вожак с места не стронет...

В дверь постучали, вошел конвойный милиционер:

— Товарищ подполковник, задержанный доставлен.

Батон был очень бледен, спокойно-медлителен, и его огромные черные глаза будто попали случайно на чужое лицо — как в широких прорезях алебастровой маски, они метались тревожно и живо. Батон понимал, что сейчас его или отпустят, или отправят в тюрьму. Он узнал Шарапова и сказал:

— Мое почтение, гражданин начальник. Как говорится в старой пьесе — «друзья встречаются вновь».

— Здравствуй, Дедушкин. Не могу тебе сказать, чтобы я слишком радовался нашей встрече...

— А я, ей-богу, рад. Недоразумение уж, наверное, выяснилось, а с умными людьми пообщаться всегда приятно...

— Точно, — сказал Шарапов. — Тем более что умные люди уже выяснили, у кого ты увел чемоданчик.

— Серьезно? — озабоченно спросил Батон. — Значит, недоразумение все еще длится и теплого душевного разговора не получится.

А глаза у него бились, метались в маске лица. Мне вдруг совсем некстати стало жалко Батона — такой умный, сильный человек посвятил свою жизнь уничтожению себя.

Шарапов негромко сказал:

— Прекрати, Дедушкин, волынку. Мы с тобой сейчас не играем. Чемодан ты украл 13 апреля около девяти часов утра в «Дунай-экспрессе» у итальянского гражданина Фаусто Кастелли.

— Да-да, помнится, какой-то господинчик, ехавший в моем купе, показался мне итальянцем... Правда, багажом его я не интересовался.

Савельев сказал:

— Ты бы нас хоть перед иностранцами не позорил. Стыдно.

Батон усмехнулся и сказал с нотой нравоучения:

— Гражданин Шарапов, у вас служат аморальные люди. Даже если бы вы доказали, что я у этого итальян-

яшки махнул чемодан, то разве с точки зрения нравственности это хуже, чем обворовать нашего советского честного труженика? Он ведь, наверное, буржуй и живет скорее всего, как и я, на нетрудовые доходы. Где-то его даже можно причислить к лику агентов империализма. Простые итальянские трудящиеся не катаются по заграницам люкстуrom, а заняты классовыми боями.

Вот сволочь-то, еще издевается над нами. А Батон продолжал:

— Судя по задушевности нашей беседы, этот самый Фаусто еще не заявил своих гражданских претензий и имущественных прав. Все, что вы мне говорите, обычные предположения, которые вы любите называть версиями. Я бы хотел более серьезных доказательств моей вины. Ведь я тоже не по своей охоте законы выучил.

— Ну а вещички в чемодане? — спросил Шарапов. Он говорил спокойно, с каким-то ленивым интересом, будто все происходящее здесь его совсем мало волновало.

— Вещички? — пожал плечами Батон. — Их нельзя считать доказательствами.

— Это почему же? — любопытствовал Шарапов.

— Потому что я могу выбрать для себя две линии защиты. Первая: заявляю вам категорически, что чемодан купил целиком у какого-то неизвестного мне гражданина — все, точка. Вторая: открываем широкую дискуссию по презумпции невиновности — я-то ведь не должен вам доказывать, что я не виноват, это вы должны доказать мою виновность. Поэтому речь может идти только об оценке доказательств, а это всегда штука субъективная. Например, старый пожарник, прослуживший всю жизнь в консерватории, на вопрос, чем отличается виолончель от скрипки, объяснил, что виолончель дольше горит. Понятно?

— Понятно, — кивнул Шарапов. — Ну что ж, ты меня окончательно убедил: парень ты серьезный. Поэтому посадим мы тебя обязательно...

— Нынешний эпизод не годится, — покачал головой Батон. — Товар калина — дерьма в нем половина.

— Ладно, посмотрим, — так же легко, без всякой угрозы сказал Шарапов. — Ты бы, Дедушкин, рассказал мне лучше чего-нибудь еще про итальянца. Нет настроения?

Батон не спеша осмотрел нас всех, задумался на мгновение, потом сказал:

— Сдается мне, этот Фаусто интересуется вас больше, чем я? А, гражданин начальник?

Шарапов кивнул:

— Допустим. Так что?

Батон думал, мы его не торопили. Потом сказал:

— Что — «что?» Ничего!

— Не будем говорить?

— Конечно, не будем. Вы думали: «Советская «малина» врагу сказала — «нет!»? Ничего подобного...

— Почему?

— Слушайте, Шарапов, вы же умный человек. Неужели вы не понимаете, что такой враг, как этот Фаусто, мне-то гораздо ближе, чем такой земляк, как вы? Его я, допустим, не знаю и знать не хочу. А вас я знаю так же хорошо, как то, что вы хотите меня посадить в тюрьму. Надо мной не тяготеет моральное бремя патриотизма, поэтому помогать вам ловить кого-то я не стану. И вы в этом тоже виноваты.

— Почему? — по-прежнему невозмутимо задавал вопросы Шарапов.

Батон посмотрел на него прищурясь, будто решал — говорить или не надо. Потом решил:

— Тихонов считает, что мы с ним уже старинные знакомые. Не знаю, говорили ли вы ему, что мы с вами познакомились, когда он в кармане еще не пистолет, а рогатку таскал. И я вас хорошо изучил за эти годы. Вы в общечитии совсем маленький, заурядный человек. Вами даже жена дома наверняка командует. Таких людей идет ровно двенадцать на дюжину — ни пороков, ни достоинств. И так каждый день, круглый год — минус время на сон. Но те десять-двенадцать часов, которые вы проводите в этом кресле — вы же наверняка перерабатываете, — делают вас фигурой, личностью, значительным и сильным человеком. Ответственность за людей, власть над ними, постоянный риск, азарт игры и поиска делают вашу мысль острой, а жизнь интересной. Поэтому вы не просто любите свою работу, а вы живете ею, у вас ничего нет, кроме нее, и как бессмысленно человеку обманывать самого себя, так вы никогда не пойдете на сделку со своей профессиональной честностью. Она ведь превратилась в основу вашего существования. Это оплот вашей веры,

и вы лучше получите строгача или служебное несоответствие, чем предложите мне: «Давай, Дедушкин, помоги нам разобраться с италяшкой, а мы уж дело с чемоданом замнем». Я вас за это не осуждаю, но, честно говоря, сильно не люблю. И думаю, что этот разговор в присутствии ваших мальчиков вы мне никогда не забудете...

Шарапов долго молчал, покручивая в руках очки, потом надел их на нос и еще раз внимательно осмотрел Батона.

— А я полагаю, что мои мальчики думают так же, как я. И надеюсь, что тоже меня не осуждают. Ну а разговор у нас был хороший. Я ведь в жизни опасуюсь только неизвестного. А с тобой просто — ты нам очень даже понятен...

— Грозитесь? — усмехнулся Батон.

— Нет, — сказал Шарапов. — Я когда слушал тебя, мне стало немного страшно. Ты очень опасный человек. Я и сам не больно чувствительный, но тебе прямо удивляюсь — отсутствуют у тебя человеческие чувства. Живи ты тридцать лет назад в Германии, вышел бы из тебя натуральный эсэсовец...

— А что бы делали вы?

— Не знаю. Наверное, старался бы не попасть к тебе.

— Вот видите — от перемены мест слагаемых...

— У нас с тобой, Дедушкин, не сложение. Мы, понимаешь, просто исключаем друг друга... Да-а-а... В общем, разговор закончен.

Да, разговор был закончен совсем. Я достал из папки бланк и сказал:

— Гражданин Дедушкин, мы считаем дальнейшее содержание вас под стражей нецелесообразным...

— Незаконным! — перебил он меня.

— ...нецелесообразным, — продолжал я, — в связи с чем вы освобождены из-под стражи. Распишитесь вот здесь на постановлении...

Дедушкин встал, не спеша подошел к столу, достал из стакана на столе у Шарапова ручку, аккуратно обмакнул ее в чернильницу, внимательно осмотрел кончик пера, взял в руки бланк, прочитал.

— Здесь расписаться?

— Здесь, — сказал я негромко, и ярость, тяжелая,

черная, как кипящий вар, переполняла меня, и ужасно хотелось дать ему в морду.

Батон быстро наклонился к листу бумаги, будто клюнул его, поставил короткую корявую закорючку. Но и в этот короткий миг я разглядел, как сильно тряслись у него руки. И промокать пресс-папье его подпись я не стал, потому что он бы увидел, как трясутся руки и у меня. Просто я взял листок бумаги и небрежным таким движением помахал им в воздухе — вроде бы закончил неприятную процедуру, и слава богу. Я положил бланк в папочку и сказал:

— За задержание приношу свои официальные извинения. — И сказал я это как-то весело, со смешком, будто в подкидного дурака проиграл и наплевать мне и на проигрыш, и на Батона, и на извинения все эти пустяковые. И почувствовал, что, если скажу еще одно слово, из глаз могут покатиться дурные, злые слезы досады и отчаяния.

А Батон засмеялся и сказал:

— Да ну, ерунда какая! Бог простит, — и не удержался, добавил: — Я же ведь говорил вам, Тихонов, что извиняться еще придется. А вы посмеивались. Правда, должен признать, что вы уже совсем не тот щенок, которого я знал.

Он сделал паузу, посмотрел на меня с насмешкой и врубил:

— ...Совсем не тот. Другой, другой... Кстати говоря, а как с вещами?

Не знаю почему, но этим ударом он как-то снял с меня напряжение, будто из шока вывел. Плюнул я на все эти игры со спокойствием и «позиционной борьбой» и сказал попросту:

— Рано радуешься! Дело-то продолжается. Я ведь тебе извинения официальные принес как должностное лицо. А я сам — Тихонов — перед тобой не извиняюсь, потому что ты вор и к тому же не самый толковый. Поэтому в присутствии своих товарищей клятву даю — я тебе докажу, что воровать нельззя. И если я этого не сделаю, то я лучше из МУРа уйду. Но я тебе докажу, что из МУРа мне уходить еще рано.

— Красиво звучит. Прямо клятва Гиппократы. Так что с вещами? С чемоданом моим что?

— Вот с чемодана и начнем. Чемодан не твой —

он ворованный и как вещественное доказательство будет приобщен к делу до конца следствия. Уведомление об этом тебе вручу в собственные руки. Гражданин Дедушкин, вы свободны. Можете идти...

Батон дошел до дверей, и шаг у него был какой-то неуверенный, заплетающийся, как у пьяного. Может быть, потому, что в ботинках не было шнурков, не знаю. Но он все-таки обернулся и сказал с кривой ухмылкой:

— Прощайте...

Мы с Шараповым промолчали, а Сашка крикнул вслед:

— До свидания! До скорого!

ГЛАВА 12 ЧАС СВОБОДЫ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

На свободе было полно воздуха, свежего, прохладного воздуха. Один шаг за дверь, и позади смрад портянок, кислый запах баланды и капусты, пота, карболки и еще какой-то дряни. Тюремный запах — это дыхание страха. И всякий раз, выходя на волю, я удивлялся: как это люди не замечают того сладкого воздуха, которым пахнет свобода.

Я дошел до Страстного бульвара и остановился, раздумывая, куда мне податься. Кровь молотила в висках, я задыхался от нестерпимого желания заорать на всю улицу: «Вот она, свобода!» И от пережитого напряжения всего меня сотрясала внутренняя дрожь, будто я ужасно замерз, будто забыли меня на много дней в холодильнике, и я совсем ооченел, до самого сердца, и теперь только руки-ноги оттаяли, а внутри лед, и тряслись внутри меня все поджилки от уходящего испуга, но испуг был глубоко — в самом замерзшем сердце, и не мог его вытянуть сразу даже этот апрельский вечер теплый, и не мог его выдуть свежий воздух, горько-сладкий, настоящий на тополиных почках.

Конечно, в моем положении сейчас бы самый раз броситься в объятия семьи, усесться за праздничный стол, шарахнуть бутылочку коньяка и успокоенным и довольным залечь на боковую. Да вот незадача — семьи нет, и дома нет, и некому праздничный стол на-

крывать. И где лягу сегодня на боковую — тоже неясно.

На углу Петровки я зашел в маленькое кафе. Народу было довольно много, наверное, такие же бездомные бродяги, как я, иначе чего им жрать здесь сосиски с трупного цвета кофием, коли у них есть семья и дом. А скорее всего никакие они не бездомные; есть у них и дом и семья, а толкутся они здесь не потому, что вышли из тюрьмы, а заскочили перехватить между работой и театром или между учебой и свиданием, или просто у них здесь свидание. Они ведь все живут правильно.

Заказал я себе фужер коньяка и бутылку минеральной воды, а закуски брать не стал. Закуска у меня была с собой — большая часть хлебной пайки и два куса сахара. Отпуская меня на волю вертухай очень удивился, когда увидел, что я кладу пайку в карман. «Зачем? — спросил он. — Ведь на волю же идешь». — «Не твоего ума дело. Это мой трудовой хлеб, хочу — оставляю, хочу — беру с собой». — «Трудовой! — передразнил милиционер. — В камере заработал? Не стоишь ты хлеба, который ешь». Неохота мне с ним разговаривать было, взял я свой хлеб и пошел.

А теперь положил пайку на тарелку и заедал коньяк маленькими кусочками. Не знает дурак вертухай, что у коньяка «Двин», когда тюремным хлебушком закусываешь, вкус другой. Вообще мало людей знает, что хлеб тюремный любую горечь отбивает. На заказ такой хлеб не получишь, но коли доведется, то, какие бы неприятности тебя ни волновали, попробуешь его разок, и покажутся тебе все невзгоды на воле милыми, дорогими сердцу пустячками. И не заботило меня сейчас то, что дома нет и не ждет меня никто за праздничным столом. А просто сидел я в шумной забегаловке совсем один, хлебал и думал. Подумать было о чем.

С каждым глотком внутри что-то оттаивало, прогревалось, коньяк веселыми живыми мурашками бежал по жилам, приятно жгло в желудке, и постепенно стихала эта ужасная отвратительная дрожь в сердце. Но приятный хмельной дурман не притекал к голове, не глушил память страха, и мозг стучал размеренно и сухо, как кассовый аппарат.

Жевал я не спеша свой хлеб, и с каждым следующим куском росла во мне твердая уверенность — в ру-

ки больше не даваться. И съеденный хлебушек мой тюремный был вроде клятвы. Я ведь не Тихонов — мне-то перед товарищами клясться не надо, да и нет их у меня — товарищей. На тюремном хлебе на своем я поклялся — не научит щенок волка, не переучит Тихонов вора в законе Алеху Дедушкина. И в решении моем не было торжества или радости, а было лишь мое упрямство, на расчет поставленное, и горечь безвыходности.

Может быть, и есть воры, которые «завязывают» по совести — решили, что нехорошо воровать, всякие им там Тихоновы, Шараповы и Савельевы это разобъясняли. Поняли они, как нехорошо и стыдно воровать, и занялись почетной созидательной работой. Но я таких совсем мало знаю. И не верю им — если человек способен понять такое, он и до всяких объяснений воровать не стал бы. Но спорить на этот счет не стану — у каждого свое соображение. Что касается меня, то я уверен, что вор завязывает, когда больше ему хода нет, когда воровать нет больше резона. Причин этому может быть сто: или вор он неудачливый — горит все время, или бездомничать надоело — жениться захотел, промысел себе находит доходней воровства, в общем, и не перечислишь всего.

Вот и решил я — завязывать мне еще рано, но и продумать все надо так, чтобы больше им в лапы не попадать. Нет мне смысла «завязывать». Ну чем я, спрашивается, буду заниматься как честный советский гражданин? Я ведь почти до четвертого десятка дока-тил, так и не получив никакой специальности. Ничего, совсем ничего не умею делать, кроме как ловко воровать, да не в чести у них эта специальность. Да и нигде она не в чести, и в Америке, наверное, несмотря на разгул реакции, меня бы тоже не послали во Флориду отдыхать. Но там хоть, если подфартит хорошую пенку снять, живи себе спокойно, никто тебя не трогает. А тут вон как Тихонов за чужое добро надрывается. Народом уполномочен! Вот чушь ведь, прямо власть потерпевших какая-то!

Интересно, послали они за мной «хвоста» или нет? Ну да это безразлично — от «хвоста»-то мы убедем. Но что потом делать? Допустим, найдут они этого набриолиненного итальяшку. Тогда плохо. Тихонов решит, что можно меня дальше уму-разуму учить, и узнает на

другой день, что от меня ему на память только подписка о невыезде осталась. Он тогда совсем озверевает. Надо подумать, как пустить его по привычному для него руслу размышлений. Если я скрылся, где меня всего логичнее искать? Где-нибудь на необозримых просторах нашей Родины, далеко от Москвы, подальше от МУРа, от бдительного ока домовой общественности. Что бы я на его месте сделал в первую очередь? Запросил по сводке материалы обо всех кражах в поездах и на вокзалах. Верно? Безусловно. Затем отобрал бы похожие по почерку и географической близости и так далее. Это надолго.

Значит, не надо Тихонову помогать. И уезжать из Москвы не надо. Большой это город, в нем человека найти трудно, особенно если вести себя правильно. Но на вокзалы мне вход закрыт железно. А также в аэропорты, автобусные станции и вообще во все места, где люди с чемоданами ходят. Вот и по этой причине тоже надо менять «окраску» — с «майданными» делами покончено. Значит, надо придумать себе занятие. И что-нибудь неожиданное — пусть подольше они ищут по старому следу. С Тихоновым глупо у меня получилось — он ведь теперь не отвяжется. Он из кожи вон попрет, доказывая мне, что воровать НЕЛЬЗЯ. А я допустить этого не могу, иначе, если он меня возьмет, уж из поля зрения не выпустит, и, хошь не хошь, придется «завязывать». А я за это время вряд ли выучусь на академика, чтобы жизнь у меня была и правильная и приятная.

Что же делать теперь? Если они послали за мной «хвоста», надо идти домой, а коли у человека дома нет, то домом его считается жилплощадь, на которой он прописан. А прописан я на жилплощади остатков дорогой моей семейки — в коммунальной квартире дома номер 13 по Печатникову переулку. И живут там до сих пор мой дед, которому уже далеко за восемьдесят, папуля мой дорогой и его сожительница рыжая кассирша с лошадиными вставными зубами и веселой фамилией Магилло. Мать умерла лет десять назад и, в общем-то, для всех и для нее самой это было к лучшему. Последние годы она со мной принципиально не разговаривала, произнося лишь время от времени, как это делается в старых пьесах, в сторону: «Лучше бы он попал под поезд во младенчестве». Иногда поступали варианты этого доброго пожелания: «Бывает же

счастье родителям — у Шитиковых ребенок в Алушке семи лет утонул». Я не обращал на нее внимания, потому что считал ее совершенно чокнутой. Когда меня судили первый раз, мать, опасаясь, что в приговор включают конфискацию, написала в газету письмо — почему-то в «Комсомольскую правду». В безграмотных и высокопарных выражениях она отрекалась от меня. Глупость какая! Письмо, конечно, не напечатали и переслали в суд, но совершенно неожиданно оно здорово помогло мне. Вся эта идея — с конфискацией и письмом — наверняка принадлежала деду. Он же и объяснил наверняка, что это письмо освобождает их от расходов на адвоката.

В суде мне дали адвоката по назначению, это бесплатно, значит. Молодой парень совсем, только после института, опыта у него как у осы меда, но с письмом он нашел линию защиты. Дело в том, что даже прокурор от письмишка этого закачался. Довольно злобно он заявил матери, которую приводом доставили в суд, что безусловно правильно было бы лишить их родительских прав за отказ от несовершеннолетнего ребенка. Ну а адвокат, Окунь его фамилия была, попер как танк: вот-де классический пример возникновения правонарушений среди подростков в неблагоприятных семьях. Он тут вспомнил и дедовы мельницы, и непролетарскую идеологию, и мелкобуржуазную сущность моего замечательного папаши, и отсутствие надзора за ребенком, и влияние улицы, и недостаток заботы со стороны школы. В общем, года два, а то и все три Окунь мне своей пламенной защитой скостил тогда. После этого он меня еще раза четыре защищал, пока сам не сгорел. Ну да не о нем речь.

Короче говоря, вернулся я как-то из колонии и застал хозяйкой в доме уже эту самую Магилло. Она протянула мне пухлую руку с короткими, будто обкусанными, ногтями и всю в крупных пестрых веснушках, а глазки завела кокетливо под белые ресницы и показала мне коробку таких вставных зубов, будто в свободное время грызла камни.

— Магилло, — сказала она басом. — Я уверена, что мы станем друзьями.

Ей, видимо, была по вкусу добрая пьеска «Ласковая мачеха и беспутный пасынок». Я сел на стул, закинул ноги на кровать и сказал отцу:

— Ну-ка развяжи шнурки, ноги затекли чего-то, — а ей дружески улыбнулся. — Послушайте, мадам Могила, у вас зубы-то вставные вроде?

Она ошарашенно кивнула, но все-таки поправила:

— Магилло, а не Могила...

— Не влияет. Вот и возник у меня вопрос: чего бы вам было не сделать себе зубы поменьше, когда челюсть новую заказывали? А то тяжело ведь носить, наверное?

Отец вынырнул из-за ее спины, зябко умывая ладошки:

— Эт-то, Леха, эт-то, значит, ты не думай, чего там... У нее своя жилплощадь есть. Но мы не живем там, боимся, дед умрет, комнату заберут. Для тебя комнату берегу-то... Может, остепенишься, жить где будет...

— Подавись своей комнатой. Только на глазах у меня не мелькай...

Дед сидел у подоконника, ко всему равнодушный, бесцветный, серый какой-то, и только длинная волосатая родинка на щеке — «мышка» — выделяла его на блеклом фоне стены...

Вот туда мне и надо было сейчас вернуться, к зубастой Магилле, папашке своему скользенькому и впадшему в идиотизм деду.

Доел я свою пайку, встал и пошел не спеша по Петровскому бульвару к Трубной площади, а оттуда вверх, по кривому, горбтому, очень старому Печатникову переулку. К себе домой. Когда-то я ходил по этому переулку в школу. Теперь вот возвращаюсь из школы. Я шел по светлой стороне улицы. Шел медленно, не оглядываясь, лениво покуривая сигарету. Если за мной идет «хвост», он должен хорошо разглядеть, как я пришел домой.

Вся моя семья была в сборе, все мои дорогие родственники были на месте. Дед с отрешенным лицом смотрел по телевизору передачу «Энергетический кризис в странах капитала». Отец с Магиллой играли в лото. Около них лежала кучка медяков. Отец, видимо, проигрывал, и лицо у него было сердитое и алчное. Когда я открыл дверь, Магилла потрясла мешок и, вынув оттуда очередной бочонок, сказала, щелкнув своим экскаваторным ковшом:

— Семь — «кочерга», девяносто — «дед», линия, у меня «квартира», я кончила!

Отец так окрысился, что даже мой приход не произвел на него впечатления. А ведь он теперь любит, когда я прихожу, потому что мой приход означает даровую выпивку, даровую хорошую закуску и возможность выцыганить червонец-другой наличными. Но он всю жизнь был таким, таким и остался — горечь и злоба от потерянного пятака для него всегда заслоняли радость найденной сотни.

— Здорово, — буркнул он. — Снова с «мусорами» завязался? Приходили тут о тебе спрашивать. Рыжий такой нахальный мент.

— Ну а ты что ему?

— На всякий случай сказал, что ты дома был. В твоём рукоделии когда дома сидишь, это всегда вернее.

— Ну и дурак. Неправильно сказал.

— В другой раз сам с ними разговаривай, — обиделся отец и сразу начал канючить: — Другим родителям на старости лет от детей радость, покой и поддержка. А тут волнения одни и благодарность — хрясть по роже! А копейку помощи отцу немощному и деду умом убогому от заработков твоих миллионских — это хрен в сумку! Мачеха сколько слез о тебе пролила — ты бы ей платок хоть подарил...

Он долго так причитал побирушечьим заунывным голосом, а дед слепо смотрел в телевизор. Магилла, довольная выигрышем, добродушно ухмылялась, разевая свое непомерное хлебало. Она, кстати говоря, была неплохая баба, уж во всяком случае лучше их обоих — и деда, и отца. Я сказал ей:

— Слушай, Могила, укуси его, может, он тогда заткнется...

То ли отец испугался, что она послушается меня и укусит его своими бивнями, то ли скулить ему надоело, но он умолк. Магилло спросила:

— Ужинать будешь?

— Нет. Что слышно?

— А ничего не слышно! — вновь оживился отец. — Дед совсем сблындил. Вчерась откопал из какой-то своей заначки три пятачки...

— Чего-о?

— Царские пятачки — ассигнации с портретом

Петра, нам ничего не сказал, пошел в сберкасса и требовал, чтобы ему их там разменяли на десятки. Ему говорят, что денег таких пятьдесят лет в употреблении нет, а он скандалит, требует, чтобы ему тогда дали «капельками» — сотенными.

Я засмеялся:

— Эх вы, ящеры ископаемые! Вы тут как на забытой планете живете.

Дед повернулся от телевизора и, не узнавая меня, сказал дрожащим треснутым голосом:

— Да-да! Голодранцы! Пятьсот рублей, «петенька» — это состояние. Это приданое хорошее для приличной невесты. И в какую, бывало, лавку ни зайдешь, тебе ее тут же разменяют. А сейчас хочешь разменять паршивую десятку — так ее нет у тебя.

Я засмеялся и подумал, что ничего дед не сблындил, он только прикидывается придурком, он себе такую нору-убежище придумал из этой полоумности, сидит там в тепле и тишине и наблюдает со своей пакостной ухмылочкой, как мы тут все кувыркаемся. Я сказал ему:

— Смотри, дед, попадешь в институт Сербского, тебя там живо расколют.

Дед махнул рукой и отвернулся к телевизору. Я спросил у отца:

— Денег в долг дашь?

Он взмахнул испуганно руками и замахал ими судорожно, будто собирался взлететь, да на ногу я ему наступил.

— Ты чего так всполошился? Я ведь не взрывчатку у тебя прошу.

— Леха, сынок, да откуда взять-то их? Сам знаешь, на пенсию мою ничтожную да на зарплату ее и тянем. Концы с концами еле сводим!

Сынок! Вот видишь — сынок! Значит, у него деньги наверняка есть. То есть не то чтобы вообще — это-то я наверняка знаю, что у него денег понапрячено по всей Москве — он ведь по всяким туфтовым артелям инвалидным не один год ошивался. А вопрос в том, есть ли сейчас деньги в доме.

— Слушай, я же у тебя деньги не на память беру, а в долг. Понимаешь, в до-олг! А раз в долг, я тебе со всей суммы процент уплачу.

— А какой процент? — не удержался он.

— Обычный, «марвихерский» — одну пятую.

— Это значит, возьмешь десятку, а вернешь двенадцать? — На лице его было написано мучение — очень ему с меня дармачка получить хотелось, а деньги мне доверять было боязно. Сейчас он судорожно прикидывал, какой суммой можно было рискнуть. — А сколько тебе надо?

— Две тысячи.

Он смежил глаза — не то прикидывал, не то задремал, а когда через секунду проснулся, то все лицо его было в добрых веселых морщинках.

— Да что ты, Ленчик, мы про такие деньги и слыхом не слыхали. Я-то думал, тебе рубликов сорок надо, так я бы среди соседей сейчас побегал, насобирав бы, выручил тебя в минуту трудную. А ты вон про какие деньги говоришь — мы же не лауреаты там какие-то, не академики, не киношники. Нам бы главное: от получки — к пенсии, от пенсии — к получке.

И все его лицо лучилось добрыми отеческими морщинками, они исполосовали лицо во всех направлениях, и мне казалось, когда я глядел на него, будто кто-то рывком содрал всю кожу с этой хари, долго мял ее и тискал в кулаке, а потом налепил обратно кое-как, да снова натянуть ее и позабыл. А сам-то он не умеет, а попросить кого — вдруг тот денег требует; вот он из экономии и ходит с мятой рожей. Тьфу, зараза!

Посидел я молча, посмотрел на него, и чем дольше смотрел я на него, тем сильнее начинал он ерзать, и, кабы помолчал я еще немножко, он бы обязательно стал косяка бросать в тот угол, где у него монеты заныканы. Но чего-то расхотелось мне из него деньжата вынимать, уж очень он мне противный был.

— Убить бы тебя хорошо, — сказал я. И не спеша стал собираться.

На выходе я им сказал:

— Запомните накрепко, это для вашей же собственной пользы будет: если придут меня спрашивать, кто бы ни пришел, говорите всем одно: уехал Дедушкин в Сибирь, в город Абакан. Завербовался и уехал. Там, мол, дефицит в таких специалистах...

В кафе «Националь» был праздник. Для меня там, во всяком случае, всегда праздник, когда в кармане звякает монета. Там светло, беззаботно и весело, и я

никак не мог поверить, будто еще несколько часов назад я валялся на нарах КПЗ, снились мне кошмары про моего безумного деда, изгоняющего бесов, и делил пайку на три части, оставляя на ужин два куска сахара. Сейчас за десять минут мне могут наворотить на стол столько, что и взвод конвойных солдат не умял бы. Что ни говори, а в жизни фатового человека все меняется, как на войне.

В дверях меня встретила официантка Надька и приветственно помахала рукой, указывая глазами на свой столик в глубине зала. Официантки в этом кафе меня знают и любят, я в их глазах фигура интересная и загадочная. Дело в том, что несколько лет назад мне довелось махнуть один чемодан, в котором я нашел медаль лауреата Госпремии. Я для этой медали специально купил у фарцовщика Фимы темно-синий териленовый костюм — медаль смотрелась на лацкане изумительно. И время от времени я надевал ее.

Должен сказать, что медаль эта не раз наводила меня на размышления о глупости рода человеческого. Я хорошо запомнил того профессора кислых щей, у которого я увел ее. Совсем ничтожный человечиска — будто какие-то колдуны из сказки поймали его в детстве и затормозили во всех отношениях, кроме той алхимии, в которой он стал наипервейший мудрец. Из себя урод, но сколько ему от всех внимания, сколько почету! А ведь во всех сферах, кроме его алхимии, я человек-то много больше его. И, несмотря на мои десять классов, я книг и журналов читал больше его, а школу получил такую, что он в своих аспирантурах и слухом не слышал. Но у него медаль, а у меня пять судимостей, награды не одинаковые, вот я и ходил в «Националь» с его побрякушкой. А когда я добавлял к ней свои чаевые, так для официанток я был главнее Ньютона.

В общем, уселся я за столик с белой крахмальной хрустящей скатертью, рюмочки хрустальные позванивают, мельхиор приборов тускло светится и меню на трех языках предлагает всякие чудеса обжорки и выпивки. И сорок шесть рублей в кармане у меня пока шуршат. Джаз играет задушевные мелодии. А настроение у меня все равно дрянь. Такое настроение, будто это прощальный обед, я как будто предчувствовал, что мне не

скоро здесь снова пировать. Если вообще доведется попасть сюда когда-нибудь.

Да, сорок шесть рублей у меня было. Не бог весть какой капитал, но на приличный ужин хватит. А беречь их на черный день глупо — не деньги это никакие. Инженерская получка под расчет. На них не наживешься. Деньги на жизнь добывать надо будет. А на черный день мне беречь не приходится — когда он приходит, меня берут полностью на иждивение государства. Министерство внутренних дел о моем черном дне заботится.

Надька-официантка принесла закуски — двойную порцию зернистой икры, семгу, ростбиф, спинку нельмы, лепесточки масла, свежие помидоры и огурцы. Нагретый хлеб был покрыт салфеткой. Она расставила все это на столе, в большую прозрачную рюмку налила водку и сказала:

— Приятного аппетита!

— Спасибо. Слушай, Надежда, ты не хочешь за меня замуж?

Она удивленно посмотрела на меня и засмеялась:

— У вас уже, наверное, есть две жены и трое ребят.

— Будешь третьей. Ты ведь не маленькая, наверное, смекаешь, что лучше быть третьей женой лауреата, чем первой женой шофера.

Надька пожала плечами:

— Кому как.

— А у тебя есть кто-нибудь?

Она будто раздумывала мгновение — стоит ли со мной говорить об этом, потом тряхнула головой и с улыбкой сказала:

— Есть. С хорошим парнем я встречаюсь.

— Лучше меня?

— Ну как сказать вам... — Она засмеялась, потом нашла самое для нее понятное объяснение: — Он ведь молодой.

— А кем он служит, твой молодой?

— Он тоже официант, в ресторане «Украина». Мы вместе в торговом училище занимались...

— Что же это за профессия у мужика — салфеткой шаркать по столу и с подносом бегать?

Она озадаченно посмотрела на меня, и мне захотелось наступить на нее каблуком за то, что ее, холуй

сопливый для нее в сто раз лучше меня, потому что они оба молодые, а я вроде бы уже старый.

— А чем же плохая профессия — людей кормить? — спросила она.

— Хорошая профессия, — сказал я. — А у вас дети тоже будут официанты? В газетах о вас напишут — потомственные официанты, целая династия официантов.

Надька пристально посмотрела мне в глаза, я видел, как она закусила губу, и на душе у меня стало легче.

— Посмотрим, кем дети станут. Может быть, официантами, а может быть, лауреатами. Может быть, не хуже вас будут.

— Ну не хуже меня — это трудно, — засмеялся я. — Почти невозможно. На это надо всю жизнь положить, чтобы достичь того, что я достиг.

Она меня уже остро ненавидела, я видел это по тому, как она опустила ресницы, чтобы не смотреть мне больше в глаза. Но мне уже было наплевать на дружбу нашу и на ее отношение ко мне — я ведь справлял прощальный бал, и бог весть когда мне придется снова сесть к ней за стол. И сказал я ей:

— Все-таки ты подумай насчет замужества со мной. Выкатимся мы с тобой из загса, и поедем в ресторан «Украина», и сядем за стол к твоему бывшему жениху, и он нас с тобой будет обслуживать весь вечер как миленький, и тогда ты сразу оценишь и поймешь, чьей женой быть лучше.

Она, не поднимая глаз, кивнула и сказала:

— За мой второй стол сейчас иностранная делегация ужинать придет, так что вас дообслужит Рая, вон та блондиночка. Она и по счету получит...

— А чаевые кому? Ей или тебе?

Она подняла наконец глаза, узкие они стали, злые, и сказала с придыханием:

— Вы себе на них белые тапочки закажите!

Крутанулась на каблуках и ушла. А я стал ужинать. И оттого что я с ней рассчитался за свою «старость» и лауреатство, настроение у меня несколько улучшилось, хотя все равно на душе было нагажено, будто вместо зернистой икры положили мне в серебряное блюдечко куриного дерьма.

Почему-то вспомнил я про Сеньку Бакуму — шепнул мне кто-то перед самой посадкой, что он завязал.

Но это, наверное, вранье. Не станет Бакума завязывать, не такой он парень. Он из того же края, что и я. И не было у меня в былые времена подельщика лучше и кореша надежнее Бакумы. Он вор настоящий, умный, быстрый и хваткий. Когда-то давно, лет десять-двенадцать назад, мы с ним домушничали — чистили квартиры. Это совершенно особый род воровства, требующий ювелирного расчета, железного спокойствия, фантазии и наблюдательности. Майданить — работа хлопотнее домушничества, но много безопаснее, потому что, пока людишки живут на земле, ротозеи не переведутся, и, пока люди носят в руках чемоданы, они не перестанут их ставить время от времени на землю, а чемодан, стоящий на земле, уже наполовину мой. Домушничеством же занимаются две категории людей. Случайные залетные хмыри, которые вламываются в чужую квартиру, как пьяный жлоб в церковь. И сразу, естественно, попадают. И профессионалы, настоящие воры, которые долго квартиру выбирают, аккуратно пасут ее, тщательно обдумывают план взятия, и когда уже выходят на дело, то работают безошибочно и с большим наваром.

Пять раз я заваливался на своих делах, но за те несколько лет, что мы домушничали с Бакумой, мы даже на след свой не вывели, подвесив МУРу несколько до сих пор нераскрытых краж, и думаю, что за эти кражи начальство и по сей день регулярно вливает в мозг муровским командирам.

Может быть, и не стал бы я майданить, и не влип с этим дурацким чемоданом, и шерудили бы мы с Бакумой и дальше, да глупость все провалила. Разбежались мы с ним, из-за глупости разбежались, из-за бабы. Увел я у него бабу. Конечно, хорошая она девка, сладкая, как банка с вареньем, но ведь ни в жисть не променял бы я ее на Бакуму. Кто же мог знать, что у него с ней так серьезно, что он из-за нее кореша бросит. Ужасно глупо все это получилось, мне-то ведь наплевать на нее было, так — развлечение... А он как узнал, просто посинел весь. Я его никогда и не видел до этого таким — губы трясутся и в глазах слезы, я даже испугался. Я ему говорю:

— Брось, Бакума, пену гнать! Подумаешь, добра пожалел — я тебе, если хочешь, Нинку свою отдам!

А он длинно, с загибами, поворотами, разгонами, возвратами и религией покрыл меня и сказал:

— Потрох ты поганый, Батон! Пропади ты пропадом!

— Не бросайся дружками, Бакума. Пробросаешься, — сказал я.

— Не дружок ты мне больше. Ты мне на толковище с ворами в Марьиной роще жизнь спас, а теперь я оборотку даю — сыпь отсюда, не трону я тебя. А если встречу еще когда, зарежу.

— Если сможешь, — сказал я. — Ты тоже пупком на мое перо не нарываешься.

И разбежались мы с ним тогда и больше не встречались, да и не слыхал я о нем. Жаль, конечно! Сейчас бы он мне очень даже пригодился.

Пил я не спеша водку, думал о Бакуме, мне было сытно, тепло, музыка играла, свет вокруг то притухал немного, то разгорался праздничней и ярче, вокруг моего столика танцевали длинные стройные мальчишки-акселераты, черт бы их побрал, с длинными девочками-акселератками, и я с обидой подумал о том, какие они сейчас все хорошо одетые, сытые, холеные, какие они все удивительно чистенько мытые, светящиеся вот той самой чистотой, что появляется от каждодневного мытья в собственной белоснежной, сияющей никелем и кафелем ванной, у них у всех были собственные ванны и с детства их приучали в них мыться каждый день. И не понять им, что, будь ты тысячу раз чистоплотным, все равно не быть тебе таким чистеньким, если тебя в детстве мыли по субботам в корыте на кухне и раз в месяц водили в Самотечные бани.

Не было у меня своей ванны, нет и, наверное, не будет никогда, и не мог я этого простить нахальным длинным счастливым акселератам. Всем они вызывали у меня ненависть — и чистотой своей, шампуневой мытостью, и красивыми шмотками, которые они себе не заработали, и даже не украли, а так — с неба свалились, папочки с мамочками подарили, и были они мне противны даже ростом своим. Господи, да я ведь таким коротконогим, наверное, оттого вырос, что в детстве белого хлеба ни разу досыта не ел! Я ел хлеб из мешочка. Мы все, вся семейка, ели хлеб из мешочков. Из грязных белых полотняных мешочков. Это дед придумал. Он сказал, что мы съедаем хлеба больше его,

что мы все объедаем его. А отец сказал, что старый паразит и дочка его, паразитка, и молодой паразит сидят на его шее. А мать сказала, чтобы нас всех водянка задушила. И сшила из старой, уже порвавшейся простыни четыре мешка — деду, отцу, себе и мне. Хлеб делили и прятали в мешки и каждый завязывал свой мешок одному ему известным узлом, чтобы другие не таскали. Ну, казалось бы, все? Раздел Европы совершился? Так нет — каждый день снова начиналась грызня: кому полагается мякиш, а кому горбушка, чья очередь забрать крошки. А ну их к дьяволу!

В общем, как бы там ни было, надо мне подъехать, побалакать с Окуном про житишко мое. Он хоть и не адвокат больше, но любому действующему защитнику сто очков вперед даст. И по главным вопросам, кроме как с ним, посоветоваться больше не с кем. Умнейший он мужчина, что и говорить. Вот тоже, орел, из-за баб сгорел. Ведь он как защитник в большом авторитете был, и заработочек у него клевался дай боже! Но баб любил ненормально, ему без них жизни никакой не было. Все деньги на них просаживал, работал как вол, всегда он сразу в паре процессов сидел, и все денег ему не хватало, видать, темперамент у него был больше заработка или бабы ему такие ненасытные попадались. Он сам себя называл «перпетуум кобеле». Короче, ввязался он в грязное дело. Родственникам подзащитного своего сказал, что, мол, есть у него ход к судье, надо будет там крепко подмазать и вылетит тогда их сокол ненаглядный на свободу. Деталей я не знаю, чего там и как у них происходило, но выплыло это все наружу, потому что всякое дерьмо — сколько его ни топи, какие к нему камни ни привязывай, обязательно где-то всплывет на всеобщий погляд и удовольствие. Возбудили, конечно, по этому случаю уголовное дело, начали шерстить все до ногтя, но, то ли он денег взять не успел, или доказать не смогли, от тюрьги Окунь открутился, а вот из адвокатов его на лопате вынесли. Не мне его судить, остались мы с ним приятелями, и он мне регулярно за довольно мелкую деньгу дает массу деловых советов.

Допил я кофе, съел мороженое с ломтиками ананаса и попросил блондиночку Раю завернуть еще бутылку коньяка на вынос. Я оставил ей около трешника на чай, но она отсчитала из своего кошелечка два рубля

семьдесят шесть копеек сдачи и, не говоря ни слова, ушла. Вот факт налицо: пролетарская солидарность — это не пустые слова! Официанты всех стран, дружите, женитесь, размножайтесь!..

ГЛАВА 13 НОЧЬ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Я вошел к себе в комнату и увидел, что вечерний сумрак стелется в углах как туман. Закат над городом догорел, и ушедшее солнце разогревало снизу облака, сиреневые, синие, легкие, и свет от них окрашивал все в полутемной комнате размытой акварелью, и от этого не видно было беспорядка, пыли, продравшейся обивки на кресле, запущенности моей комнаты, и только необычайный дымящийся полусвет плавал в ней, стирая грани, все неприятное и некрасивое, и в короткое это мгновение комната была похожа на сказочный аквариум, заполненный гаснущим серебристым свечением и прозрачной тишиной. Тишина была замкнутой, не общающейся с миром, как воздушный колокол под водой, потому что за окном, напротив, в Гнесинском училище, тонко выбивал кто-то на рояле гаммы, и эти дрожащие ноты бились о стенки моей тишины, не в силах проникнуть в нее, поколебать, нарушить; и поэтому они сразу же поднимались вверх, к сиреневым легким облакам, и улетали с ними далеко, за горизонт, навсегда...

Не раздеваясь, я уселся на стул, бросил на стол пачку пельменей, пакет с «микояновскими» котлетами и вспомнил, что забыл купить хлеба; от этого стало досадно, потому что, сколько я себя помню, у меня дома никогда не бывало свежего хлеба, я всегда забывал его покупать, и валяются лишь в буфете старые, заплесневелые корки. Да и есть мне почему-то перехотелось, а настроение было препаскудное, и этот замирающий вечер совсем добил меня. Не было сил двигаться, и я долго сидел за столом, с тупым упорством рассматривая этикетку сибирских пельменей, и не понимал букв, как будто состав, способ приготовления, артикул и цена были начертаны клинописью. Потом встал и снова забыл, чего я хотел сделать, и вспоминать не хотел, а просто улегся на диван и лежал долго, пока вечер

совсем не догорел на улице и комнату затопила чернота, но все предметы, округло-мягкие, размытые, я видел отчетливо, и темнота от этого была живая, и не было сна, но царила явь. А мысли шатались, переваливались, падали, как пьяный на неровной дороге, из-за этого я никак не мог заснуть, и мне казалось, что партию с Батоном я проиграл окончательно, потому что она была мной проиграна еще до начала игры, а я просто не знал этого. Мне вспомнились когда-то давно прочитанные и почти совсем позабытые стихи Рильке о пантере, выросшей в клетке. Она не знала свободы и поэтому полагала, что ограниченный пятачок ее вольтера — это и есть свобода, а вся земля за решеткой — неволя. Неужели свобода Батона — за решеткой? Но он ведь не хотел в тюрьму и бился до последнего?

Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столике рядом с диваном, я хорошо видел его в темноте: маленький, горбатый, сердитый, он звенел настойчиво и пронзительно, пока мне это не надоело, и я снял трубку.

— Стас? А Стас? Здравствуй!

Звонила Лена. Давно я не слышал ее голоса по телефону и не мог сообразить, зачем она разыскала меня сейчас. Она сказала, что звонила моей матери, которая объяснила, что если я не на службе, то должен быть здесь. Лена сказала, что мать на меня обижена за недостаток внимания.

— Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, ты не прав...

— Я, конечно, не прав, но, по-моему, это не твое дело, — ответил я.

Мне все сильно надоело. Нельзя учить жизни взрослых людей, коль неохота делить с ними бремя альтруистской тирании. Люда-Людочка-Мила не стала бы этого делать. Но я ведь любил Лену, и она об этом знала. И меня не любила, поэтому могла и поучить. А на улице догорел голубой апрельский вечер, Батон весело пировал с друзьями, рассказывая, какой я щенок и сопляк, немой крест повешенного генерала лежал на полочке в сейфе, а я раздумывал о свободе, стиснутой клеткой вольтеры. Мне так хотелось, чтобы Лена вдруг, ни с того ни с сего сказала мне какие-то слова, от которых можно было бы почувствовать себя мчащимся по стене, а тоска по войлочным тапкам растворилась, как детская печаль о съеденном леденцовом пе-

тушке на палочке. Наверное, все выпущенные из бутылки джинны одиноки и нуждаются в любви и поддержке чаще, чем кто-либо. Слабодушные они существа, джинны, оттого, что душа у них — пар. А может быть, и слова бы не помогли, потому что слова вообще мало чего стоят. Имеют цену только наши поступки.

Лена сказала:

— Ну не сердись, Стас. Тем более что у меня к тебе просьба.

Я внимательно вслушивался в ее слова, но соображал совсем плохо, наверное, из-за того, что все время думал еще о чем-то. Какой-то художник из их издательства напился в компании, поссорился с кем-то на улице, подрался, попал в милицию.

— И что?

— Теперь ему из милиции пришлют письмо на работу, у него будут неприятности. Не мог бы ты поговорить там, чтобы не присылали письма? Ведь ничего страшного не произошло, дело-то житейское. А парень он хороший...

Дело житейское. А парень он хороший. И я тоже парень хороший. И люблю ее. Ничего страшного не произошло, можно позвонить мне через несколько лет после всего, что было, и попросить о какой-то пустяковой услуге. Ведь я же могу поговорить там, в милиции, чтобы не присылали письма. Они меня наверняка там, в милиции, уважают, потому что я не напиваюсь и не дерусь на улице. И настроение у меня как раз подходящее для выполнения таких просьб, а если нет настроения, то это тоже не очень важно, потому что масштаб интереса к моим делам всегда больше интереса к моей личности скромного героя в серой или синей шинели.

Ее низкий глуховатый голос ласково и чуть просительно звучал в трубке, а я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть в темноте расплывчатый горбатый силуэт телефонного аппарата, из которого шел ко мне ее голос, долго лежал и думал, что этот звонок — последний эпизод сегодняшнего тяжелого и унижительного дня, а голос ее низко трепетал, как черная ночная бабочка, и я не понимал ни одного слова, кроме того, что ей просто позарез надо помочь этому отличному парню и сделать это могу только я, а она знает, что я ей никогда не отказывал, и боль становилась невыносимой, будто

меня медленно распиливали тупой пилой. Я отодвинул трубку от уха, но ее голос был отчетливо слышен в тишине, слышен все время, пока я медленно нес трубку к горбику съезжившегося аппарата, и оборвался внезапно, когда трубка легла на рычаг. Тины! — тихо звякнул аппарат, и голоса ее больше не стало.

Через мгновение телефон зазвонил снова, еще раз, еще, он был зол, он гремел, он требовал, чтобы я снял трубку и узнал, что приличные люди себя так не ведут. А я вдруг увидел, что лежу на диване прямо в плаще, который забыл снять, и очень болит бок от вмявшегося в него пистолета. Я встал, сбросил на стул плащ, снял кобуру и положил пистолет под подушку, а телефон звенел, а я раздевался и бормотал, что я тоже хороший парень и хочу, чтобы кто-нибудь просил за меня не посылать писем о том, как я напиваюсь и дерусь на улице. Трещал телефон, я разделся, не зажигая света, нашел в буфете две таблетки снотворного, запил их стоялой невкусной водой из графина, улегся. И телефон смолк. Очень хотелось заснуть, но сон не шел, и тишина была такая нестерпимо плотная, что судорожное тиканье часов на руке высекало в ней дырочки, как перфорацию на ленте.

...Я хожу вокруг клетки, отделенной от меня еще и глубоким рвом. В углу клетки, рядом с мисочкой и графином с невкусной старой водой кто-то лежит, свернувшись калачиком. Мне хочется рассмотреть этого зверя, но его почти не видно, только плотная пятнистая спина, и я не знаю, как позвать его. Зверь крупный — ему не посвистишь и не шепнешь «кис-кис-кис». А он не встает, и я не могу уйти, потому что точно знаю — мне обязательно надо рассмотреть этого зверя. За дощатой перегородкой позади клетки раздаются шаги, и меня это очень радует — наверное, идет кормить зверей служитель зоопарка, и я смогу рассмотреть обитателя клетки. Отворяется маленькая дверка в перегородке, и в вольеру входит Лена. Но я почему-то совсем не боюсь за нее. Да и зверь не обращает на нее внимания. Она подходит к прутьям и говорит мне: «Я решила приготовить тебе сюрприз. Мне не хочется больше редактировать книжки. Это неинтересно — ведь я не видела живых пиратов. Я буду лучше воспитывать зверей. Я ведь умею это делать. Помнишь, как я решила стать художницей?»

Да, конечно, я это помню. Как ты пришла однажды и сказала, что уже купила мольберт, подрамник, краски. Что тебе нравится писать маслом и ты станешь художницей. А я удивился и сказал, что ведь, наверное, это трудно — это ведь надо уметь, этому учиться надо. А ты засмеялась и сказала, что мое жизненное призвание — быть учеником. Я обиделся тогда, а сейчас бы, конечно, мне это не показалось таким обидным. Картина получилась удивительная, не похожая ни на что, и в то же время, как мозаика, она состояла из кусочков уже когда-то виденных мною рисунков. Картина висит у меня на стене — такая яркая, веселая, несерьезная, что ее можно, наверное, рассматривать в темноте. А краски высохли, мольберт Лена кому-то подарила, и никто, кроме меня, не помнит, что она решила стать художницей. Но ведь воспитывать зверей тоже надо уметь?..

Лена засмеялась и сказала: «Нет, здесь, на воле, они перевоспитываются сами. Надо просто найти к ним правильный подход...»

Почему же на воле? Она ведь со зверем в клетке? Лена снова засмеялась: «Нет, это ты огорожен клеткой. Она невыносимо велика для тебя, одинокого, маленького джинна. Это только страстей твоих много, а тебя самого мало... Но парень ты хороший, обыкновенный незаметный герой в серой шинели, жаль лишь, что масштаб интереса к твоей личности невелик...»

И тогда я крикнул: «Но ведь ты сама говорила, что и Джордж Вашингтон когда-то был майором милиции!» А она только пожала плечами и засмеялась. От моего крика проснулся зверь, потянулся, встал, и я увидел, что это громадных размеров пантера. Я очень испугался за Лену, но пантера подошла к ней и стала тереться о ее ноги, басовито урча. «Вот видишь, — сказала Лена, — речь идет только об оценке доказательств. Замяли бы дело с чемоданчиком — дело ведь житейское, а он бы вам помог найти итальяшку...» И тут я с ужасом увидел, что у пантеры лицо Батона. А он лизнул Лену в щеку и мурлыкнул: «Нет, он уже не тот щенок. Другой, другой...» — и издевательски засмеялся. Лена треснула его по толстому загривку ладонью, и он испуганно заморгал, а она сказала: «Ты этого не понимаешь. Если бы он занимался боксом, из него бы вы-

шел пожизненный чемпион». Батон-пантера ухмыльнулся гадко: «Я его за это не осуждаю, но, честно говоря, сильно не люблю».

Но ведь он не меня, а Шарапова не любит? Я оглянулся и увидел, что по дорожке зоопарка идет ко мне не спеша Шарапов, сгорбившись, с любопытством глядя на нас сквозь свои удивительные очки. И я невероятно обрадовался ему, потому что мне точно было известно, что именно это лицо я видел в пожелтевшей папке личного дела, валяющегося в архиве университета, это он таскал меня на руках, громко распевая: «Не боится мальчик Стас...» А как же отец? Что-то все перепуталось у меня в голове...

Я побежал ему навстречу, и он взял меня за руку и повел обратно к клетке, и мне было радостно и спокойно ощущать тепло его широкой шершавой ладони, будто он вел меня — совсем маленького — первый раз в школу. А он говорил мне: «У нас не бывает побед по очкам. У нас ведь ничего, кроме работы, и нет. И надеюсь, что ты меня за это не осуждаешь?» Батон увидел Шарапова и визгливо закричал: «А как с вещами?» Шарапов посмотрел на него и нисколько не удивился: «Зачем тебе вещи? Ты же пантера, и у тебя есть свобода неволи...» В глазах Батона стыли крупные круглые капли слез. «Мы взаимно исключаем друг друга», — сказал он и убежал в угол клетки, где стояла мисочка и графин со старой водой. А Лены в клетке уже не было...

Я очнулся, будто вынырнул из затхлого черного омута и долго, глубоко дышал, не в силах утихомирить тяжелый неровный бой сердца.

Комната была залита дымным лунным светом, и лучистые блики вырывали из темноты на стене часть Лениной картины — подсолнухи, желто-зеленые, громадные, прекрасные, как тропические пальмы. От снотворного глухо шумело в голове, пересохло во рту. Сильно хотелось есть. Я понял, что заснуть больше не удастся, полежал еще немного, поднял высоко руку, чтобы часы попали в полосу лунного света. Половина третьего. Я встал, оделся, подержал в руках кобур, соображая — брать или оставить дома, потом обратно засунул под подушку, на цыпочках прошел по коридору и неслышно притворил за собой входную дверь.

На улице было очень красиво, светло и зябко. Я поднял ворот плаща, засунул руки глубоко в карманы и по тихим кривым арбатским переулкам пошел в сторону Калининского проспекта. Луна перекатывалась по крышам небоскребов, а небо было густо-синее, в белых мазках редких облаков, Медведица повисла вниз головой, светофоры безмолвно наливались пунцовой краснотой, и когда она становилась невыносимо яркой, огонек будто лопался и вместо него вспыхивал зеленый, ласковый, зовущий, успокаивающий. Сиреневые ртутные фонари отражались в огромных стеклах витрин, и казалось, что множество маленьких лун остались ночевать в пустых магазинах и кафе. Из окон ювелирного салона «Малахитовая шкатулка» на меня смотрели элегантные некрасивые женщины, увешанные драгоценностями, и все в них было ненастоящее — драгоценности, замерзшие фотоулыбки и сам призыв — покупать драгоценности. Настоящим было только их одиночество в гулкой красоте пустынной бесконечной улицы, роковая невозможность преодолеть сто метров до витрины кинотеатра, где так же замерли картонные киногерои, лихие, бесстрашные, могущие все на свете, кроме одного — пройти сто метров по улице, чтобы скрасить свое ночное одиночество хотя бы с хозяйками ненастоящих драгоценностей. И на всем проспекте были только дамы в роскошной бижутерии, молодцы-киногерои и я. И уж не знаю почему, но это меня развеселило. Я подошел к витрине и сказал элегантной манекенщице:

— Если вы хотите что-нибудь передать киногероям, скажите мне. Я ничего не забуду и слово в слово им перескажу. Вы не смущайтесь — ведь, кроме нас, здесь никого нет.

Манекенщица заворуженно смотрела мимо меня, улыбаясь своей ненастоящей улыбкой. Я постоял еще немного, потом сказал:

— Ну как знаете. Тогда я передам просто привет...

Не знаю, показалось ли мне это, или я придумал, или на самом деле она ответила мне, но я видел, как женщина кивнула, даже ненастоящие драгоценности зашевелились на шее.

По ровным квадратным плиткам тротуара я быстро

зашагал к кинотеатру, вбежал по ступенькам к афишному щиту и крикнул Алеше Баталову:

— Вам передавала привет женщина! Она рекламирует ненастоящие драгоценности, но она очень хорошая! И очень одинокая! Она совсем одна на целой громадной пустой улице! Можно ей передать от вас привет? Ей наверняка будет приятно...

Ласковой толстогубой улыбкой светилось лицо актера, и я забыл, что это только афиша, так много доброты было в его лице. Я повернулся и побежал назад — к витрине «Малахитовой шкатулки». Но за эти минуты ночная сторожиха выключила свет в магазине, и лица женщины стало почти не видно, лишь уличный фонарь попеременно с дымным лунным светом вырывал из темноты часть шеи с ненастоящими драгоценностями. Я постучал костяшками пальцев в стекло и сказал негромко:

— Он тоже просил передать вам привет, — и, не оборачиваясь, торопливо пошел по чистому белому плиточному тротуару к Садовому кольцу, вниз по Новинскому спуску к Москве-реке, через Дорогомиловку к Киевскому вокзалу, где было много людей, сновали такси, плавал обычный дорожный гам. В буфете я сел за стол к какому-то небритому дюжему дядьке. Дядька был очень благодушен и под хмельком.

— Ты, парень, жрать хочешь, — уверенно заявил он.

— А как вы угадали? — удивился я.

— По глазам, — засмеялся он. — Иди возьми пивка, а я уж тебя угощу кой-чем.

Пузырилось, лопалось пиво в кружках, оседала пена на стенках, а дядька достал из мешка под столом толстый ломоть розового сала, завернутого в газету, пару ядреных луковиц и общипанную буханку теплого ржаного хлеба.

— Разве дадут тебе бутенброды такие в буфете? — спрашивал он меня и сам себе отвечал: — Ни в жисть!

Потом хитро прищурился:

— А ведь поднесу, то и выпьешь?

Я сказал:

— Под такую закуску грех отказываться. Только нельзя, я думаю. Увидит если милиционер, пристанет, наверное?

— А что милиционер? Он ведь к тем пристаёт, кто бузит или хулиганничает. А мы с тобой мирно, тихо...

— Тогда наверняка не пристанет, — сказал я серьёзно.

Он достал из мешка початую бутылку водки и разлил по стаканам.

— За что выпьем? — спросил я.

— Да какая разница? Было б настроение...

— Э нет, — сказал я. — Это вроде знака уважения. Или ритуала воздания небольших почестей. Давайте выпьем за вас...

Дядька от смеха даже головой закрутил:

— Эк ты чудно сказал. Ну да ладно, ты человек, видать, ученый, тебе виднее. Давай за меня...

Тепло от водки затопило меня половодьем, мы ели душистый хлеб с розовым салом, хрустели луком, окуная в блюдо с солью целую головку, а пиво было вкусное, свежее, и вокруг было много людей, не было ночи, одиночества, а дядька, смешно окая, объяснял мне, как «нынче с шифером трудно, а про железо-то кровельное и не говори, потому как все счас в новых домах жить хотят...», и был мне этот человек невероятно дорог, я записывал ему на бумажке свой телефон и адрес, и требовал, чтобы он в следующий приезд в Москву обязательно поселился у меня, и во всем мы с ним сходились во мнениях — хвалили раков, ругали Моссовет, твердо решили не жениться, были очень довольны тем, что у него сыновья, а не дочери, и вся жизнь была легкой и приятной, потом мы с ним расцеловались, и я шел домой по занимающемуся рассвету, и меня качало от выпитой водки и пришедшего наконец ощущения свободы и пустоты, от твердого сознания, что Батона, по словам моего нового друга, я еще «уконтектую», а бабы не стоят того, чтобы из-за них жизнь свою заедать, и когда я пришел к себе на улицу Воровского, вставало солнце.

В комнате у меня было светло, и необычайные подсолнухи-пальмы на Лениной картине пригасли. Я сбросил с себя плащ, быстро разделся, лег в постель и закрыл глаза. И тогда я вновь увидел некрасивое строгое лицо женщины с ненастоящими драгоценностями, неведомого человека на пустынной улице, освободившего меня сегодня от одиночества. Она кивнула мне — и я уснул.

На улице стало много прохладнее. Ночную синеву располосовали яркие огни, напротив гостиницы «Москва» и в Историческом проезде дорожные рабочие накрашивали на асфальте длинные полосы — отмечали ряды для первомайской демонстрации, и в своих оранжевых костюмах они были похожи на раскатившиеся по мостовой огромные апельсины. У входа в «Националь» затормозил сияющий высокими стеклами автобус, большущий, с огромным обзорным стеклом, как в самолете. Из него высыпала толпа иностранцев — все на одно лицо, мужички и их очкастые, очень важные сухоногие жены. Конечно, для меня иностранцы — подходящие клиенты, но не на сегодня. Подъехала такси, выпорхнула парочка и направилась в ресторан, в машине вспыхнул зеленый глазок. Я отворил дверцу:

— Поедем?

— Полетим. Куда рулить?

— В Чертаново, на кулички...

Движение на улицах уже стихло, таксист гнал машину ровно и быстро. С заднего сиденья я видел его лицо в длинной рамочке зеркала, от сосредоточенности оно было угрюмым. Когда он затягивался, огонек на конце сигареты вспыхивал ярче, освещая тонкие заветренные губы, серую щетинистую кожу.

На улице Красный маяк он высадил меня. Я походил среди новых корпусов, дома были все новые, и редкие прохожие не знали, где здесь девятый корпус. Правда, и я не был точно уверен, что мне нужен девятый, но, по-моему, Окунь жил в девятом корпусе. Проверить все равно нельзя — я ведь никогда сроду не держал записных книжек. Память у меня хорошая, и все, что мне нужно, я и так помню. А если что-то забыл, значит судьба — значит, не надо мне помнить. Масса фартовых людей из-за этого сгорела: попадались на каких-то пустяках, но в МУРе хорошо умеют работать с записными книжками. Ведь записная книжка вроде бредня, который люди волокут за собой по жизни: и тина там есть, и водоросли, и головастики, и ерши, и плотва, и щук оттуда можно вынуть умелой рукой. Но запо-

мнил я дом Окуня правильно, позвонил в квартиру на шестом этаже, и откуда-то из глубины ее тотчас же до-
несся его острый, пронзительный голос:

— Иду, моя голубка, сейчас открываю, моя ласточка!

Он распахнул дверь, и на лице его, будто штампом шлепнутая, полыхнула досада.

— Ага, рыбка Окунь огорчена, что вместо ласточки на ужин получила старого зубастого барбоса, — сказал я сурово, и Окунь принужденно улыбнулся.

— Заходи, я тебе рад.

Я снял в прихожей плащ, достал из кармана и протянул Окуню коньяк. Он сдвинул на лоб очки, подслеповато прищурился на марку.

— Армянский, «Отборный», — удовлетворенно хмыкнул он. — Хорошо живешь, Батон, красиво...

— Мне по чину нельзя иначе.

— Не говори, — ухмыльнулся невесело Окунь, — чины у нас с тобой сейчас исключительно высокие.

Мы пошли с ним на кухню, неумело прибранную нескладными холостяцкими руками, и везде были следы беспорядка и грязи. Да и вообще квартира была небольшая, неудобная, заваленная, как склад, огромным количеством разношерстной мебели.

Окунь хлопотал над какой-то немудрящей закуской, доставал стаканы из буфета, сметал крошки со стола, и делал он все быстро и толково. А я сидел на табуретке в углу, курил и рассматривал его. Конечно, это он не для меня нацепил модный узенький костюмчик и лиловую рубаху с цветастым галстуком. Но ласточка, она же голубка, опаздывала, и я мог вместо нее оценить все великолепие очень нарядного, модненького Окуня. Должен сказать, что на месте девушки я бы обязательно полюбил такого красавца. Из-под кургузого пиджачка выпирал тугой мускулистый зад, крутой, как верблюжий горб. Толстые подрагивающие ляжки, налитая грудь — икряной мужик Окунь мог страдать лишь одним дефектом: нехваткой денег. А человек он все-таки очень умный.

— Рюмок нет, оказывается, — сказал Окунь.

— А ты что, не знал об этом?

— Нет. Я помнил, что вроде были.

— Врешь ты, Окунь. Сроду у тебя в доме рюмок не было.

— Это почему еще? — обидчиво спросил он.

— Потому что бабу напоить легче из стакана. А у пьяной бабы характер мягчеет. Тут ее и уговорить...

— Трудно сказать, — уклончиво ответил он.

Он плеснул нам в немытые чайные стаканы, посмотрел на свет бутылку, там оставалась еще треть. Окунь сказал:

— Ко мне тут девулька одна должна забежать немного попозже, давай ей оставим, а то по моим заработкам «Отборный» ныне не укупишь.

— Давай оставим, — кивнул я.

— Вот и отлично. И нам выйдет грамм по сто шестьдесят на душу населения страны.

Мы чокнулись.

— За что? — спросил я.

— Эх, Батон, за что нам пить? Дай нам бог свободы, остальное как-нибудь добудем сами.

Выпили, и я подумал, что время и жизнь смыли между нами последние барьеры, и сидим мы с ним в одном сортире, и больше он никакой не правозащитник, а такой же отколовшийся от всех и навсегда правонарушитель, как и я, хотя никто его не разыскивает, хвостов за ним не пускают и подписки о невыезде не берут. Это все зависит от собственной оценки своего поведения, от той позиции, которую ты выбираешь. Вот если бы по какому-то недоразумению Шарапова самого посадили в тюрьму, он бы и там старался меня перевоспитывать, а Тихонов, сидя на соседних нарах, доказывал бы мне, что воровать НЕЛЬЗЯ. А Окунь, которому и судебного обвинения даже не предъявили, сел вместе со мной на нары, потому что он сам в душе отвел себе там место и, как умный человек, понимает, что мы теперь с ним заодно и в тюрьме, и здесь, у него на кухне.

Он протянул мне пучок зеленого лука:

— Ешь, ешь, в нем витаминов полно.

— Это что-то новое — закусывать коньяк луком, — сказал я.

— Икры закажи, — усмехнулся Окунь. — Так что у тебя?

— Подгорел я маленько... Не знаю, что и делать.

— В таких случаях, впрочем как и во всех остальных, Тузенбах говорил — надо работать, работать, работать!

— Я твоего Тузенбаха не знаю, но работать я не стану.

— Он не мой, он — Чехова. А работать ты станешь.

— Это почему еще? Ты меня знаешь — я ведь завязывать не собираюсь.

— Завяжешь и станешь работать, — Окунь приподнял на лоб очки, лицо его стало растерянным и глуповатым, и тотчас, будто почувствовав это, он опустил окуляры на место. — У тебя, Батон, нет выхода, ты должен завязать. Тут ничего не попишешь — объективный исход общественно-исторического процесса.

Я прихлебнул коньяка и спросил негромко:

— Что же ты меня закапываешь, я ведь двигаюсь еще?

— Двигаешься, конечно, но совсем мало. Глянь на дружков своих, и ты поймешь, что я прав.

— В чем же ты прав — все завязали, что ли?

— Я не об этом говорю. Я о том, что твоя специальность вымирает, и притом довольно резво. У тебя есть хоть один знакомый «чердачник»? Или «медвежатник»? Может быть, ты хороших «домушников» знаешь? А живого «сонника» ты когда видел?

— Ну и что? Разогнали они эту рвань — правда. Значит, мне одному вольготнее работать — никто под ногами путаться не будет.

Окунь засмеялся своим пронзительным, немного визгливым смехом.

— Так ты полагаешь, что они для тебя расчищали фронт работы?

— Не знаю, так получается во всяком случае.

Окунь потрогал дужку очков, покачал своей кудлатой головой.

— Нет, не получается. Если ты не уймешься, они тебя уничтожат. Совсем. — И сказал он это как-то горько-уверенно, твердо, наверняка безо всяких сомнений и обсуждений, будто он не защитник мой бывший, ныне кореш и советчик, а Генеральный прокурор гражданин Руденко. И от этого мне стало чего-то не по себе. А может, я уже коньяка выпил многовато. Я спросил:

— Но почему именно меня?

— Тебя, Бакуму, всех остальных...

— А что произошло? Есть какое-нибудь постановление?

— Есть. Есть постановление идти нашему обществу в коммунизм. А там тебе места нет.

— Допустим. Но у меня два вопроса. Во-первых, они с самого начала шли в коммунизм и мне это существенно не мешало. Почему же сейчас они меня станут уничтожать? И второе: а тебе в коммунизме место есть?

— Отвечаю в порядке поступления, — он снова пронзительно засмеялся, — дорога в коммунизм — весьма долгое и трудное мероприятие и требует наряду с определенными нравственными установлениями необходимых экономических предпосылок. С точки зрения их морали и идеологии ты и раньше был явлением острореакционным, и они в силу своих возможностей с тобой боролись. Но, во-первых, вас было очень много, а во-вторых, ваша проблема сдвигалась в тень из-за тысяч других более насущных задач. Теперь вас стало гораздо меньше, зато государство располагает неизмеримо большими материальными и людскими резервами для того, чтобы подавить вас окончательно и навсегда. И сейчас этот вопрос уже в повестке дня...

— Понял. А как со вторым вопросом?

— Насчет моего места в коммунизме? Насчет коммунизма не знаю, но думаю, что на весь остаток социалистического строительства мне местечко спокойное отыщется.

— Это почему же? Объясни мне, чем ты меня лучше?

Окунь захохотал тонко, визгливо, хлопая себя ладонями по пышной груди, у него даже очки от смеха запотели. Он протер их пальцем.

— Ты, оказывается, в амбицию полез! Так знай, что я тебя несколько не лучше. Я тебя хуже, я много, слышишь, много хуже тебя!

— Тогда почему тебе найдется место, а мне нет?

— Потому что они — ОНИ — этого не знают. Я отличаюсь от тебя тем, что твое поведение в обществе носит невыносимо ДЕРЗКИЙ характер. Ты как помойная яма на центральной улице... А я не помойная яма, я аккуратный мусорный бачок, и стою я не на проспекте Калинина, а в тихом заднем дворе всеми забытого переулка. Понимаешь, какое дело, мы живем в гуманном обществе, и законы блюдут этот гуманизм. Я этими законами пользуюсь, а ты их систематически и злобно нарушаешь.

— Чем же это ты пользуешься?

— В уголовном праве Российской империи существовал институт подозрения. Вот в такой истории, как со мной случилась, не смогли бы доказать моей вины, а оправдать бы не захотели и вынесли вердикт: «Оставить под подозрением навечно!» И привет. Существовала такая милая формулировочка — это тебе не сорок седьмая статья КЗОТ, сиречь Кодекса законов о труде.

— Ну нет сейчас такой формулировочки — тебе-то что толку с этого? Из адвокатов-то тебя выперли?

— Из адвокатов! Но не из жизни же! Что я, себя не прокормлю? И вкусно и сытно. Но только без нарушений закона — есть тысяча способов обойти его.

— А девулек своих? Тоже прокормишь?

— С девульками сильно похужело, но это неизбежные издержки всякой неудачи. Я сделал глупость, а ничего в мире не стоит так дорого, как глупость. Ларошфуко давным-давно сказал, что самый верный способ быть обманутым — считать себя хитрее других. Я ошибся, за это надо платить.

— Ну а я?

— А ты мастодонт. Динозавр. Где-то птеродактиль — совсем уже вымирающая порода людей, которые берут чужое имущество, не желая даже чуть-чуть потрудиться над тем, чтобы это так вопиюще не бросалось в глаза окружающим.

— Ну хорошо — умер я. Как явление. На моем месте ты, что станешь делать? Найди мне местечко, сытое и тихое.

— Займись коммерческой деятельностью. Советским бизнесменством. Иди в артель, в магазин, в столовую, садись в киоск по ремонту авторучек...

— И что?

Окунь усмехнулся, съел бутерброд с баклажанной икрой, корочкой вытер тарелку, проглотил и облизнул пальцы с очень короткими, будто поперек расколотыми ногтями и воспаленными искусанными заусенцами. Спросил:

— Не понимаешь или валяешь дурака?

— Не понимаю. А может, от тебя хочу услышать — знаешь, со стороны это как-то убедительнее.

— Тогда слушай. Если ты совершаешь такой шаг, то ты сразу приобретаешь очень много. Социальный статус. Понимаешь?

— Не очень.



— Ну вот сейчас ты не воруеть, не продаешь краденого, а сидишь в гостях у приятеля и ведешь с ним беседу за жизнь. И, несмотря на это безобидное занятие, твое существование даже в этом противозаконно — ты нигде не работаешь, не имеешь постоянного места жительства, существуешь на нетрудовые доходы и тепе и тепе. Ты в этом обществе паразит, понимаешь, не бездельник, а паразит, сиречь явление исключительно вредное, особенно в моральном смысле, ибо нравственный догмат нашей жизни — «Кто не работает, тот не ест». А ты ешь, и, надо полагать, неплохо, а сейчас записываешь «Отборным». Поэтому не только милиционеры, но и всякий рядовой советский гражданин, ознакомившись с твоей личностью, начинает сильно хотеть взять тебя к ногтю. И это навсегда делает тебя врагом общества в целом и каждого его гражданина в отдельности.

Я перебил его:

— Ты, Окунь, на распределении в институте ошибку сделал...

— Что?

— Тебе не в адвокаты, а в прокуроры надо было проситься.

— У прокуроров всегда был заработок ниже, а требования морали выше, — усмехнулся Окунь. — Итак, продолжим. Что происходит, если ты следуешь моему совету, устраиваешься на службу и начинаешь продавать мясо, или делать заколки для волос, или жарить беляши, или чинить шариковые ручки? Ты становишься трудящимся. У тебя возникает почтенный социальный статус — честный советский трудящийся, ибо нечестных советских трудящихся не бывает, а лишь встречаются в виде исключения отдельные выродки, не дорожающие честью рабочего человека.

Я засмеялся:

— Если бы мне к этому статусу еще подыскать человека за меня работать — цены бы твоей теории не было...

— А ключи от квартиры, где лежат деньги и вещи, не подойдут?

Я допил коньяк и сказал:

— Ты мне адресок дай квартиры, где лежат деньги и вещи, я туда без ключей войду. Ну давай дальше, не отвлекайся.

— А дальше и рассказывать нечего — ты занимаешься общественно полезным трудом, и с каждой сделанной заколки, каждого проданного фунта мяса и поджаренного беляша ты трудолюбиво будешь снимать свой навар — много прибыльней и спокойней, чем ты живешь сегодня.

Я подумал, что в чем-то он, конечно, прав, но согласиться с ним я не мог. Никак не мог, хоть глотку режу!

— Нет, — сказал я. — Не согласен. Не будет этого. Я в обзэесные клиенты не пойду.

— Это дело хозяйское. Тебе жить, вот и решай.

— Пойми, Окунь, ты же умный мужик, ты многое понять можешь, пойми ты меня! Клянусь тебе, Окунь, свободой, всей жизнью клянусь, если бы я мог, я бы вообще завязал! Со всей этой проклятушей жизнью завязал! Мне все обрыдло — через горло уже течет! Но выхода нет у меня никакого... Потому что совсем я завязать не могу. Мне ведь почти четыре десятка. Ну подумай, Окунь, что я буду делать? Я пять тысяч книг прочитал, а знать ничего не знаю, ничего не умею, чтобы получить работу, на которой я не повешусь от тоски через два дня.

— А ты напиши письмо министру внутренних дел — вот, мол, я, Алеха Дедушкин, кадровый вор, рецидивист, стаж у меня двадцать два года, надумал я завязать. Только начинать с нуля мне нет охоты — поэтому я завяжу, коли вы мне зачтете мой уголовный стаж как выслугу лет с соответствующим производством в звание полковника, поскольку я люблю красивую жизнь, а работа меня устраивает только интересная.

— Смеешься, Окунь. А зря! Если бы меня взяли в МУР на приличную должность, я бы им в два счета всех блатных переловил.

— А корпоративные соображения тебя не останавливают? По отношению к твоим нынешним коллегам?

— Плевать я на них хотел! Плеваты! Плеваты! Я бы их душил как крыс! Плевать мне на них!

— Швейк в таких случаях говорил: «Пан, не плюйте здесь!», — Окунь задумчиво смотрел на меня, и в глазах за толстыми линзами очков стыло холодное отвращение ко мне. Но мне ведь и на Окуня наплевать, и не скрываю я этого.

— Да-а, Батон, — задумчиво пробормотал он, —

ты, конечно, экземплярчик штучный. Слушай, а вот взяли бы тебя в МУР, ты бы и меня, наверное, посадил?

— Нет, — сказал я. — Ты мне нужен был бы, мне с тобой советоваться часто приходилось бы.

Он засмеялся долгим пронзительным своим смехом, снял очки и долго протирал их носовым платком. Потом он надел очки и сказал мне ласково, очень внушительно:

— Так вот, Алеша, почтенный и прекрасный друг мой, не говоря обо всем остальном, они бы тебя не взяли к себе за одно только это — что ты бы меня не посадил. Они нас поэтому и побеждают, что за правое дело каждый у себя самого глаз вырвет. Ты уже должен был понять, что они, как это ни смешно звучит, люди очень высокой идеи и со своей грошовой зарплатой под пули идут не ради навару.

— Мне тоже навар не нужен! Я в хозяйственные расхитители идти не хочу, потому что мне пускай беднее, пускай опаснее, но тоже интерес в моем деле нужен. Пойми ты, что и мне во всей преснятине будничной нужна острота какая-то, риск, мне тоже нужен полет!

— Врешь, врешь, врешь, врешь! Ничего этого тебе не нужно, все это дешевые блатные истерики, я их за двадцать лет наслушался. Ты не хочешь махинациями обзавестись, потому что там надо работать вдвое усерднее, чем обычному служащему: приходиться раньше, уходить позже, все на учете держать, мерекать все время — где сэкономить, кого подмазать, куда левый товар спихнуть, что сбавить быстрее, а что придержать. А ты работать совсем не хочешь, ты бы и полковником быстро расхотел работать, потому что там за широкие погоны тоже пыхтеть приходится будь здоров. Как я понимаю, тебе бы больше всего подошло быть полковником на пенсии — приличное содержание, а чего не хватит, ты в свободное время подмайданишь. А-а? Не прав я?

Я махнул рукой:

— Не знаю, может быть, и прав.

— Прав я, Батон, прав. Поверь мне. Но ты ведь не за тем пришел ко мне, чтобы эти теории мы с тобой тут разбирали?

— Не за тем. У меня вот такая петрушка получилась...

Рассказал я ему подробно всю историю с итальянцем, чемоданом и Тихоновым.

Окунь взял из моей пачки сигарету, неумело закурил ее, и дым он пускал, смешно надувая свои толстые щеки, пристально рассматривал пухлые синие клубы, плывущие по маленькой кухне, как отравленные пары над свалкой.

— Это ты с ним зря завязался, — сказал он наконец. — Забылся ты, братец, несколько. Вору милицию заводить не следует. Этот Тихонов, видать, тоже гусь хороший, он тебе еще покажет кузькину мать.

— Спасибо на добром слове, утешил хоть, — усмехнулся я.

— А чего тебя утешать? Я таким, как ты, давно рекомендую: будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби... Значит, надо считать, что ты в розыске?

— Почему в розыске? Я на подписке, и никто меня искать не собирается.

Окунь быстро зыркнул на меня, и во рту у него хищно блеснула коронка.

— А ты что, собираешься к ним по вызову являться?

— А куда денешься? — сказал я простовато, потому что я ему тоже больше не доверял. Не знаю почему, но перестал я ему верить. Раньше всегда верил, а теперь перестал. И таким уж мудрецом он мне больше не казался. Не могу объяснить, что произошло, но как-то рухнул он у меня в глазах. Наверное, вся штука в том, что мы с ним сейчас впервые поговорили по душам после того, как он из адвокатов вылетел. И хоть он все время мне объяснял, какой я ничтожный помоечник и что песенка моя спета, я почему-то не смог преодолеть жалости и пренебрежения к нему, потому что он только в одном правду сказал — в тысячу раз он хуже меня, гаже, подлее, грязнее. Никогда раньше он так не раскрывал самого себя и своих мыслей, потому что между нами был громадный барьер моего уважения к его профессии — ведь для фартового человека адвокат как господь-заступник. Да и он сам невольно очень сильно свою профессию уважал, потому что была у него профессия совершенно замечательная — он за всех людей ходатайствовал, от несправедливости защищал, милосердия для них просил, и какие бы они ни были плохие, эти люди, но они все-таки люди, а самый поганый человек заслуживает жалости, помощи и защиты, и был он для них больше отца-матери — он был их ПРАВОЗАСТУПНИКОМ. А стал жалким и ничтожным, голодной крысой

стал — забился в свою заваленную мебелью нору и таскает сюда куски. Сожрет жадно свою баклажанную икру, оближет пальцы — и баб щупать. Так что верить я ему перестал. Почувствовал я к нему опаску какую-то. Потому и сказал:

— А куда денешься? Не бегать же мне от них. Позовут — явлюсь. Вся надежда, что итальянца не отыщут.

А Окунь, видать, тоже пожалел, что вошел со мной во все эти разговоры. Видать, и он меня опасался. И решил разойтись со мной без злобы, по-хорошему. Самую короткую минуточку он думал, потом сказал:

— У тебя главная надежда не на итальянца, а на то, чтобы из игры Тихонова вывести.

— Почему? — я сделал вид, что не понял.

— Потому что кража чемодана в конечном счете пустяк. Чемодан у тебя со шмотками изъяли и, если появится итальянец, отдадут ему чемодан, извинятся за тебя — и арриведерчи Рома. Вызовут — нет тебя на месте. До конца года будешь в розыске, а потом усохнет это дело постепенно. Но это все в случае, если не будет Тихонова, который поклялся отучить тебя воровать. А если дело будет у него, он это тебе так не спустит.

— А как же мне его освободить от моего дела? Я же не начальник МУРа.

Окунь развел руками и покачал головой:

— Существует такое понятие — человеческая кооперация. Она возможна, когда люди оценивают свои взаимоотношения одинаково.

— А какое это имеет отношение ко мне и Тихонову? — перебил я его разглагольствования: хлебом его не корми, дай ему поговорить красиво.

— Самое прямое. У вас с ним тоже установилась стойкая кооперация в отношениях, и вы оба считаете одни и те же вещи само собой разумеющимися.

— Например?

— Ну вот он тебя гоняет, как борзая зайца, а ты, естественно, бегаешь. Тебе это, конечно, не нравится, но ты это не считаешь неправильным, потому что он — сыщик, а ты — вор.

— А что же сделать?

— Взять жалобную книгу.

— Не понял.

— Ох беда с вами! Чего тут непонятного? Надо пойти к директору магазина, попросить жалобную книгу и написать там, что продавец Тихонов очень плохой работник, грубиян, оскорбляет покупателей, недовешивает колбасы. Поэтому его надо отстранить от прилавка, а иначе ты на них найдешь управу в вышестоящих торговых организациях. Продавца Тихонова накажут, потому что покупатель всегда прав. А чтобы ты не базарил и не жаловался по инстанциям, тебе взвесят без очереди кило копченых колбасок и принесут в кабинет директора.

— Да, Окунь, это ты лихо придумал...

Посидели немного молча, и каждый из нас напряженно и зло думал о своем.

— Окунь, я бы хотел тебя отблагодарить за совет...

Он коротко блеснул очками:

— С тех пор как эти паршивцы финикияне выдумали монеты, все остальные виды благодарности сильно обесценились...

Я вытащил из кармана червонец и бросил его на стол. Встал и сказал:

— Ну, Окунь, бывай...

ГЛАВА 15 НА ВЗГЛЯД ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

На задней обложке папки последнего тома дела был приклеен конверт, в который вкладывались документы осужденных. Я вложил в него все эти полуистлевшие бумажки и закрыл досье. Вот и все. Замолкли вновь голоса людей, умерших почти четверть века назад и оживших для меня ненадолго, чтобы рассказать о том, что происходило с ними за последние полвека. Лежали на столе молчаливые папки, коричневые толстые тома с пугающей надписью: «Хранить вечно!»

Вечно. Разве что-то вечно на земле? Господи, как все это давно было! Когда судейский секретарь поставил на обложку папки штамп с красным коротким грифом «В. М. Н.» — «высшая мера наказания», я пошел во второй класс, мать вышла замуж за учителя немецкого. Батон совершил первую кражу, Шарапов посту-

пил на работу в МУР, стали поговаривать об отмене карточек, Савельева не приняли в детский сад «по недостижению установленного возраста», Черчилль просматривал перед выступлением фултонскую речь о холодной войне, в кинотеатрах повторно стали показывать «Остров сокровищ», а килограмм масла стоил во семьсот рублей.

Много злого совершили эти люди, пока злодейство не получило протокольной записи и в стремительно уходящем сознании мелькнула последняя мысль: зачем же все это надо было?

Долго, долго — в один миг — промчалось четверть века, не так уж много осталось в живых и людей, которые судили злодеев, изжелтели бумаги, протерлись на сгибах, обтрепались на краях, поблекли чернила, выцвел машинописный текст. А вечность хранения? Что же вечно? Может быть, установленный десятилетиями протокол правосудия вовсе не это имел в виду? Может быть, он вовсе взывал к вечности нашей памяти, которой человеку отпущено на один короткий век, а всем вместе — на всю человеческую историю? Может быть, вечной-то должна быть наша память, а не стареющие, выцветшие бумаги?

В это мгновение раздался телефонный звонок. Я снял трубку — звонил Сашка.

— У вас там Тихонова из МУРа нигде поблизости не видать?

— Видать, — сказал я и посмотрел в окно. Через дорогу к подъезду Гнесинского училища степенно вышагивали добротные, хорошо одетые дети со скрипками в руках. Это были правильно воспитанные дети — переходя дорогу, они не вырывались у родителей из рук, а на середине мостовой аккуратно смотрели направо. Скрипка здорово дисциплинирует людей.

— А-а, это ты, — протянул Сашка. — Ну и закопался ты в своих катакомбах — еле разыскал. Работаешь?

— Помаленьку.

— Молодец, — разрешил Сашка.

— Слушай, Сашок, а ты никогда не хотел жениться?

Сашка подумал недолго, отрапортовал:

— Хотел. Девушка о-чень красивая была. Но со мной разговаривала только так: «Ты растоптал большое и чистое, ты осквернил святое...» Пришлось бросить...

Я засмеялся и спросил:

— И все?

— Почему все? — серьезно сказал Сашка. — Еще один раз хотел. Но невеста отказала мне, объяснив, что не может выйти замуж за человека, у которого никогда не будет отчества — «Сашка да Сашка — что такое?..» Так и бросила.

Я вновь посмотрел за окно на детей, спешащих к началу занятий в училище, и спросил:

— Слушай, Сашк, а ты своих будущих детей станешь учить музыке?

— Никогда, — твердо ответил Сашка, — сейчас патефоны дешевые.

— Это ты отстал — патефоны за редкостью вновь стали дорогими. Радиолы дешевые.

— Мне все равно. У меня слуха нет. Совсем как у тебя.

— Отлично. А теперь запиши — дашь запрос в справочную картотеку: Сытников Аристарх Евграфович, осужден в 1946-м по делу атамана Семенова.

— Записал. Слушай, Стас, а как его в детстве ребята во дворе называли — Арик? Или Ристик? А может быть, Стархуня?

— Вы босяк, Алескандр. Аристарх Сытников во дворе с ребятами не играл — он воспитывался в пажеском корпусе.

— Два мира — два детства, — обрадовался Сашка. — Я тоже воспитывался в ремесленном училище № 163. Ребята из зависти называли меня малопривлекательной кличкой Ржавый. — Кстати, а почему тебя заинтересовал этот ископаемый паж?

— Он не паж, он штабс-капитан. И единственный оставшийся живой человек из всей этой компании. Ну все? Вопросов больше нет? Тогда я пойду домой.

— А сюда не придешь?

— Тогда купи мне раскладушку, я и ночевать буду на Петровке. Пока, до завтра...

— Подожди, подожди! Тебе тут девушка звонила.

— Какая? — сердце колотнуло испуганно — Лена!

— Подожди, посмотри, у меня записано. Вот пришел — Рознина...

— Рознина?

— Людмила Михайловна Рознина. И телефон свой на всякий случай оставила.

Люда-Людочка-Мила. Зачем я ей? Может быть, нашла еще чего-нибудь?

— Не нужно. У меня есть ее телефон.

— Тогда привет. Я сказал, что ты позвонишь ей попозже.

Я взглянул на часы. Стрелки замерли на четырех часах — механизм давно остановился. За окном темно. Черт его знает, сколько сейчас времени! Наверняка она уже давно ушла с работы, промчалась по бульварам тридцать первым маршрутом, встретилась со своим молодым человеком, и сейчас они сидят где-нибудь в кино или в кафе, а может быть, и вовсе отправились к нему домой... Вот балбес этот Сашка, не мог меня разыскать раньше. Правда, я сам обещал ему звонить, да позабыл. Опаздываю, всегда опаздываю. Ах, черт, досада какая! Ведь у нее могли быть какие-то интересные сведения!

И вдруг поймал себя на том, что я стараюсь обмануть себя и мне совершенно наплевать на все сведения, которые она мне может сообщить, что все вместе они не интересуют меня совершенно, и единственное, что меня интересует, — услышать ее голос, веселый и в то же время чуть грустный, задумчиво-грустный, озабоченный необходимостью вырасти лебедем и дожить до времен, когда люди будут называть друг друга «ваша человечность», и, раздумывая в растерянности обо всем этом, я бессознательно набирал номер телефона, наверняка зная, что ее там не может быть ни за что. Тягучий пронудил гудок в трубке, и я очнулся, поняв бессмысленность этих звонков в пустой опечатанной комнате архива, откуда она ушла навстречу мальчику, собирающемуся стать «самым-самым». И все это вместилось в несколько коротких секунд, которые отделяют один гудок от другого, потому что, когда я уже почти положил трубку на рычаг после первого гудка, мне послышался в ней какой-то звук.

И от неожиданности, вместо того чтобы снова поднести трубку к уху и проверить — показалось мне или в ней действительно был звук, я вскочил и согнулся над столом, прижимая ухо к уже почти положенной на рычаг трубке.

— Алло-алло! — заорал я истошно в микрофон и услышал голос Люды-Людочки-Милы!

— Да-да, я слушаю...

Я опустил на стул и неуверенно сказал:

— Мила, это я вас беспокою, Тихонов. Который приходил к вам насчет креста генерала Дитца. Его еще повесили потом. Помните?

— Я вам звонила сегодня...

— Людмила Михайловна, мне товарищ поздно передал об этом. А почему вы так засиделись на работе?

— Он сказал, что вы позвоните попозже. Вот я и ждала...

Я вдруг представил себе, что Сашка не разыскал меня, и я бы, конечно, не позвонил, а она бы сидела одна в пустой белой комнате архива, все, все уже ушли по домам, а она одна дожидается моего звонка, потому что точно знает — если было обещано, значит, будет выполнено, ведь по-другому не бывает, и погас бы вечер, тосковал бы на остановке тридцать первого маршрута «самый-самый» мальчик, наступила бы ночь, залив пустую белую комнату дымным лунным светом, а она бы сидела и ждала, когда я позвоню, ждала долго, не зная, что Сашка меня не нашел и от этого она еще долго будет одна, наедине с законсервированным в папках временем.

Мне захотелось сказать ей — спасибо за то, что вы долго ждали меня одна в пустой комнате... Но постеснялся и не знал, что же мне ей сказать, и долго молчал, а она меня не торопила, и это длинное наше молчание было легким, как дружеское объятие.

— Мила, а вас никто сегодня не ждал на Трубной? На остановке троллейбуса?

— На Трубной? — удивилась она. — Нет. Я вообще там редко бываю. Я к себе в Измайлово на метро езжу...

— Милочка, это же прекрасно! Это так замечательно, что вы там редко бываете!

— Почему? — засмеялась она.

— Почему? — задумался я. — Почему — так сразу мне трудно объяснить. Я просто думал, что, может быть, я не всегда и всюду опаздываю. Мила, давайте увидимся сегодня.

И она сразу, без раздумий и колебаний, сказала:

— Давайте. Где?

— Вам не трудно будет приехать на тридцать первом маршруте на Трубную? Я буду ждать сколько вам только понадобится...

— Но ведь вы были рады, что я там редко бываю?

— Э нет, Милочка, это совсем другое дело. Я очень люблю материализовывать миражи.

— Да-а? — уважительно сказала она, и «да-а» получилось у нее точно как у Шарапова. — Пожалуйста, как хотите. А вам что, так ближе?

— Нет, нет, дальше. Но приятнее. Значит, я пошел?

— Хорошо.

Я сложил стопу томов уголовного дела, перевязал их веревочкой, взглянул в последний раз на надпись «Хранить вечно!» и вызвал звонком дежурного.

Люда-Людочка-Мила сошла с подножки троллейбуса и спросила:

— Как обстоит с материализацией миражей?

— Изумительно, — пробормотал я. — Мне очень нравится.

Она засмеялась и взяла меня под руку. И мне это было приятно, будто мне не тридцать лет, а по крайней мере на десять меньше...

— Куда пойдем? — спросила Люда-Людочка-Мила.

— Куда? — задумался я, лихорадочно перебирая в уме, куда бы можно было направиться нам вдвоем. — А вы есть не хотите?

— Хочу, — сказала она. — И вы, по-моему, тоже хотите есть.

Я вспомнил дядьку, с которым мы пировали сегодня ночью, как он рассмотрел голодное выражение у меня на лице, и удивился, что это было меньше суток назад.

В ресторане «Арагви» было на удивление малолюдно, прохладно и пахло шашлыком и зеленью. В мраморном овальном зале на хорах наявничал оркестр, играли музыканты что-то маловразумительное. Мила, усаживаясь за стол, сказала:

— Один мой приятель говорил, что ему очень нравится здесь оркестр, потому что он никак не может определить момент, когда они кончают настраивать инструменты и начинают играть...

Я принужденно засмеялся, подумав ревниво, что так, наверное, говорил «самый-самый» мальчик.

— А мне здесь нравится, — сказал я.

Мила удивленно взглянула на меня:

— И мне здесь нравится. В этом ресторане очень

АМОДЕРЖ.

прочая, и прочая, и проч.

МДИ

Архистарха Сытников.

нашен

первого года

Всемилостивѣнше

образом

вѣрно и архиепископѣ

почтатъ и

би

пожаловали и

и

и

и



вкусно готовят. Это не общепитовское учреждение, а гастрономический оазис...

Она огляделась, долго с улыбкой рассматривала стенную роспись Тоидзе.

— Мне даже картинки эти нравятся...

— Картинки серьезные. Даже улыбнуться совестно.

— Только не вздумайте сказать, что вам нравится Шагал, — погрозила пальцем Мила.

— Я его вещей не видел, — сказал я неуверенно.

Она посмотрела мне внимательно в лицо и улыбнулась.

— Слава богу. А то все интеллигентные молодые люди сейчас обязательно беседуют с девушками о Камю, Шагале и Антониони. Малый искусствоведческий набор.

— А вам не нравится то, что они делают?

— Почему? Нравится. Я не люблю, когда об этом пространно рассуждают. И вообще я больше всего люблю сказки.

Тут я посмотрел на нее во все глаза. Она серьезно сказала:

— В сказках добро всегда сильнее мудрости.

— А разве это соперничающие силы?

Мила задумчиво провела ладонью по лицу.

— Не знаю. Человеческая мудрость сильно выросла. А доброта?

— Я думаю, рост культуры смягчает и нравы.

— Возможно, — кивнула Мила и спросила неожиданно: — Как вы думаете, сколько людей было замучено в застенках инквизиции? Учтите, что длилась она четыре века...

— Миллион? — спросил я наугад. — Или два?

Мила покачала головой.

— Тридцать две тысячи человек. За четыреста с лишним лет. А в Освенциме за четыре года фашисты уничтожили более четырех миллионов человек. А потом атомная бомба в одно мгновение испепелила сто тысяч человек в Хиросиме.

— Люда, Людочка, Мила! Это же не то совсем! Ведь люди не могут и не должны забыть свою накопленную в муках мудрость.

— Так и я не об этом. С развитием мудрости все обстоит прекрасно. Вот с добром сильные перебои. А мудрость без добра обязательно вырастает в злодейство.

— Но ведь любому искусству противно злодейство? — сказал я негромко, возвращая разговор к не понятному мной началу.

— Конечно, — легко согласилась Мила. — Только новое искусство острее чувствует неравновесие добра и мудрости. Поэтому оно тяготеет к разрушению. А разрушение не может создать новой сказки...

В это время в оркестре, видимо, перестали настраивать инструменты, потому что музыканты сделали перерыв. Официант принес вино и закуски, и я очень обрадовался этому — я плохо понимал, о чем говорит Мила, что-то меня не устраивало в ее рассуждениях, но возражения не приходили в голову, и от этого я чувствовал себя совершенным дураком. Я разлил в бокалы вино и сказал:

— Милочка, давайте выпьем за «самых-самых» архивистов.

— Таких не бывает, — усмехнулась Мила.

— Да, не бывает. Потому что они все — «самые-самые». Пройдут годы, много-много лет, придут на земле в равновесие добро и мудрость, и тогда обязательно найдутся люди, и будет их много, таких людей, которые захотят узнать, как же все это происходило. И тогда выяснится, что вы сохранили для них законсервированное время, уберегли память обо всех событиях и обо всех людях, живших в трудные времена соревнования добра с мудростью, потому что и на ваших папках, наверное, стоят печати «Хранить вечно!», а вечность — это, видимо, очень долго...

Люда-Людочка-Мила посмотрела ласково на меня и провела своей ладонью по моей руке, и у меня защемило сердце, потому что совсем недавно точно так же гладила мою руку Лена, и я пожалел, что постеснялся сейчас заказать себе борщ — ведь в сказках он много уместнее, чем кофе с коньяком, даже если ты его заказываешь в кавказском ресторане, где нельзя угадать, когда музыканты перестали настраивать инструменты и начали играть.

— Давайте выпьем за них, — кивнула Мила. — И еще давайте выпьем за Калинина, Бурдзенюка и Скоробогатова. Благодаря им я не бросила свою работу.

— А кто они? Ваши учителя?

Мила покачала головой:

— Они умерли задолго до того, как я родилась. А узнала я о них, когда уже пришла работать в архив. Честно говоря, работу свою ненавидела, казалась она мне кротовой, унылой, никому не нужной. Но однажды я услышала радиопередачу о подвиге Николая Гастелло: «...и тогда командир бомбардировщика направил свою машину в середину вражеской колонны...» Я слышала и читала об этом много раз, но в тот день что-то остановило мое внимание, хотя я и не могла никак сообразить — что именно? И вдруг поняла — бомбардировщик! Ведь бомбардировщик — многоместная машина, ее экипаж состоит из нескольких человек. Но я всегда слышала только про Гастелло. Я строила всевозможные догадки и предположения: может быть, экипаж выпрыгнул на парашютах или, возможно, они уже погибли к тому времени, когда Гастелло принял свое решение? Или они тоже приняли решение погибнуть вместе с командиром? Тогда почему о них нигде и ничего я никогда не слышала? И эти мысли не давали мне покоя, мучили как наваждение. Я стала наводить справки и вскоре получила ответ: решение пикировать на танковую колонну было принято всем экипажем — Гастелло, Калининым, Бурдзенюком и Скоробогатовым. И весь экипаж погиб. А я поняла, что кто-то должен стоять на карауле памяти тех, к кому слава не пришла даже после смерти. Люди ведь должны помнить и о них тоже...

Мы чокнулись, и я подумал, что слава — порождение мудрости и пути ее прихотливы, а скорбь и память — от добра и потому вечны.

ГЛАВА 16 ШАМАН ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Такси подвернулось почти сразу. Шофер попался болтун, всю дорогу он вел со мной заунывный разговор-монолог о тяготах таксистской жизни. За окном мелькали желтые мятые огни, редкие встречные машины, и все время что-то бубнил таксист. Я сказал ему:

— Ну-ка притормози около кукольного театра...

До полуночи оставалось две минуты. Я вылез из такси, облокотился на крыло, закурил. Все дверцы на

удивительных часах кукольного театра были еще закрыты. Куклы готовились к представлению, которое они собирались сейчас устроить специально для меня. Потому что, кроме меня, никого не было на Садовой около кукольного театра — в без одной минуты полночь. Проносились мимо с гудением и ревом машины, проплыл не спеша почти пустой троллейбус — всем на улице было не до кукол, без одной минуты полночь, надо спешить домой, надо торопиться лечь в постель, надо успеть еще проспать семь-восемь часов, завтра надо идти к станкам, на стройки, в институты. Надо спешить жить, надо торопиться жить правильно, потому что не спеша в правильной жизни совсем ничего не получишь, надо успеть много сделать, чтобы в правильной жизни урвать хоть немного из того, что люди не спеша, зато легко и быстро получают неправильной жизнью. Тем, кто живет правильно, некогда смотреть в полночь кукольное представление на необыкновенных часах, потому что куклы — это куклы, это игра, это несерьезно, а все правильные люди жутко серьезные. Правильному человеку некогда рассматривать по ночам кукольный театр и не для него эти куклы и часы, зачем-то очень сложно сделанные, и, наверное, совсем глупо, с его точки зрения, вместо цифры двенадцать, знака полуночи, делать избушку, из которой выскакивает веселый и беззаботный золотой петушок, и открываются двери остальных волшебных домов, и выходят оттуда смешные куклы и зверушки, и очень широко — настежь — открыты для меня двенадцать домов в Москве, единственные двенадцать домов, где распахнуты для меня двери. Целую минуту открыты двери, они зовут меня в гости, потому что только я один знаю, что все мы куклы. И я, и Тихонов, и Окунь, и Шарапов, все мы смешные, нелепые куклы, которые по команде времени оживают, начинают дергаться, кривляться, воровать, ловить, допрашивать, скрываться, и, кроме меня, никто не хочет понять, что дана нам всего одна минута — отзвонят колокольчики, стихнет музыка, и стрелка загонит нас обратно в свои избушки на циферблате жизни, захлопнутся дверки, и будем мы сидеть в темноте и тишине, и только время будет господствовать над нами, и только стрелка, как палочка дирижера, будет выпускать нас по очереди на свободу, пока не пройдет снова очень много времени, чтобы мы все вместе вновь встретились в полночь или

в полдень, потому что, только собравшись вместе, каждый из нас становится самим собой.

Умолк звон, захлопнулись с металлическим стуком дверцы, снова стало на улице пусто. Я сел в машину.

— А куда вам в Марьиной роще? — спросил таксист.

— Третий проезд, к товарному двору Рижского вокзала.

Машина, с треском и сипением набирая скорость, помчалась по Краснопролетарской.

Когда-то было здесь вольготно — в каждом втором доме притон, «малина», хаза. Если у вора случалась беда, топал он в Марьину рощу. Здесь находил и кров, и жратву, и нужной копейкой разживался. Трущобы тут стояли кошмарные. Но покончили со всем этим навсегда. Воров большей частью переловили, «барыг» — скупщиков краденого — и девиц наилегчайшего поведения перековали и заставили трудиться, а трущобы снесли. Понастроили больших домов, бульвары проложили, прямо тебе Париж. Только около самой железной дороги осталось несколько хибар-развалюх, дожидавшихся очереди на снос. В третьем домике от полотна живет Шаман. Если, конечно, домик тот еще стоит, а то, может быть, Шаман уже в собственной трехкомнатной квартире панует. Смешно, ей-богу! Шаман сколько жил, столько Советской власти пакостил, а вот теперь не сегодня-завтра квартиру дадут. А может быть, уже дали — давно я у него не был.

Домик Шамана стоял на месте. Я расплатился с таксистом, подождал, пока он развернется на пустыре и уедет, потом постучал во второе окно от угла. Окно было темное, никто долго не откликнулся. Я постучал сильнее. За стеклом, тускло отсвечивавшим в холодном мерцании молодой синеватой луны, как из омута, всплыло одутловатое лицо утопленника.

— Кто там? — хрипло спросил утопленник.

— Свои.

— У нас все свои дома, — сказал утопленник, прижимая толстую небритую рожу к стеклу. — Кто «свои»?

— Батон.

— Ишь ты, смотри, пожаловал... — Утопленник снова нырнул в пучину.

Звякнула щеколда, закрипела дверь, с грохотом покатилося ведро, хриплый голос матюгнулся.

— Иди, что ли, коль пришел. Не студи меня, и так грыпп замучил.

Я шагнул в сени, и удушливый теплый смрад плеснул в лицо струей из компрессора. У Шамана воняло как в тюрьме. И еще псиной, кошачьей мочой, прокисшей мокрой шерстью. Ударился о кадушку, снова загремело под ногами ведро, глухо брякнуло на стене корыто. Шаман щелкнул выключателем, стало чуть светлее, но только чуть-чуть, потому что пятнадцатисвечевая лампочка была прикрыта прогоревшим, загаженным мухами бумажным абажурчиком. Грязь, беспорядок, вонь.

Я присел на колченогий стул, Шаман стоял передо мной в синих трикотажных кальсонах, накинув на плечи рваный тулуп.

— Один живешь по-прежнему? — спросил я.

— Один.

В углу, где темнота делала предметы неразличимыми, кто-то завозился и хрипло зевнул.

— А это кто?

— Пес мой, Захар.

— Слушай, Шаман, ты же богатый. На что тебе деньги, коли ты в таком убожестве проживаешь?

— А ты кто такой, чтобы мое богатство считать? Я тебя в душеприказчики не приглашал, — от одного упоминания о деньгах Шаман рассердился, и сразу стало почти ничего не понятно из того, что он говорит. У него очень много щек, губ, языка, и когда он сердится, все это мясное рагу подается собеседнику в разжеванном виде.

— Да нет, я просто прикинул, сколько всего я перетаскал к тебе и сколько у тебя должно было остаться...

— Что было, то прошло, а что осталось, то мое, — буркнул Шаман. — Ты зачем ко мне пришел?

— Да вот хотел с тобой посудачить, а разговор у нас что-то не завязывается.

— Разговор не узел на мешке, чего его завязывать. Ты говори, зачем пришел, и иди себе. Я тебе не компания — гусь свинье не товарищ.

— Ишь как ты разговорился-то. Только я не гусь,

а орел. А ты и есть самая распоследняя собачья свинья, если ты старого товарища так встречаешь.

— Были, были мы товарищи. И еще был я барыга сдатный, а ты вор везучий. На том и товариществовали. А теперь я веду жизнь тихую, законом дозволенную, не нужно мне от тебя заработков.

— Шаман, никак и ты завязал? Что это на всех вас напало, как китайский грипп? Слушай, может быть, ты членом профсоюза стал?

— А что? А что? И стал! И бюллетень мне положен и отпуск — все как у людей, — сердито забубнил Шаман.

— А со старых заработков не просят уплатить взносы?

— Кто же о них знает? — искренне ответил Шаман. — А делать больше шахер-махер нет резона. И накопленным попользоваться не успеешь — вмиг загремишь какую-нибудь гидростанцию строить.

— То-то я вижу, как ты пользуешься накопленное! Прямо прожигаешь жизнь. А с бабами как устроишься?

— Ни к чему мне это. Пора о душе подумать.

— Ну ты даешь... А работой доволен?

— Ничего работа, не соскучишься.

— Зарботок приличный?

— Хватает.

— А где служишь-то?

— В лечебнице ветеринарной. Ты ведь знаешь, я животных люблю.

— Санитаром, что ли?

— Навроде этого. На машине санитарной. По дворам, по улицам отлавливаем бродячих кошек и собак.

— А потом что?

— Если здоровые — в институты их для опытов передают, а больных усыпляем. Укольчик кольнули — пшик, и готово!

Я как-то по-новому посмотрел на него — мордатая, опухшая орясина в синих кальсонах. Душегуб. Его по-другому и назвать нельзя было — душегуб, и только.

— Ты чего так смотришь на меня? — спросил Шаман со злобой, с вызовом спросил.

— Никак я на тебя не смотрю, смотреть на тебя противно.

— Ага, противно! — забарабошил Шаман. — А я вот с радостью свою работу сполняю, хотя мне собак и жалко маленько...

— А кошек?

— А кошек, когда ловлю, как будто с вами скви-тываюсь...

— С кем это — с нами?

— С блатными, с вами, проклятущими, мокрушниками, ширмачами, домушниками — гадами блатными, что себя «в законе» считают...

— А чем же это мы тебе насолили? Ты ведь, как пиявка, от нас и жил всегда!

— А страху от вас сколько я претерпел? И милиции всегда боялся, а вас еще пуще. То-то вы всегда деньги мои считали, не раз, наверное, на меня зарились, по глотке «пиской» полоснуть и в подвале у меня пошустрить. Спасибо, Захарушка рядом... А теперя конец — ничего вы у меня не найдете, и помру, копейки вам не перепадет. Надежно себя я обеспечил, надежно, не боюсь...

— Дурак ты, Шаман, и псих к тому же. Только кошки здесь при чем?

— Как же ни при чем? Вот собака — она во всем человек и кошку смертно ненавидит, потому что кошка — это как есть вылитый блатной, как есть «вор-законник»! Нрав у этой животной — точный копий с уголовного. И кошек я ловить научился, как МУР вас всех, проклятых, ловит.

На мгновение мне стало страшно, потому что показалось, что он совсем с катушек сорвался. И все-таки я его спросил:

— Чем же это кошка на блатного похожа?

— А всем. Повадки те же, и бессовестность, и нахальство, и ни памяти, ни благодарности, а только форс да жадность глупая!

Меня это заинтересовало, я сказал ему:

— А ты поточнее, с подробностями расскажи, потому что я душегубством не занимаюсь, как ты, откуда мне про кошачьи ухватки знать...

— Так ты на себя оглядись и, как в зеркале, углядишь кошачий лик!

— Чего же я там узрю? Глаза у меня черные, а не зеленые, волос седой, усов не ношу.

— Душа! Душа у тебя как у кота — черная.

Теперь я уже не сомневался, что Шаман сошел с ума. А он продолжал:

— Вот гляди, кот всегда, понимаешь, всегда живет один. Сам живет как блатной, и кошка ему всегда только на раз нужна — как вам. Не бывает у котов товарищей. Собаки от силы своей промеж себя дерутся, как люди в бокс, а коты только от жадности и злобы, потому что у каждой кошки есть свой участок земли, где она себя хозяином почитает. И это у них как у вас. Вы ведь себе местечко отхватите и держите за него железно «мазу», чужой не залетай. Так я говорю?

— Так, — кивнул я.

Шаман всерьез разволновался, он барабошил, шепелявил, глотал слова, жевал и выплевывал целые пригоршни звуков.

— А как появится урка понахальней да посильнее, так у вас пошел в ход кошачий закон — толковище за место на «бану». Пришел такой кот на помойку, где один уже хозяйнует, и начинают они орать дико, будто кипятком их шпарят. А орут они от трусости своей, хотят визгом пугануть друг друга и драться бояться. Хвосты к земле жмут, кончики дрожат, как головы змеинные елозят. И как видят, что не разойтись, так один, что понахальнее, когтями второму по носу да по глазам, как вы своими «писками»! И каждый норовит сзади заскочить, затылок зубами уцепить, только бы не харей в харю! Только сзади, сзади, этак трұсам и подлецам завсегда удобнее!

— Почему же трусам? — спросил я. — А ты разве не видел никогда, как котенок здорового пса шугает?

— Конечно, видел! — счастливо осклабился Шаман. — Потому что маленький кот, он уже вроде приблатненный хулиган с ножом в кармане, и его пес али человек тихий завсегда боится, и завсегда ему уступит, потому как у того за душой, кроме глупой отчаянности, нахальства, на его ножик опертого, ничего нет, и обычный человек его опасается, смерть принять от глупой злобы не хочет...

— Ну-ну... Значит, за нас с котами расчет ведешь?

— Веду! Он на крысу охоту ведет, а я на него с сетью. Хлоп, меня-то криком его подлым не спугаешь! И в сетке сидит, гад! А я уж с первого взгляда скажу — лучше ветеринара — есть у него лишай или он еще в

институте для науки поживет! А коли у него лишай, то все — не уйти ему от моей сетки, не уйти ему от моей клетки, у меня ему место приготовлено...

Сумасшедший экстаз уже полностью захватил его, смотреть на него было невыносимо страшно. Делать здесь было нечего — конечно, денег он мне в долг не даст, даже если успокоится. Я осторожно двигался поближе к двери, почему-то опасаясь, что он выхватит откуда-нибудь из тряпья сетку и, накинув на меня, потащит к своим лишайным кошкам. И денег от него я уже не хотел — зачем они одинокому, больному паршой и лишаем коту, прячущемуся на помойке большого, совсем чужого ему города...

ГЛАВА 17 ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Утренняя «пятиминутка» подошла к концу. Я быстро подытожил нехитрый наш улов за вчерашний день.

— Какие планы на сегодня? — спросил Шарапов.

— Из адресного бюро сообщили, что Сытников проживает в Зареченске, это маленький городок в Тульской области, — сказал я. — Савельев отправил телеграфный запрос в горотдел милиции — пусть сообщат, что он за человек, чем занимается. А сейчас мы поедem в гостиницу «Украина», попробуем что-нибудь разузнать про Фаусто Кастелли. Мало ли что бывает — может быть, он обслуге чем-то запомнился...

В гостинице «Украина» царила предпраздничная суета. В вестибюле, как во времена вавилонской постройки, стоял гул от перемешавшихся языков, но люди, по-видимому, прекрасно понимали друг друга, а если и не понимали, то, наверное, не сильно огорчались от этого. Маленькие, невзрачные, голодные на вид индусы с бесценными перстнями на пальцах, чрезвычайно авантюрные шведские клерки, сухоногие негритянки с лилейно-белыми переводчицами, юркие французские коммерсанты, солидные, весьма респектабельные голландские дочери из профсоюзной делегации, длинноволосые американские студенты, беседующие о чем-то с увешанными орденами маленькими вьетнамцами в военной форме...

Горничная Клавдия Васильевна Анохина сказала, что Кастелли ей не понравился:

— Ну как же, у нас работает комиссия общественная по чистоте номеров, соревнуемся за звание лучшего этажа, а он целый день из номера не выходит. А когда генеральную уборку делать? Хоть после работы оставаясь, да он ведь и вечером никуда. Харчи из ресторана заказывал в номер, ему даже спуститься пообедать лень было. А так плохого ничего не скажу, вежливый он проживающий был, конечно. Или чтобы это... в номер водить — ни-ни. Бутылок только много вытащила после него, красивые такие бутылки, здоровые, дай бог память, как называются... А-а, вспомнила — «Синцано»!

— «Чинзано», — подсказал Сашка.

— Может, и так, — равнодушно сказала горничная.

— Клавдия Васильевна, а бутылочки вы куда дели? — спросил с надеждой Сашка.

Она удивленно взглянула на него:

— Как куда? Выкинула! А на что они? Ведь все одно пустые, а обратно их не принимают. Кабы полные...

— Мне полные нельзя, — сказал Сашка. — Я инвалид обеденного стола — язва у меня.

— Э, милоч, то-то я смотрю, ты такой бледный, — посочувствовала Клавдия Васильевна.

— И не говорите прямо, — вошел в роль Сашка. — Это у меня с году от рождения — бледность такая. А потом и волосы от более покраснели.

Клавдия Васильевна недоуменно и несколько подозрительно посмотрела на него — неужто и такое бывает? Сашка, не давая ей опомниться, быстро спросил:

— А что, Клавдия Васильевна, вы бутылки из номера по мере осушения выносили или после отъезда все разом?

— После отъезда, конечно, а то как можно? Вдруг они ему понадобятся?

— На обмен, например? — подмигнул Сашка. — В валютном баре — там ведь бутылки только на обмен. Десять бутылок сдал — тебе флягу «Мартеля»!

Горничная рассмеялась:

— Вот вы шутники какие! Как будто и не из милиции...

— У нас сейчас все такие. Так что же, вынесли вы, значит, все бутылки и куда их?

— В мусоропровод. Ой, батюшки мои, напомнили вы мне. Я же ведь Зине с двенадцатого этажа обещала для каустика две бутылки оставить!

— Так, так, так! И где бутылочки?

— Да если не выкинули, в дежурке стоять должны. За шкафом. Они ведь удобные — пробка с винтом, вот Зина у меня и попросила. А сама забюллетенила, до сих пор на больничном...

Бутылки спокойно стояли за шкафом, слегка припудренные пылью, две литровые бутылки из-под аперитива «Чинзано-Бьянко» и шотландского виски «Маккинли», две бутылки с винтовыми пробками, оставленные Фаусто Кастелли, забытые Клавдией Васильевной, не истребованные забюллетенившей Зиной с двенадцатого этажа, найденные Сашкой, твердо знающим, что по-другому просто не может быть. И очень многие события в моей жизни и в жизни других людей могли предопределить две пустые запыленные бутылки за шкафом в дежурке для горничных.

— Я их вам сейчас в момент оботру, — сказала Клавдия Васильевна. — Тряпочкой мокрой.

Мы засмеялись, а Сашка ответил:

— Если бы это произошло, мне бы ничего не оставалось другого, кроме как пойти и купить себе полную. Это, говорят, даже с язвой успокаивает. Лучше дайте мне резиновые перчатки, в которых вы санузлы моете.

Ничего не понимающая горничная протянула перчатку. Сашка ловко натянул ее и осторожно выудил из-за шкафа по очереди обе бутылки, держа их за донышко и верхнюю часть пробок.

— Клавдия Васильевна, кроме вас, никто эти бутылки не трогал? — спросил я.

Женщина недоуменно пожала плечами:

— А бес их знает. Я, помню, все бутылки вытащила на лестничную клетку к мусоропроводу, а эти принесла прямо сюда. Вроде на том же месте и стоят...

— Мы вас попросим после работы заехать к нам на Петровку, 38. Буквально на десять минут — мы должны снять у вас отпечатки пальцев, чтобы отличить их на бутылке.

— Не было печали, — с досадой сказала горничная. — Перед праздником в доме хлопот полон рот, а тут на тебе!

— Клавдия Васильевна, голубушка вы моя нежная, — проникновенно сказал Сашка, — а вы думаете, у меня это развлечение такое — перед праздником по гостиницам ходить и собирать бутылки? Особенно когда язва бушует?

При этом выражение лица у него было такое, что я и сам понял, как это ужасно, когда перед праздником у человека бушует язва. Я даже позабыл в этот момент, что Сашка понятия не имеет, где у него находится желудок.

— Ну раз надо... — вздохнула женщина. — Раз дело — ничего не напишешь...

— В том-то и дело, что дело, — сказал серьезно Сашка. — А что, Клавдия Васильевна, не замечали вы, часто напивался этот ваш жилец?

— Так как вам сказать — по нему не поймешь. Когда к нему в номер ни зайду, лежит он на кровати одетый и курит. Сигарету за сигаретой, я ведь за ним выносила каждый день чуть не полную урну окурков да пустых пачек. А на столике рядом с кроватью пара бутылок и стакан. Лежит и цедит, лежит и цедит, глядь — к вечеру еще две пустые бутылки. А сам вроде ни в одном глазу. Раз только напился сильно: утром рано куда-то умотал, явился к ночи, а часа через два из соседнего номера — тридцать шестого — звонят и просят унять его, а то, мол, покоя нет — песни во всю глотку горланит...

— К нему приходил кто-нибудь? — спросил я.

— Ни разу не видела. Да и сам он вот только в тот раз отлучался, а то все время сидел в номере, даже обедал у себя. Вечером лишь спустится в ресторан поужинать и сразу к себе. А так, чтобы в музей или театр — это нет...

— Вы с ним разговаривали? — спросил я. — Вообще-то как он по-русски говорит?

— Так себе — с пятого на десятое. Но понять можно.

— Вам хорошо, — улыбнулся Сашка, — а мы вот ничего пока понять не можем.

— А он что — натворил что-нибудь? Случилось чего?

— Случилось, — сказал я. — Чемодан у него украли.

— А-а, я-то думала, невеста что произошло, — разочарованно протянула Клавдия Васильевна.

— Пока бог миловал, — окончательно успокоил ее Сашка.

— Для всякого толкового расследования необходима какая-то единая линия, канва, тема, — сказал я Шарапову. — А здесь ничего. Ключья, обрывки. Все смешалось — времена, события, люди, пространство, вещи. Из-за этого я не могу отработать никакой системы, отобрать нужные факты, принять, наконец, какие-то решения...

Шарапов не моргая смотрел на лампу, затененную зеленым плафоном, покусывая кончик карандаша, а из открытого окна доносился сюда тихий теплый вечерний шум.

Долго сидели молча, потом я сказал:

— Ну есть у нас теперь пальцы этого Кастелли. А дальше что?

— Завтра комиссар будет в министерстве докладывать справку по делу, — сказал наконец Шарапов. — Я предложил направить ее в Болгарию...

Теперь машинистки перепечатают нашу справку на мелованной бумаге с водяными знаками, которая называется «верже», начальники поставят свои подписи, печати, справку положат в плотный конверт с черной светонепроницаемой подкладкой, пять кипящих клякс красного сургуча с продетой шелковой нитью застынут на пакете, ляжет сверху штамп «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», и фельдкурьер помчит депешу в далекую добрую солнечную страну, где бесследно исчез для меня Фаусто Кастелли.

— Слушай, Владимир Иванович, зачем он в сервис-бюро узнавал про Ясную Поляну? Ведь не интересовало его это ничего?

— Не знаю. Правда, Ясная Поляна находится в двадцати двух километрах от Зареченска. А там проживает твой единственный семеновец — Сытников. Это тоже только предположение...

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Шарапов, и в проеме появилось обескураженное лицо Савельева.

— Телеграмма пришла из Зареченска насчет Сыт-никова, — Сашка замолчал, и я увидел, что ему не до шуток. Мы тоже молчали, и тогда он растерянно сказал:

— Как говорят в Одессе, будете смеяться... но он тоже умер...

— Когда? — одновременно спросили мы с Шараповым и переглянулись.

— Семь недель назад — шестнадцатого марта, — сказал Сашка и, взглянув на наши лица, покачал головой. — Нет, нет, Кастелли прибыл в Москву третьего апреля...

ГЛАВА 18 ТИХАЯ ГАВАНЬ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

В буфете центрального аэровокзала было пусто, тепло, тихо. Двое пьяненьких командированных уныло, настырно спорили, и до меня долетели всплески их волнений: «Я те грю — врет он, нет фондов... Сам врешь — он челоек железный... Хоть золотой — нема металла... Тебе — нема, а мне — ма...»

Усталой шаркающей походкой подошла официантка, не глядя на меня, спросила:

— Что будете заказывать?

Я опустил на стол «Вечерку», посмотрел в ее мягкое округлое лицо и заказал:

— Принесите мне две порции счастья...

Она взглянула на меня, стряхнув сонную одурь, и ни радости, ни злости, даже удивления я не прочитал в ее глазах. И, как будто мы уже час разговаривали, сказала:

— Для одного двух счастлих многовато...

— А я для себя одно прошу. Второе — для тебя.

— Ты мне однажды уже преподнес... До сих пор сы-та по горло.

— Брось злобу держать, Зося. Ты ведь и тогда все понимала. Не маленькая была.

— Не маленькая, — кивнула она согласно. — Все понимала. И злобу не держу.

— А чего же ты говоришь со мной так?

— Как «так»?

— Ну не знаю я, в общем, плохо говоришь.

Она усмехнулась, грустно как-то усмехнулась, рас-
терянно.

— Станный вы народ, мужики. Ну вот было у нас с тобой всякое разное... Может, это для тебя так, раз плюнуть, начихать и позабыть, во всяком случае, укатил ты, до свидания сказать не захотел... А сейчас являешься — нате вам, бросайтесь на шею! Так, что ли?

— Может, и так, кто его знает... А не хочешь, не бросайся. Но поговорить-то как люди можем ведь?

— Можем, — сказала она безразлично.

И меня вдруг охватила ужасная усталость, серая, вязкая, будто бросили меня в бочку с густеющим цементом, и с каждой секундой засасывала эта усталость все сильнее, и трудно было шевельнуть рукой или ногой, चु-гунели мышцы, глаза слипались и болели, шее стало неважно держать мою голову, набитую тяжелыми всякими мыслями. Я откинулся на спинку стула, с усилием открыл глаза, подумав, что слишком уж долгим получился сегодняшний день. Над Зосиной головой ярко светились цифры на электрическом табло часов — 03.16. Четверть четвертого, и если Зося не пустит к себе, дойду до медпункта и симульну сердечный приступ — пускай везут в больницу, там хоть отоспаться можно будет. И вообще хорошо было бы недельку полежать в больнице, чтобы ухаживали все за тобой, таскали из-под тебя утки, и где твоя сердечная болезнь — настоящая или придуманная — обязывает всех носиться с тобой, будто ты лауреат или герой какой. Я бы, наверное, еще чего-нибудь придумал по этому поводу, но Зося наклонилась ко мне и быстро провела ладонью по моему лбу, и я успел почувствовать, что ладонь у нее по-прежнему мягкая, ласковая, легкая.

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Да.

— Что с тобой, Леша?

— Заболел я.

— Серьезно? — и в голосе ее я уловил беспокойство.

— Уж куда серьезнее!

— А что у тебя болит? — И она снова наклонилась ко мне.

— Ничего у меня не болит. При моей болезни ничего не болит у человека, все у него замечательно, и все анализы — на большой.

— Так что же у тебя?

— Я земного тяготения больше не чувствую...

— Шутишь все?

— Какие там шутки! Не держит меня земля чего-то больше.

— У тебя все не как у людей, всех держит, а тебя одного не держит!

— Это не меня одного. Сегодня меня один тип уверял, что целую профессию земля больше держать не хочет.

Зося скривила свое мягкое круглое лицо, будто по ошибке глотнула ложку горчицы.

— Про-офес-сию! Пропади она пропадом, твоя профессия!

— Зося, так ведь и я с ней вместе пропаду, с профессией-то моей...

Она быстро опустила глаза, но я успел заметить мелькнувшее на ее лице чувство горечи и досады, помолчала она и не спеша сказала:

— Ну что ж, коли ты без своей профессии замечательной жить не можешь, то лучше бы и тебе пропасть. Никто не пожалеет...

— И ты не пожалеешь?

Зося беспомощно пожала своими круглыми плечами, покорно и обреченно сказала:

— Я пожалею. Да что толку?

— Как это что толку? Пока есть хоть один человек, который пожалеет обо мне, пропадать еще рано!

Она присела на край стула, устало, по-старушечьи сложила руки под грудью, покачала головой:

— Эх, Леша, не видишь ты себя со стороны...

— На артиста Миронова не похож?

Зося шутку не поняла, будто не слышала, а все качала головой устало и обреченно, с трудом, будто не слово, а войлочный ком выдавила из горла:

— На зверя ты, Леша, похож. На загнанного лесного зверя...

Она все качала головой, и я не заметил, как из глаза, почему-то только из одного, из левого глаза у нее побежала круглая светлая капелька, и я некстати вспомнил, что сережки с одним круглым бриллианчиком называются «слезки».

— Зося, никто и ничто мне пока не грозит. Почему ты думаешь, что меня загнали?

— Леша, беда в том, что ты меня умнее и сильнее.

Разве ты поверишь глупой простой бабе, когда ты можешь любого умника в два счета охмурить?

— А чего я тебе должен верить?

— А то, что никому и не надо тебе грозить. Ты сам с собой так расправишься, что ни одному твоему врагу будет не под силу...

И снова волной накатила усталость, сковала, утопила в себе и раздавила она меня, распластывала, как глубинную донную рыбу, темной толщей черной воды наваливалась невыносимо, и казалось мне, что глаз у меня, как у камбалы — один. И пузырьками уходящего воздуха прыгали электрические цифры светящихся часов. И слова Зоси были неясные, малопонятные, будто не говорила она со мной, а лениво шлепала ладонью по стоячей воде.

— Один ты всегда... Алеша... Товарищи тебе не нужны... И дети... И семья не нужна... Ты только говоришь, что страху не знаешь... Сердце твое, как доска шашелем, страхом изъедена... Чужим живешь, за каждый глоток страхом платишь... Голубь сизарь крошки подбирает, и то за каждую его испуг колотит... От страха и одиночества сердце у тебя стало дряхлое и злое. Любовь тебе не нужна, а только баба теплая... И сочувствие тебе ни к чему, а нужна тебе комната для укрытия... И земля тебя не держит, потому что ты за всю свою жизнь ни одного корешка мало-мальского не пустил в эту землю... Опереться тебе не на что и удержать тебя на ней некому...

Всполошно бежали светящиеся цифры на этом сумасшедшем циферблате, и единственный мой камбаловый глаз болел от их мелькания, будто вместе с ними вылетали клубочки стеклянной пыли едучей, и всю ее загребал я ресницами в усталый, воспаленный глаз.

— А ты? А ты не будешь меня удерживать? — спросил я тяжелыми, непослушными губами.

— Так что я? Ты ведь ко мне приходишь, когда вода под горлышко подступает. Оклемаешься, отдышишься, по сторонам оглядишься — прощай на сколько-то месяцев!

Губы у нее были розовые, чуть-чуть выпяченные, будто надула она их, чтобы обиду мне свою показать, хоть я знал, что не обижается на меня Зося, что никогда она не обижается на меня, и обижаться никогда на меня не будет до того момента, пока не встретит мужика, ко-

торый вычеркнет меня из ее памяти, будто и не жил я на земле, и не было у нас с ней всякого разного, и не бросила она ради недолгой и холодной любви моей безоглядно и навсегда такого редкостного парня, как Сенька Бакума, который любил ее так сильно, что, не раздумывая, плюнул на старого и верного своего блатного кореша, а я наверняка знаю, что, коли он на такое решился, значит, захотела бы только Зося, и завязал бы он навсегда с воровством.

— Пропадешь ты, Алеша, — сказала она просто и грустно. — Совсем пропадешь.

— Тыфу, дура! Сглазишь ведь, — и сил рассердиться на нее тоже не было, черт с ней, пускай бормочет, пусть ее причитает, я им еще всем покажу.

— Эх, Леша, Леша, тебе бы, умному, немного моей дурости...

Я был на все согласен, только бы поскорее лечь, вытянуться на постели, ощутить ласковую прохладу неналеженной простыни, и понесет эта летучая простыня как ковер-самолет в невесомость, беззаботность, беспмятство, легкое и приятное, как прикосновение мягких Зосиных рук. А рядом неощутимо, неслышно будет дышать Зося, и достаточно будет пошевелить рукой, и дотронуться до нее, и не станет кошмаров, ужасного бреда моих одиноких сновидений. Для этого мне надо было согласиться только принять часть ее дурости...

— Ладно, Зося, заживем по-хорошему. Только не надо сейчас говорить об этом. У меня больше сил нет.

Она погладила меня по лицу ладонью, будто я совсем маленький и она своей нежной рукой умывает меня перед школой, а я засиделся вчера поздно за уроками и сейчас невыносимо просыпаться, но гремит уже по радио марш физкультурной зарядки и мужской голос, гладкий, бодрый, задорненький, физкультурный голос, который я ненавижу с детства, командует мне: «Подтягиваемся на мысочки... Руки на пояс, товарищи... Глубокий вдох... И-раз...» И я знаю, что нельзя спать, и доносится голос Зоси — «потерпи немного, родненький», и охватывает меня сонная сумасшедшая радость — кажется мне, будто Зося — это моя мать, моя мама, моя мамочка, ласковая, красивая, никогда в жизни не было у нее никакого аграфа и колье, и не лупила каменными ладонями по щекам со всего размаху, не отказывалась она от меня в суде через газету, да, впрочем, и суда

ведь никакого не было — откуда ему взяться, когда я совсем еще маленький и меня умывает добрыми мягкими руками перед школой моя мама по имени Зося, и только неприятно мне, что смотрит на нее противным липким глазом своим адвокат Окунь, вижу я, как хочется отобрать ему мою мать, которую я столько лет не видел, поэтому показываю я ему кулак и говорю сквозь зубы: «Пропадитысукапропадом, наматайтебекишкинаголову», — а он идет к моему столику, на Зосю глазом своим черным с поволокою кнацает, грудью наливной поигрывает, икрами мясными толстыми вздрагивает, и зад крутой, похотливый из-под куцега пиджака вытарчивает, тогда лезу я в карман за бритвою своей — острой «пискою», и заливаает меня испуг, как кипятком обваривает, — ведь не может быть у меня «писки», я же маленький, меня мама перед школой умывает, а Окунь, гад, хохочет пронзительно, от радости подвизгивает, и из-за спины своей толстой выхватывает сетку, над головой моей машет, кричит, хохотом давится: «К котам, к больным паршивым котам его на усыпление! Смотрите, он и так уже усыпает! Усыпает! Усыпает!»

С хрипом, в мыле, весь я был липкий от пота, сердце под горлом почти заткнулось, вскочил я и увидел, что Зося стоит рядом, уже в плаще, гладит меня по плечу осторожно, тихонько бормочет:

— Прямо на ходу усыпaeшь...

Я потряс головой, отдышался, спросил задушливо:

— Тебя уже отпустили?

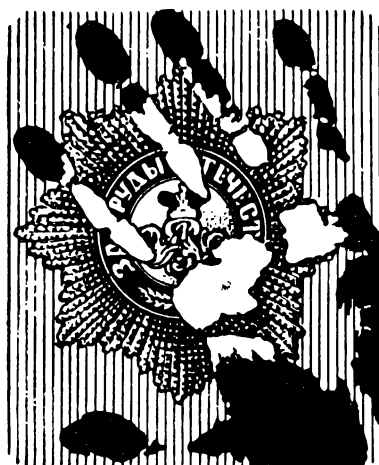
— Напарница меня подменит. Пошли, ты еле на ногах стоишь.

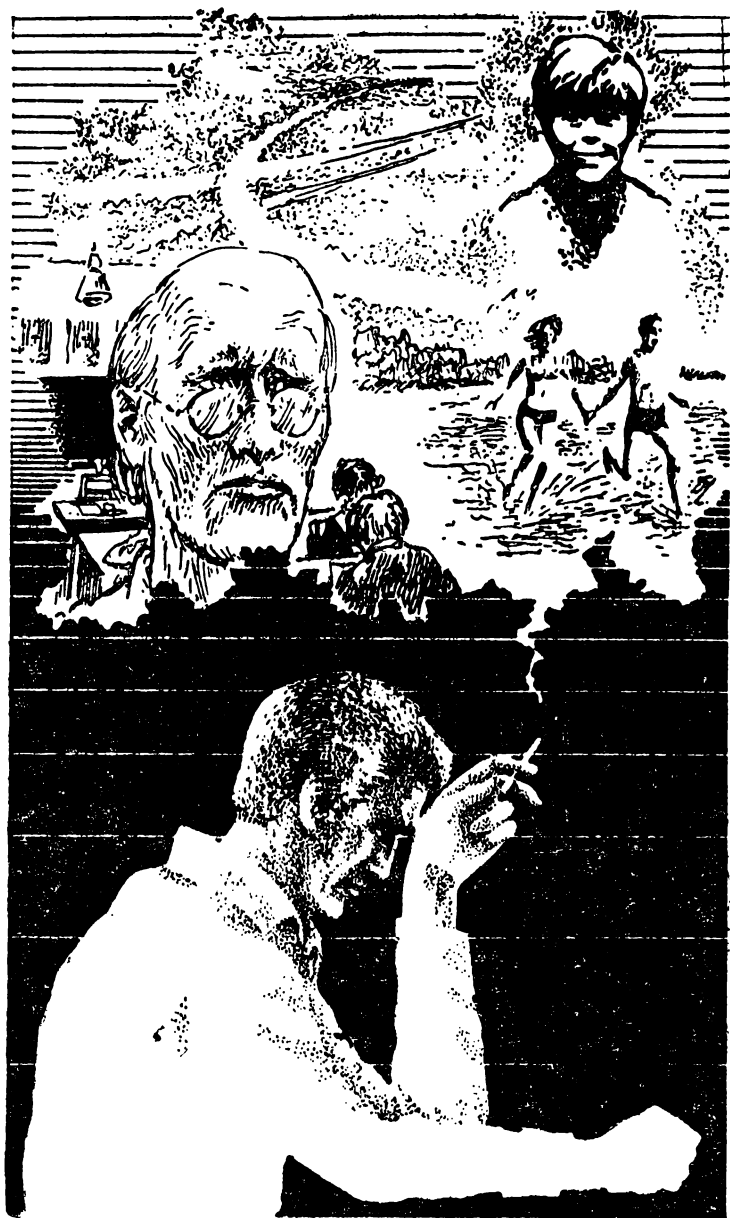
Мы вышли в серый, только занимающийся рассвет, все вокруг было неподвижно, спокойно, и такая тишина и покой заливали этот проклятый дрыхнувший мир, что я никак не мог поверить, будто со времени моего выхода из КПЗ прошло всего двенадцать часов. Если и дальше время побежит в таком темпе, не выдержать мне, какюк придет, нервы не сдюжат.

И все это сотворил маленький злой джинн, которого я по глупости выпустил из бутылки восемь лет назад. Сейчас лежит, наверное, зараза, пыхтит спросонья, слюни пускает — доволен, гад? Но тебе сеть на меня не накинуть — я тебе, щенку легавому, еще покажу. А для начала надо тебя обратно в бутылку загнать...

Мы сели в такси, и машина помчалась через пустой

город в Сокольники. Я обнимал Зосю за плечи, круглые, мягкие, а` волосы ее щекотали мне лицо, пахло от них апельсинами и еле слышно сигаретным дымом. Прозрачная дрема уже закручивала меня, но я успел подумать — как было бы хорошо, кабы на земле всегда было так мало людей, как сейчас на улицах...





КНИГА ВТОРАЯ



Утро было пасмурное, серое, и оттого, что снег уже стоял с полей, а деревья стояли в лесу голые, грязно-черные, залитые тусклыми свинцовыми лужами, не верилось, будто кончается апрель, что до мая осталось три дня и придет настоящая весна. Казалось, природа замерла, как это бывает в ноябре перед первым снегом — испуг ожидания неизвестного сковывает мир.

До Зареченска оставалось еще минут двадцать езды. Косые капельные следы дождя затекли на грязных стеклах, в электричке было холодно. Деревенские бабы с мешками аппетитно уписывали большие фиолетовые бруски мороженого с белым хлебом, неспешно, достойно обсуждали, что телевизор «Темп» надо покупать самый большой, потому как он хоть и подороже, но зато и в кино с ним можно не ходить — экран больше, чем на передвижке. Они везли к праздникам полные авоськи оранжевых, светящихся солнцем апельсинов, и в устоявшемся навсегда железно-резиновом воздухе вагона их нежный и острый запах плавал тропическими облаками. Бабы были в черных коротких пальто, которые у них почему-то называются «плюшками», шерстяные платки скинуты на плечи, морщинистые, будто распаханные лица раскраснелись, и только в тяжелых клешневатых руках, изуродованных и навсегда разбитых тяжелой работой, был покой, ощущение хорошо выполненного дела. Скоро они сойдут на станции и еще довольно долго будут добираться к себе в деревню на автобусах и попутных машинах, войдут в дом и сразу включатся в привычный, годами отработанный ритм работы — будут доить корову, перекапывать огород, запарят корм свиньям, поставят в печь обед — в общем, будут делать массу всяких дел, о которых я и понятия не имею, а вечером сядут пить чай и смотреть большой, как кино, телевизор, искренне сопереживая героям демонстрируемых пьес, которые они воспринимают только как сказки, потому что, к счастью, им и в голову не приходит, что существуют на свете международные гангстеры, живые шпионы, и что только совсем недавно умер их сосед — отъявленный белогвардеец, друг и сподвижник атамана Семенова, который всю свою жизнь поло-

жил на то, чтобы они не смотрели большой, как кино, телевизор. Но им этого знать и не надо — они заняты тем, что просто кормят всех людей. Ну а мы уж, раз уж мы никого не кормим, должны обеспечить им возможность спокойно по вечерам смотреть большой, как кино, телевизор и привозить домой целые авоськи нежно и остро пахнущих апельсинов, а по дороге неторопливо есть фиолетовые бруски мороженого с белым хлебом и вести неспешные, пустяковые, очень значительные разговоры, а потом всю оставшуюся часть дороги их тяжелым клешнястым рукам устало и спокойно лежать на коленях...

— Видите ли, выморочное имущество подлежит обращению в госдоходы. Но в таких случаях у нас масса хлопот. Имущество по большей части хлам, рухлядь всякая, никому оно не нужно. Поэтому мы отбираем наиболее ценное, а остальное разрешаем взять соседям, но и они не льстятся, как правило, на это барахло...

— И всю мебель сожгли?

— Да какая там мебель? — искренне удивилась инспектор горсовета, немолодая близорукая женщина. — Я сама участвовала в составлении описи. Кушетка продавленная, хромо́й стол, три ломаных стула, шкафчик какой-то нелепый. Ни одного родственника, претендента на это наследство, так и не объявилось, вот и выкинули все, ограничившись изъятием ценностей.

— Но ведь вы в этом шкафчике нашли четыреста долларов, неужели ни у кого не хватило любопытства тщательнее осмотреть все остальное?

— Да уж чего говорить теперь? Дело прошлое. Ну и, кроме того, ваши товарищи из милиции там были — они, в общем, тщательно смотрели. А я ведь не специалист в этих вопросах...

В том-то и дело. Там были наши товарищи, и поработали они неважно. А она не специалист, обычная немолодая женщина, у которой своих забот хватает, помимо наследства какого-то одинокого старика. У нее тоже праздник на носу — на подоконнике кабинетки были разложены свиные ножки для холодца и пакеты с какими-то продуктами, из-под бумаги вылезали длинные зеленые хвосты молодого лука. И мне тоже захотелось плюнуть на все это к черту и поехать в Москву доста-

вать свиные ножки для праздничного холодца. В конце концов, я тоже люблю закусывать холодцом...

Я полистал тощую серую папочку — «...по факту смерти гр-на Сытникова...».

Так... Протокол осмотра: «...окно закрыто... на столе — остатки пищи в тарелке... бутылка с томатным соком... шкаф небольшой... Тело... на кушетке... признаков насильственной смерти не обнаружено... в морг для патанатомического исследования...» Ясно, дальше. Так, справки, счета, личные документы... Ага, вот медицинское заключение: «...значительные болезненные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы... распространенный артериосклероз... Указанные резкие изменения протекали со слабо выраженными симптомами... обусловили смерть гр-на Сытникова... насильственная... исключается...» Ну что ж, я так и думал, царствие небесное, как говорится... А вот и опись имущества.

В описи было тридцать шесть пунктов: брюки диагональные б/у, полупальто бобриковое б/у, шляпа соломенная (сильно поношенная), стулья — три, кушетка — одна, вилки — три, сберегательная книжка с вкладом 134 руб. 84 коп., 400 долларов — по однодолларовой купюре, брошь женская, бриллиантовая...

Сберкнижка, доллары и брошь — вот и все ценности, оставленные Сытниковым. В деле была справка о том, что доллары и брошь обращены в доход государства и переданы соответственно в местное отделение Госбанка и в отдел хранения ценностей областного финуправления.

— А что со вкладом в сберкассу? — спросил я у инспектора.

Она наморщила лоб, тщательно припоминая, наконец сказала:

— Мне кажется, в книжке была сделана запись с просьбой перевести эти деньги в местную церковь для погребения по православному обычаю...

Несмотря на пасмурный день, на улицах было оживленно. Дворники развешивали на домах флаги, повсюду адели призывы и транспаранты. Какие-то ребята, укрепив на столбе репродуктор, опробовали его, гоняя во всю мощь модный твист или шейк — что-то в этом роде. Эту мелодию я много раз слышал в утренней передаче

«Опять двадцать пять», и все-таки она не надоела, и сейчас, слушая, как музыка постепенно стихает в отдалении, я подумал, что она, наверное, и ребятам нравилась, потому что они ставили ее все снова и снова, и мелодия, постепенно угасая, провожала меня до самого дома, где жил одиноко и в одиночестве умер Аристарх Сытников. В его комнату был вселен технолог мясо-молочного завода Куреев — маленького росточка человек с длинной, как дыня, головой и могучим раскатистым басом. Художественные, огромного диапазона модуляции его прекрасного голоса загипнотизировали меня, и я никак не мог влезть в поток его рассказов хоть с каким-то пустяковым вопросом. Он рассказывал мне о перспективах индустриальной обработки мяса, о том, как уместно он получил сейчас комнату, о внедрении НОТ в приготовление колбас по новой технологии, о разводе с женой, оказавшейся неспособной к высокому пониманию счастья, о получении второй премии на республиканском конкурсе рационализаторов, о новой женитьбе на простой, но очень достойной женщине, о предстоящем приглашении работать в Москве и о том, что у него, по существу, будет отмечаться сразу три праздника — свадьба, новоселье и Первомай, и я, конечно, буду дорогим гостем на этом торжестве.

Отчаявшись остановить его, я сидел и покорно слушал, и повествование Куреева представлялось мне весенним речным половодьем, неизменно выбрасывающим меня обратно на берег, как только я пытаюсь окунуться в него. Вот только о Сытникове он ничего не знал...

— ...Ведь когда я пришел со смотровым ордером, здесь уже ничего не было. Месяц как его похоронили, — гремел надо мной голос Куреева. И никто вам ничего толкового не скажет — здесь мало соседи контактуют из-за того, что у каждого, по существу, свой выход и отдельные коммунальные блага индивидуального пользования...

В комнату вошла молодая худенькая женщина, из тех, кто доставляет нам самые большие хлопоты при опознании, — их лица невозможно вспомнить, расставшись пять минут назад.

— Машуня, нежность моя дорогая! — дал оглушительный залп Куреев. — У нас замечательный гость из Москвы! Он, правда, приехал по делу! Но это не имеет значения! Знакомься, счастье мое!

Он так и говорил все время, завершая каждое предложение восклицанием. Машуня, счастье его, видимо, не считала столь необходимым афишировать их духовный союз и сильно покраснела. Она протянула мне руку-лодочку и торопливо стала снимать плащ, негромко бормоча что-то насчет не готового еще обеда.

Я сказал, чтобы она не беспокоилась, потому что у меня все равно нет времени и я должен уезжать.

— Ни в коем случае! — бабахнул над моей головой Куреев. Я сидел, а он непрерывно ходил по комнате, и от этого у меня постепенно создавалось впечатление, будто его голос звучит из заоблачных высот. Я его уже начинал бояться. — Ни в коем случае! Машуня — прелестный кулинар! И так редко случается поговорить с интеллигентным человеком! Из столицы!

— Так до столицы езды всего два часа, — робко заметил я.

— Не говорите так! Для некоторых людей эти два часа растягиваются на целую жизнь!

Я пожал плечами, предпочитая промолчать, ибо почувствовал, что дискуссия на любую тему может увести нас слишком далеко.

— Нет, вы меня можете не так понять! Мы с Машуной и здесь счастливы! Ведь я нашел в ней тот идеал моих представлений! О достойном спутнике жизни! С которым я хотел пройти оставшийся недолгий путь!

Мне было непонятно, почему Куреев считает оставшийся ему путь недолгим — на вид он должен был, по идее, еще меня пережить. А я собираюсь прожить немало. Достойному спутнику жизни Куреева были, по-видимому, неприятны эти разговоры в моем присутствии, и она ежилась от накатов звуковых волн, рождавшихся в недрах шуплой любящей груди супруга. Но он этого не замечал или не обращал на это внимания.

— Я хочу предъявить вашим соседям фотографии двух мужчин — не видели ли они их когда-либо у Сытникова, — сказал я Курееву, достал из кармана снимки Батона и Фаусто Кастелли и положил их на стол.

— Это можно! — бодро рокотал Куреев. — Но бесполезно! Как я вам уже докладывал — входы в комнаты изолированы, и потому низка коммуникабельность!

Как я понял, общительность Куреева была сильнее терпимости соседей.



— Я разговаривала с этим человеком, — вдруг сказала за моей спиной Машуня. Я обернулся и увидел, что она через мое плечо рассматривает фотографии на столе. Первый раз я отчетливо услышал ее тихий невыразительный голос. Даже Куреев от неожиданности замолк, но не успел я опомниться, как он прошел звуковой барьер:

— Аналогичный случай произошел однажды с библейским Валаамом... — И оглушительно захохотал. Ему, видно, понравилась собственная шутка, потому что хохотал он долго, густо, смачно, длинными полновесными периодами. Машуня, нежность его дорогая, сильно смутилась не то от сравнения с заговорившей ослицей, не то от хохота, походившего на горный обвал. Я дал ему высмеяться, но на этот раз вступить в беседу он не успел.

— Сейчас я попрошу вас три с половиной минуты не открывать рта, — сказал я ему таинственно и строго, и Куреев от такого хамства замер неподвижно, очень похожий со своей длинной головой и коротким туловищем на бракованные песочные часы.

— Маша, расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете...

Маша еще сильнее покраснела, и в этот миг душевного напряжения она перестала быть безликой, незаметной, неразличимой. Может быть, Куреев понял свое счастье именно в такое мгновение?

— Недели две назад, я в тот день работала во вторую смену, часов в десять утра раздался звонок в дверь, — сказала Маша, поглаживая от волнения ладонью фотографию Фаусто Кастелли. — Я открыла и увидела вот этого человека. Он плохо говорил по-русски, и я еще подумала, что он или иностранец, или из Прибалтики. Он спросил, дома ли Аристарх Сытников. Ну, я ему объяснила, что Сытников с месяц уже как умер и нас вселили в его комнату. Он тогда попрощался и ушел...

— Больше он ничего не сказал?

— Ничего не говорил он. Только вид у него был очень расстроенный...

— Чего же радоваться! — не удержался Куреев. — Человек умер все-таки!..

Я строго посмотрел на него и спросил у Маши:

— Вы не знаете, у соседей случайно какого-нибудь имущества Сытникова не осталось?

Она покачала головой:

— Кому же сейчас такое барахло нужно? Все выкинули... — Она подумала и добавила: — Вот только столик маленький еще стоит у нас в прихожей. Может, кому и пригодится...

Это был не столик, а ветхие, облезшие остатки некогда красивого подзеркальника трюмо, с гнутыми расколовшимися ножками и развалившимися ящичками. Фурнитура от ящиков была потеряна, и выдвигались они, только если просунуть с обратной стороны руку. В ящичках — пыль, дохлые мухи, крошки. Я осмотрел внимательно ящики, короба, где они помещались, потом пошарил рукой у задней стенки фанерной обшивки и нащупал какую-то бумагу, завалившуюся туда случайно из ящика или спрятанную специально. Легонько потянул и вытащил длинную ленту плотной бумаги. А Куреев, потрясая длинной головой, объяснял мне пока что секреты семейного счастья: «Мы никогда не ссоримся с Машуней — все нерешенные вопросы мы относим на субботу, в конец рабочей недели, и решаем их в организованном порядке за два часа. Так сказать, НОТ в семейном быту»... — И носился, и хохотал надо мной, как Фантомас.

Я внимательно рассмотрел ленту. В нескольких местах она была перегнута, а где-то в середине фиолетовыми чернилами написано: «500 по одн. Снято 100. К выд. — 400». И неразборчивая подпись. Бумага плотная, с типографскими разводами, как на недоделанных деньгах. Осторожно сложил ленту по сгибам — получилась объемная решетка типа банковской обертки бандероли...

Уже подходя к станции, я вспомнил, как называется голова Куреева, — башенный череп, вспомнил его громовой, раскатистый голос, маленький, невзрачный торс, длинную голову — башенный череп, — и мне стало веселее. Теперь, когда он не пугал меня беспрерывно грохотом своих восклицаний, он показался мне много симпатичнее. Куреев ни за что не хотел отпускать меня, и вырвался я, только показав расписание поездов в Москву — почему-то это его убедило.

Я поднялся на пешеходный мост, повисший над железнодорожной станцией. Ни одного человека не было видно вокруг, и только жестяной голос громкоговорителя на сортировочной горке хрипло распоряжался:

«Давай еще два пульмана накатывай, цистерны готовы. Да не туда, не туда, на четвертые пути подавайте...» Сонно пыхтел маневровый тепловоз, и безгласно перемигивались сигнальные огни на путях — фиолетовые, красные, синие. Тихо было вокруг, и только ветер порывами взгромыхивал проволочными ограждениями на мосту, трепал мне волосы, заползал в рукава и за шиворот, а я стоял наверху, пока вдалеке не показалось белое зарево прожектора, сужающееся постепенно в белый узкий сноп света, и электричка вылетела из мрака яростно и бесшумно, как циклоп. Я сбежал с лестницы, вошел в вагон, зашипели пневматические двери, поезд мягко качнуло, и, уже погружаясь в сон, я вспомнил, когда последний раз видел так же бесшумно вынырнувшую из мрака электричку...

...Много лет прошло с той зимы. Лена, всегда выдумывавшая что-то необычное, предложила нам встретить Новый год вдвоем на даче. Тридцать первого декабря стоял солнечный морозный день. Ветер с заснеженных голубеющих полей поднимал облака серебряной пыли. На платформе маленькой станции Хотьково было совершенно пустынно. Электричка загудела, мягко гроыхнула и, взвихривая снег у колес, умчалась в Загорск. Мы с Леной перекинули лыжи через плечо и спустились по обледенелым ступенькам. Прошли мимо закрытого магазинчика, через какие-то задворки вышли на дорогу. Разговаривать было трудно — лицо жег холодный ветер с редким крупяным снегом. Мы шли по накатанной дороге, держась за руки. Потом началось поле. Я помог Лене надеть лыжи — ее «ротафелы» никак не застегивались. Я стоял перед ней на колене, металл креплений обжигал руки. Потом скоба щелкнула, я поднял голову, и она провела ладонью по моему лицу.

— Спасибо, дружок! — И побежала по искрящейся холодной целине. Когда я закрепил свои лыжи, она была уже довольно далеко. И бежала Лена очень легко. Ее голубой лыжный костюм с желтым длинным шарфом выделялся на поле большим ярким цветком, и я подумал, что если помедлю еще немного, то она дойдет до края горизонта и растворится в сиреновом дымящемся мареве. И все-таки я медлил. Мне хотелось еще долго стоять так и смотреть на Лену, далекую, голубую, манящую. Бегущую по сверкающим

снежным волнам. Потом я разом воткнул палки в снег, с силой оттолкнулся и заорал во все поле, во все снега, во весь мир:

— Лена-а! Ого-ого-го! Лена-а!..

Догнал я ее, наверное, не меньше чем километра через два. Она ни за что не хотела сдаваться, и все-таки я ее догнал.

Мы повернули с ней влево, в сторону леса и долго гонялись друг за другом среди заиндеветых толстых стволов. Потом нашли какие-то игрушечные горочки и носились с одной на другую и прятались за ними друг от друга, бросаясь на жесткий скрипящий снег. Прошли через весь маленький дачный поселок, пока не добрались до Лениного дома. Лена отворила калитку, и мы прямо на лыжах подкатали к террасе. Снег еще не сровнял клумб и гряд на участке, и повсюду торчали из него колышки с привязанными бирками — «Роза аквитанская», «Гладиолусы голландские»...

Мы поставили лыжи на террасе, сбили снег с них, и Лена дала мне ключ:

— Ну-ка отпри это ржавое чудовище.

Я отворил дверь. Окна в комнате заиндевели, и поэтому здесь было гораздо темнее, чем на террасе. И холоднее. В углу стояла большая голландская печь. Лена сказала:

— Иди, Стас, в сарай за дровами, а я пока попробую растопить печь.

Солнце уже садилось в клубящиеся румяные облака за лесом, разбрасывая вокруг мягкие фиолетовые тени. Мороз рьяно щипал уши и щеки.

У нас было с собой две банки консервов, буханка хлеба и бутылка шампанского. Где-то в шкафу Лена нашла целую бутылку с вишневкой, и мы размешивали ее с шампанским. Станный получался напиток, но от него кружилась голова, все тихо звенело вокруг, и я плыл по мягким волнам счастья.

Мы сидели с Леной на медвежьей шкуре перед открытой дверцей печки, протянув ноги к теплу, и смотрели, как пламя жадно облизывается красными языками. Свой необыкновенный коктейль мы пили из больших глиняных кружек, и я, размахивая кочергой, рассказывал Лене какие-то небылицы о том, что было, и о том, что будет, а вернее, чего не было и впоследствии не стало.

Лена сказала тогда:

— Ну закончишь ты юридический, будешь ловить жуликов и убийц. А какой смысл? Какой смысл ловить одного убийцу, когда в мире каждый день легально убивают сотни людей? Когда дня не проходит в мире, чтобы не воевали?..

Не помню, что я тогда возражал, но что-то я говорил убежденно и страстно, наверняка бестолково и несвязно, потому что передо мной светило ее лицо — круглое, чуть скуластое, с острым сломом бровей, а от черных прямых волос пахло дымом и подснежниками... Она погладила меня ладонью по лицу, она часто гладила меня тогда ладонью по лицу, и сказала:

— Ты ведь бестолковый, Стас, а? Я тебя очень люблю. Ты всю жизнь будешь наивным злым воителем за добро. Ты всю жизнь будешь мальчишкой...

Я встал и подошел к окну. По стеклу шуршала мягкими черными лапами ночь. Оглушительно стрельнуло в печи полено. Лена от неожиданности вздрогнула и засмеялась.

— Здесь зимой всегда такая тишина, что мне немного боязно. Хотя я знаю, что здесь никого нет. И мне кажется, что кто-то тихо разговаривает.

Она гибко потянулась и разом вскочила на ноги, подошла ко мне.

— Смотри, — она взяла с подоконника альбом. — Соседская девочка собирала летом гербарий и позабыла его здесь. Давай посмотрим?

К плотным страницам альбома были аккуратно приклеены листы, травинки, усохшие цветы. Непонятно почему мне стало грустно от этого свидания с летом. Может быть, оно имело слишком засушенный, приклеенный вид. Я положил Лене на плечо руку:

— Пройдет несколько месяцев, и снова будет полно солнца, леса, яблок. Будет белый песок на пляже, лодки, сладкий дым над полем. Я бы хотел быть с тобой летом...

Лена пожала мне слегка руку и сказала:

— А разве сейчас плохо?

— Мне никогда еще не было так хорошо. А тогда будет еще лучше.

Я наклонился к ней. Ее глаза были рядом. В огромных тяжелых ресницах. И губы. И снова ее волосы

пахли подснежниками. Она положила мне руки на грудь и тихо сказала:

— Стас, любимый мой, маленький мальчик, не надо было нам встречаться, мы ведь никогда не будем счастливы...

— Почему? Я счастлив сейчас.

— Нет, это я счастлива сейчас. А ты уже мчишься в завтра, тебе нужно завтрашнее счастье, ты всегда мечтаешь жить в будущем времени. А я вся в сегодня. Мне ведь совсем мало надо...

Я твердо сказал:

— Мы обязательно будем счастливы. Я без тебя не могу ни сегодня, ни завтра...

Как же я мог сказать ей, что без нее нет никакого завтра? Ведь и тогда я знал это наверняка, как совершенно точно знал, что мы будем счастливы.

Она провела ладонью по моему лицу:

— Ты веришь в себя?

— Я верю в себя, в тебя, в нас...

Лена покачала головой:

— Как же быть, если я не могу верить в себя, если я не люблю завтра, а у меня есть только сегодня?

Она поцеловала меня, и губы ее, полные, ласковые, теплые, были для меня колыбелью, океанской зыбью, каруселью детских снов, когда нет людей и событий, а только блаженство свободного падения и ощущение сладкой пустоты пришедшего счастья.

Не помню, был ли то сон, или причудливо сместившаяся явь, потому что все кружилось, плыло вокруг в красных сполохах пламени из печки, и я крепко держал Лену, боясь открыть глаза, чтобы все не растаяло, не исчезло, не рассыпалось в прах. А она гладила меня по лицу ладонями и говорила:

— Стас, а Стас! Сколько времени? Новый год уже наступил?

— Не знаю, ты же не велела брать сюда часы, — шептал я, не открывая глаз.

— Это хорошо, Стас. Я не хочу, чтобы двигалось время, я не люблю завтра. Я тебя сегодня люблю. Тебя в сегодня, тебя в сегодня, — повторяла он в полусне, и я тонул в ней радостно, как в светлом омуте, и весь мир, бесконечный, бездонный, замыкался в ней, и счастье становилось невыносимым, как боль, потому что я уже знал — завтра наступило, и никогда, никогда,

сколько бы я ни прожил, я ни с кем не смогу снова войти в эту безмерную реку любви.

Она провела ладонью по моему лицу и сказала:

— Стас! А Стас? Давай уедем отсюда...

— Когда? — спросил я в полузабытьи.

— Сейчас.

Я приподнял голову и увидел, что она плачет.

— Я не хочу, чтобы завтра приходило сюда, — сказала она. — Я хочу, чтобы все это навсегда осталось у меня в сегодня...

— Почему? — спросил я испуганно.

— Я хочу, чтобы через много лет — когда бы я тебя ни встретила — эта ночь была бы со мной. Чтобы она не стала вчера. Чтобы она оставалась сегодня...

В Москве на вокзале стояли гам и толчея, суетились на площади носильщики и таксисты. Над головой летели облака удивительного красного цвета, и было от них светло, и лица людей были похожи на камни в костре...

ГЛАВА 20 ЗА ПРАВДУ БОРЕТСЯ ВОР ЛЕХА ДЕДУШКИН ПО КЛИЧКЕ БА- ТОН

Я проснулся от острого ощущения, что кто-то смотрит на меня.

— Чего уставилась? Знаешь ведь, что я ненавижу, когда во сне на меня смотрят...

Зося засмеялась:

— А когда же мне на тебя еще смотреть? Ты, как проснешься, сразу куда-нибудь лыжи наостришь.

Я притянул ее к себе, поцеловал и снова подумал, какое у нее молодое, упругое и мягкое тело. Она отодвинулась, тихо сказала:

— Не надо, Алеша, не надо... Светло совсем, не люблю я, нехорошо это...

— А чего же плохого? Нет ведь никого!

— Не знаю, все равно нехорошо. Для этого ночь есть...

— Ага! То-то мы с тобой раньше ночами нарадовались!

Когда я только сошелся с Зосей, у меня, как и всегда, не было постоянного жилья, а она жила в одной комнате с матерью — злущей усатой полькой, от ко-

торой ей житья не было. Когда мы ложились спать, стоило мне только шепнуть слово Зосе, мать из своего угла спрашивала басом:

— Зося, что он тебе сказаув? — Она так говорила, будто засасывала обратно в рот концы фраз.

Зося ей чего-нибудь буркнет в ответ, а та со слезой:

— Зося, у тебя есть секреты от мамуси?

Вот так мы и любились, пока я не снял отдельную комнату, да вскоре подвернулось хорошее дело в Челябинске, а потом я решил повременить с возвращением в Москву на всякий случай и поехал мотать монеты в Минводы, а когда деньжата кончились, вдруг сообразил, что неохота мне к Зосе возвращаться, уж больно все там всерьез начало у нас разворачиваться и замаячил в недалеком будущем загс, а вору женитьба — как зайцу стоп-сигнал. А еще через полгода загремел я в тюрьгу и уже из колонии написал Зосе открыточку, не очень-то надеясь получить ответ. Но Зося писала мне все время, и передачи слала, и раз на свиданку приезжала, хотя отбывал я на этот раз не в Минводах и не в Сочах...

Потому я и напомнил ей про наши ночные радости, но она хоть и мягкая, а очень упрямая всегда была. Покачала головой и говорит:

— Нет, Алеша, хорошим людям для этого ночь дана...

Глупые у нее представления какие-то были — это, наверное, от плохого воспитания. И злорадно сказал ей:

— Это точно. Все самые лучшие дела люди ночью делают. Мы с тобой делаем приятные дела. А когда я один, без тебя, то я свои дела тоже лучше всего ночью обделываю... — Она бессильно и испуганно развела руками. — Смотри, Зося, — сказал я жестко и весело, — как бы тебе совсем не стать дневной женщиной.

— Это как?

— А так: ты сначала с мамусей своей замечательной жила, а теперь работаешь всегда по ночам, у тебя для любви ночного времени не остается, и с твоей стыдливостью останешься без мужика.

— Что-то ты заботаешься обо мне больно, не к добру это, — усмехнулась Зося.

Я почувствовал, что она сейчас рассердится или обидится на меня, а я не хотел, чтобы она сейчас на меня сердилась или обижалась, не нужно это мне сейчас бы-

ло, мне требовалось, чтобы она меня любила, как в первые наши дни. Я поцеловал ее еще разок и сказал:

— Не обращай внимания. У меня стал склочный характер.

Зося радостно засмеялась:

— Вставай скорее, завтрак готов...

Мы ели сосиски, хлебные ломтики, поджаренные в яичнице, пили крепкий сладкий кофе, и, может быть, от того, что не было тряской сутолоки колес под ногами, въедливой вагонной пыли, пронзительной карбидной вони вокзальных сортиров и я совсем не чувствовал невольного напряжения побега от возможно близкой погони, но именно во время этого завтрака в маленькой, очень чистенькой кухне Зосиной квартиры я подумал на мгновение: а может быть, действительно завязать? И по тому, как я испуганно и торопливо прогнал эту быструю короткую мыслишку, я понял: чтобы завязать, мне надо гораздо больше смелости, чем продолжать и дальше воровать.

Зося собиралась в магазин, а я лежал на тахте и обдумывал текст письма, которое мне сейчас надо было соорудить. Письмо для меня было очень важным, думал я о нем сосредоточенно и в этот момент был, наверное, похож на своего папаню, когда он боролся за правду. Зося заглянула в комнату:

— Ну я пошла. Скоро вернусь...

— погоди. Ты Сеньку Бакуму давно видела?

Зося поставила сумку на пол.

— Нет, не очень. А что?

— Повидать я его хотел. Потолковать есть кое о чем.

Зося покачала головой:

— Не знаю, захочет ли он с тобой говорить.

— А почему не захочет? — пожал я плечами. — С тобой же захотел говорить.

Она помолчала немного, потом сказала медленно:

— Леша, дурачок, ты мужчина, и этого не понимаешь. Не надо тебе с ним встречаться.

— Так объясни мне, раз я не понимаю, — ухмыльнулся я. — Он ведь тебя, а не меня любил, и все же говорить с тобой стал. Чего же ему со мной не поговорить?

Зося сосредоточенно смотрела в пол, и я видел, что она хочет мне что-то сказать, да с духом собраться никак не может.

— Потому и стал со мной говорить, что любил он меня. Когда человек любит — он очень многое может понять и простить...

— Авось и меня простил. Хотя и вины-то я за собой не чувствую: он тебя что — на рынке купил? Сначала он любил, а потом я пришел и его любовь перелюбил.

Зося подняла на меня глаза, долгим взглядом посмотрела на меня и тихо сказала:

— Не надо так, Алеша, говорить. Вы с ним очень разные...

— Зося, ласточка моя, не надо ненужные слюни растягивать. И не надо делать из Бакумы влюбленного принца. Бакума — вор такой же, как я, злой, спокойный блатняга. Понимаешь, он вор, настоящий вор в законе, и ушел за мной он из кодла только потому, что понимал — со мной ему работать и наваристей, и спокойней...

Зося снова взяла сумку в руки, выпрямилась:

— Может быть. Не знаю, может быть, ты и прав. Только он больше не вор...

Я опешил:

— Как не вор? А кто, святой?

— Нет, не святой. Он шофер. В такси работает.

— Что? Бакума — шофером?

— Да, шофером. Он мне паспорт показывал.

— Я тебе хоть три паспорта могу показать. И все на разные фамилии.

— Нет, — покачала Зося головой. — У него был один паспорт и на одну фамилию. Настоящий.

— А почему ты знаешь, что настоящий?

— Я его руки видела. У него руки шоферские стали, не такие, как раньше.

— Н-да, — пробормотал я. — Дела пошли дальше некуда...

Зося отправилась в магазин, а я стал бороться за справедливость.

Бакуму я разыскал немислимо легко. Оказывается, если человеку не надо прятаться от уголовки, достаточно подойти к будке справочного бюро, заплатить двадцать копеек, и, если тебе известна фамилия, имя-отчество и возраст, подадут тебе его как на блюдечке. Садись в такси, платишь всего рубль семьдесят шесть, и на

восьмом этаже беленького, воняющего свежей покра-ской дома в Вешняках-Владычине нажимаешь черную скользкую пуговицу звонка. И открывает тебе дверь давний подельщик, бывший верный кореш, бывший классный домушник, бывший вор в законе, железный блатарь Сенька Бакума.

Он открыл дверь, посмотрел на меня своими тяже-лыми оловянными глазами, не моргнул, не зажмурился, не удивился, не обрадовался. И, кажется, не разозлил-ся. Ну и слава богу.

— Чего надо? — вежливо и спокойно спросил он, будто присели мы с ним вчера вечерком в картишки, и не пошла его игра, перезвенели его монетки в мой кар-ман, а я вот, и не отоспавшись еще, уже снова приперся.

— Эх, прокачу! — сказал я. — Так, что ли, у вас те-перь здоровкаются?

— Гоношишь все... — усмехнулся Бакума и стал при-творять дверь.

Но я уже вставил ногу в щель.

— Не гоношусь. Да и ты не спеши.

— Прими ногу-то. Прижму сейчас. Захромаешь.

— Прижми, родной. Это ведь всегда у блатных за-кон был — у кореша на хазе в капкан залетать. Чтобы мусорам меня ловчее было надыбать.

Серыми пудовыми глазищами толкнул меня Баку-ма, как кулаком в грудь, но на дверь давить перестал.

— Ты чего хочешь? — спросил он снова.

— Денег, — просто сказал я.

Он подумал немного, усмехнулся углом тонкого зло-го рта.

— Сколько?

— Да ну, пустяки, говорить не об чем.

— Стольник устроит?

Я засмеялся:

— Бакума, ты что? Сто рублей — это деньги?

Он постоял, помолчал, пожевал нижнюю тонкую гу-бу, спросил:

— А ты знаешь, что я за эти «неденьги» две недели за рулем горблю?

— Знаю. Но это штука такая: охота пуще неволи.

— Ладно, сказал — не гоношись. Сколько надо, го-вори и отваливай.

— Половину выручки вашего парка. За один день, тамо собой.

Бакума оперся спиной о стенку, посмотрел на меня с прищуром исподлобья, хмыкнул:

— А вторую половину куда денешь?

— Тебе отдам. Я ведь не жадный, бери, пользуйся на здоровье. Тысяч десять на вашу долю приходится, без мелочи. Без мелочи примете?

— Как я посмотрю, ты все такой же шутник. Шутки шутишь...

— А что?

— Ничего, дошутишься. Возьмут тебя по повой...

— Ой-ой-ой! Слушай, а может быть, мне тебя надо называть теперь «гражданин начальник Бакума»? Может, ты уже сам у мусоров начальник? Выхватишь сейчас из порток кривой револьвер: «Руки вверх, вы задержаны, гражданин Дедушкин!» Встать! Суд идет! Батону — три года, а легавому Бакуме — тридцать сребреников по-старому, а по-новому — три рубля!

Чего-то я так увлекся представлением, что не заметил, как это Бакума ловко, без замаха, тычком снизу врезал мне по сусалам. Только искры из глаз звезданули, и на какое-то мгновение я будто в воздухе повис, а потом со всей силой шмякнулся головой и спиной о противоположную стену и потихоньку, соблюдая достоинство, съехал на пол. Дурацкое это ощущение — будто стену приподняли и шарахнули тебя по башке, и ножонки отнялись, и спина из резины — гнется, прямо держать не хочет, и шум в затылке, как на камнедробильне. Встать бы сразу и дать Бакуме оборотку, но, видимо, врезал он мне душевно, башка работает, а ноги не слушаются. Вообще-то в драке Бакума против меня не сдюжит — он, во-первых, не духа́рь, а во-вторых, я драку знаю. И руки у меня сильнее. Вот только встать не было сил.

Так и лежал я в углу лестничной площадки, а Бакума по-прежнему спокойно подпирал спиной свою дверь и молча лупал на меня своими серыми, будто пылью присыпанными глазами. Интересно, как он мог Зосе нравиться с такими-то глазами? Или, может быть, он на нее другими смотрел?

— Резать тебя придется, Бакума. Ты уже лишнее живешь, — сказал я ему, а язык заплетался, и слова получились какие-то шепелявые, не настоящие, гунявые. Провел рукой по подбородку — весь рот кровью зали-

тый. Он мне, конечно, хорошо врезал. Я харкнул, и на пол вылетел с сукровицей зуб.

Бакума моргнул своими каменными веками, мрачно и спокойно сказал:

— Волк волка исты, як барана немає. Ты попробуй.

— Попробую. К тебе же пассажиры ночью садятся? С заднего сиденья — перышком тебя...

— Сказал, не гоношись. Сопли подбери.

— Подберу, чего тут делать.

Опираясь на стенку, я медленно поднялся. Голова еще сильно кружилась, вот же, зараза, как вмазал смачно! На пиджаке и плаще чернели пятнышки крови, весь я был в пыли. Вроде бы совсем чистый пол был, а стоило на него чуть прилечь, весь как черт извозился.

— Ну как, мусор, дашь обмыться или прямо вот так направишь меня к корешам своим — в уголовку?

Бакума мгновение подумал, затем посторонился в дверях:

— Иди мойся.

Я вошел в тесную квартирку с маленькой совмещенной ванной, пустил струю холодной воды. Саднило губу, подбородок, болел весь рот. Языком я качнул передние зубы — ничего, один пропал, остальные держатся. Меня всего трясло от боли, унижения и бессильной злобы. Я все лил и лил на голову холодную воду, а кружение в мозгах не переставало, пока вдруг что-то внутри остро не подкатило под самое горло, и меня начало ужасно рвать, сводило скулы, безостановочно текла слюна, и рвать-то уже было нечем — давно вылетели в Бакумин унитаз все Зосины сосиски, и гренки, и яичница, потекла желто-зеленая желчь, а я никак не мог унять эти проклятые судороги. Потом и это прошло, я снова умылся, а Бакума за спиной сказал:

— Возьми полотенце...

Не нужно мне было его полотенце, достал я из кармана платок, утерся и положил его обратно в карман плаща, а плащ накинул на руку. А в кармане плаща лежала у меня чудом не разбившаяся бутылка водки. Взял я ее удобно в ладонь, бывают такие ненормальные бутылки — плоские, сдавленные по продольному шву, вот эта была такая, и легла она в ладонь очень удобно. Бакума отступил на шаг, пропуская меня из ванной, и сказал:

— Не гоношись. Грабку из кармана не вынимай...

И в руках у него я увидел утюжок, маленький немецкий электрический, но моей бутылки он все равно был поувесистей. В общем, обыграл меня Бакума на этот раз. Ладно, я ему не зуб за свой выну и не око... Я пошел к дверям, но Бакума мне вслед сказал:

— Постой, Батон...

Я повернулся к нему, а он положил свой утюжок на табурет и сказал:

— Хочешь, слушай меня, хочешь — нет, но пора тебе завязывать. Не маленький, вяжи, Батон, пока не поздно...

Хотел я его спросить чего-нибудь вроде того, сколько в уголовке платят за каждую приобщенную воровскую душу, но не было сил и говорить было больно, поэтому я только сказал:

— Ладно, апостол хренов, ты скажи лучше, где мой инструмент?

Бакума тяжело вздохнул, качнул головой, с неожиданной злобой ответил:

— Не знаю я, где твой инструмент! Не брал я его! И давай вали отсюда! Запомни только: если инструмент возьмешь и ко мне из уголовки придут, я тогда — век мне свободы не видать — заложу тебя на всю... как миленького! Мне за тебя, суку, пыхтеть по колониям неохота!

— Ладно, кореш дорогой, запомню. А за прием, за ласку спасибо. Ну ты меня знаешь — должок верну, с перышком в придачу... Глядишь, сочтемся...

ГЛАВА 21 ...А ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИНСПЕКТОР СТАНИСЛАВ ТИХОНОВ

Савельев сидел, склонив набок рыжую голову, а короткие толстые пальчики он переплел на худом мускулистом животе, сильно походя на шкодливого католического исповедника. Он дождался, пока я дочитал справку до конца, кротко спросил:

— Прекрасно написано?

— Сойдет, — махнул я рукой и добавил: — Хорошо, что мы не получаем за свои справки гонорары, а то бы ты меня обвинил в соавторских домогательствах.

— Ничего-ничего, — успокоил меня ласково Саш-

ка, — ответственность за неправильно составленный документ раскладывается пропорционально количеству подписавшихся...

В кабинет вошел Шарапов. Очки он держал в руке, а лицо у него было хмурое, бледное, мятое какое-то. Неважно он выглядел.

— Как дела, орлы? — спросил он.

— У нас разве дела, Владимир Иванович? — оживился Сашка, забыв о своей позе исповедника. — Дела в Совете Министров, а у нас так, делишки...

— Ну и плохо, — сказал Шарапов. — Так ты, Савельев, до смерти не попадешь в Совет Министров. Смолоду большие дела надо делать.

— Да, конечно... — развел Сашка руками. — Каждый человек — кузен своему счастью.

Я засмеялся, Шарапов хотел что-то сказать Сашке, но передумал, пояснив мне:

— Это он, наверное, на меня намекает. Смотри, Савельев, маленькие начальники никогда не прощают, если им напоминают, что они уже не станут большими.

Сашка вскочил и пылко прижал руки к груди:

— Владимир Иванович! Так я разве что говорю? Вы для меня единственный и самый главный начальник. Как кучер для мерина. Больше вас начальство я только на парадном смотрю и видел...

Шарапов покачал головой:

— Эх, Савельев, Савельев! Жизнь несправедлива. Опасные и вздорные иллюзии у тебя, а избавлять сейчас от них будут Тихонова.

Я удивленно поднял голову:

— Это еще почему?

Шарапов положил мне руку на плечо:

— К начальнику МУРа сейчас идем оправдываться. Батон на тебя «телегу» прикатил...

У Шарапова на лице было досадливое выражение, а Сашка замер, как в кино на стоп-кадре. Я посидел молча и вдруг заметил, что мои руки бессознательно, беспорядочно перебирают на столе бумажки, раскладывают их по папочкам. И от этого мне стало неприятно, потому что я понял: я просто испугался. Тихо было в комнате, и мои руки суетливо раскладывали бумажки, а я испытывал невероятную горечь и злобу из-за того, что такая тварь, как Батон, сумела напугать меня.

— Хороша жалобка? — спросил я.

— Хороша. Толково написано. Да он вообще толковый парень, Батон. Адресована в МК партии, копии — прокурору города и начальнику управления. А ты чего скис? Боишься?

— Что значит — «боюсь»... — неопределенно сказал я.

Я сидел и никак не мог понять — чего же я испугался. Наказывать меня не за что — действовал я правильно, и, если бы довелось, я бы то же самое сделал снова. И начальника МУРа я не боялся. Тогда почему же все-таки... Или можно бояться и без вины? Чего?

Сашка очнулся и заорал:

— Ну это уж просто хулиганство!..

— Не ори, Саша, — поморщился Шарапов. — Тебе надо будет, Стас, обдумать ответы. Батон напирает на то, что ты применял к нему незаконные методы допроса — грозился, запугивал, уговаривал признаться — тогда, мол, ты бы его отпустил до суда...

— Батя, а ты считаешь, что это все серьезно? — спросил я.

— Не считаю. Но существует порядок...

— Порядок! — вмешался Сашка. — Владимир Иванович, но я действительно в толк не могу взять, почему Тихонов должен оправдываться перед этой заразой...

Шарапов повернулся к нему всем корпусом:

— Тихонову не перед заразой надо оправдываться, а объяснить прокурорскому надзору и высшему начальству истинное положение вещей. Они спросить имеют право, ты как думаешь?

— Имеют. Но ведь это же безразлично, как называть — оправдываться или объяснять, важен смысл. А смысл в том, что Тихонову надо будет доказывать, что он не применял запрещенных методов допроса. Вот я и спрашиваю: почему Тихонов должен доказывать, что он не верблюд, если это утверждает Батон. Вор, гадина, рецидивист!

Шарапов сел на стул, водрузил на нос очки, провел рукой по своим белесым седым волосам:

— Лет двадцать назад был у нас один работник — Третьяков. Следователь был незаурядный и результаты получал фантастические. У него не бывало «нерасколовшихся» преступников — гремел мужик! И довольно долго. Пока однажды мы с Ильей Ляндресом не взяли на одной малине Фомку-Крысу. Был такой довольно про-

тивный бандит, осторожный, злой, как настоящая крыса. Стали мы его мотать, а допрашивал, надо сказать, Илья отлично, ну, короче говоря, признался Фомка в убийстве на Банковском переулке. Подняли мы материалы — убийство три года назад было совершено — и обомлели. Преступление раскрыто, убийца найден, осужден и отбывает двадцатилетнее наказание. Мы вызываем дело к себе, читаем. Сначала обвиняемый категорически отказывался довольно долго, а потом признался — сам Третьяков расследовал. Возобновляем дело по вновь открывшимся обстоятельствам и начинаем с ним пыхтеть дни и ночи. И доказываем, что убийство совершил Фомка-Крыса, а осужденный никакого отношения к нему не имеет...

— А зачем же он признавался? — спросил Сашка.

— А его Третьяков уговорил — улики, мол, неопровержимые, человек ты с подмоченной репутацией, единственный шанс не получить «вышку» — чистосердечное признание, хоть жить будешь Слабый человек оказался и согласился. После этого произвели ревизию всех дел Третьякова, и выяснилось, что такие номера он не один раз откалывал...

— А какое это отношение к Стасу имеет?

— А такое, что у человека на носу не написано — честный он работник или негодяй. Поэтому Батону — коли мы не доказали, что он вор, — предоставлены все гражданские права для защиты. Да и если бы доказали — все одно. Это, знаешь ли, гарантия того, чтобы с людьми не вытворяли третьяковских шуточек.

Я сказал Шарапову:

— Если вдуматься, то выходит, что у Батона сейчас этих прав даже больше, чем у меня...

— Конечно, — живо сказал Шарапов, — а почему бы нет? Мы не доказали, что Батон вор. Это мы, можно сказать, для себя знаем, что Батон вор. Но пока не оформили установленным законным способом, он обычный советский гражданин. А у всякого гражданина прав не меньше, чем у тебя. Это ведь ты служишь обществу, а не оно тебе.

— Ой, батя, не говори ты со мной казенными словами!

Шарапов развел руками:

— Ну казенными или домашними — суть-то не ме-

няется, и ты знаешь, что я говорю правду. А вообще-то все правильно...

— Что правильно?

— Наша работа — игра жесткая, и ни одного промаха не прощается. Мы пропустили свою очередь для удара, поэтому его нанес Батон. И так будет всегда...

— Садитесь, — сказал комиссар, набирая номер телефона. Мы с Шараповым уселись сбоку от длинного стола для совещаний. Комиссару, видимо, ответили, потому что он быстро сказал:

— Это Лебедев докладывает. К сожалению, новых данных не поступило... Но ведь это же не от нас зависит, Александр Васильевич. Мы бросили на реализацию и так лучшие силы. Что?! Да, у меня там люди в засаде сидят неделю без смены. А без ошибок только бюро прогнозов работает... Они вам, а вы мне мылите шею. Так не чугунная же она... Вот возьмем его, и успокоится общественность... Есть, есть, слушаюсь. В 17 часов снова буду докладывать.

Он положил трубку на рычаг и усталым движением провел ладонью по шее, будто ему и впрямь ее крепко натерли. Я понял, о чем он говорил, — на прошлой неделе наши ребята наконец вышли на след человека, убившего в энергетическом институте двух девушек, но взять его пока не могли. Комиссар рассеянно посмотрел на нас и сказал:

— Что у вас? Слушаю...

Шарапов, привыкший к начальству больше меня, спокойно ответил:

— Вызывали, товарищ комиссар. Насчет жалобы.

Комиссар внимательно смотрел на меня, наверное, вспоминал, о какой жалобе идет речь, постукивал пальцем по столу. А я очень сильно не люблю, когда начальство начинает выстукивать пальчиком по столу, не нравится мне это. Потом он медленно сказал:

— Жалоба на тебя, Тихонов, поступила... Удивляюсь...

Тут я понял, что до этого мгновения он нас вообще не замечал, а продолжал разговор со своим телефонным собеседником.

— Я думаю, что, если бы от вора-рецидивиста Дедушкина на меня поступила благодарность, вы бы еще

больше удивились, — выпалил я обиженно, и мне показалось странным, что молчит Шарапов, он же ведь все знает?..

Комиссар перестал стучать пальцем, прищурился:

— Всякое бывает. И благодарности приходят.

— От Дедушкина я не дождусь, — пробормотал я, а Шарапов все молчал.

— А ты что, действительно грозился? — застучал снова комиссар.

Я почувствовал, как раздражение подкатывается к горлу:

— Можно и так сказать. В тюрьму обещал посадить.

Шарапов продолжал молчать, и я невольно стал отводить от него взгляд.

— Ну-у! — удивился комиссар. — А чего это ты так расхотелся?

Я посмотрел на него, комиссар вроде повеселел, взял карандаш и стал быстро делать пометки на кипе лежащих перед ним листов. И мне стало досадно, что такой важный для меня разговор — всего лишь пустячный эпизод в заполненном событиями и разговорами рабочем дне моего шефа. Чего мне объяснять ему? И Шарапов помалкивает. Я встал и, уже начав говорить, понял, что голос у меня предательски дрожит:

— Товарищ комиссар, разрешите быть свободным! Все обстоятельства дела я изложу в рапорте на ваше имя...

Комиссар, не отвечая, дописал что-то на листочке, сказал Шарапову:

— Владимир Иваныч, у тебя в отделе с дисциплиной плоховато. Если этот мальчишка со мной так разговаривает, что же он себе с Дедушкиным напозволял?

— У Тихонова сдвиг в другую сторону — деликатничает в избытке с обвиняемыми, а потом дерзит начальству...

— Так ты, Тихонов, на меня обиделся, что ли? — спросил комиссар.

Я пожал плечами: чего, мол, мне обижаться?

— Ты сядь, сядь, не стой... Мне тут Владимир Иваныч уже поведал все или почти все. Должен сказать, что я бы с удовольствием натер тебе язык перцем. А ругать тебя надо не за то, что ты обещал Батона в тюрьму посадить, а за то, что своей угрозы не смог выполнить. Если не можешь — не суйся, а то срам один

потом получается. Жулик моих оперативников помоями поливает, я должен прокурору романы писать про ваши с Дедушкиным счеты, а ты помахал языком — и в кусты...

— Да почему в кусты?.. — заорал я.

— Молчать! — рывкнул комиссар. — Не перебивай меня! Я бы тебе показал, где раки зимуют, если бы не одно обстоятельство...

Комиссар закурил и как-то сразу успокоился:

— Ты когда с Батоном имел дело последний раз?

— Восемь лет назад. Приговорили к пяти годам.

— Угу, — сказал комиссар и снова стал листать свои бумаги. Все молчали. Потом комиссар поднял голову и спросил меня: — Ты как думаешь, он зачем на тебя «телегу» прислал?

— Не знаю, отомстить, наверное. Я ведь с ним действительно пристрастно работал...

Комиссар сломал в пепельнице сигарету и сказал:

— Ты, Стас, хороший оперативник. Но до шефа твоего — Шарапова — тебе еще далеко.

Я усмехнулся.

— Кто бы спорить стал, а я...

Комиссар, не слушая меня, спросил:

— Кто с Батоном работал?

— Я и Савельев, руководил Шарапов. Задержание произвел Савельев.

— А ты не подумал, почему же он именно на тебя жалобу пригнал?

— Трудно сказать. Счеты-то у нас с ним старые...

— Эх ты! Между прочим, у Шарапова тоже с ним счета не новые. А я вот сразу понял: Батон тебя боится. Именно тебя, и потому в жалобе пережал акцент, настаивая на отстранении тебя от расследования. Тем более что ты предоставил ему эту возможность, не доказав его вины. Но смотри, Стас, если выяснится в конце концов, что боялся он зря... Справку по делу подготовили?

— Так точно.

— Оставь мне, я потом прочитаю. Она мне еще для прокурора понадобится. Ты все понял?

— Все.

— Ты свободен, а ты, Владимир Иванович, задержишься на минутку.

Затрещал звонок циркулярной связи, и из селектора раздался голос:

— Товарищ комиссар, в Бескудникове снова три карманные кражи...

Я вышел и неслышно притворил за собой дверь.

Я окончил перепечатывать выписки из дела атамана Семенова, вытащил закладку из каретки, разложил листы по экземплярам: один — в дело, второй — в «наблюдательное производство», третий — для сведения начальства — и сказал Савельеву:

— Слушай, а чем я буду заниматься, если меня из МУРа выставят? Я ведь и делать-то ничего не умею. Вот разве на машинке стучать. Зато такой мужской специальности не существует, даже названия нет.

— Есть. Ремингтонист называется, — утешил Сашка.

— Ну слава богу, пойду в ремингтонисты.

Тут наконец пришел от комиссара Шарапов. Он добродушно ухмылялся, и было заметно, что настроение у него явно улучшилось.

— Ну что, готовы к смерти или к бессмертной славе?

— Владимир Иванович, пора подумать о спасении души, — тут же влез Сашка. — А то я все больше убеждаюсь, что возмездие слепо и по своим кривым дорогам приходит к совсем неповинным людям. Аналогичный случай произошел со мной в детстве. У нас в подъезде лестница шла колодцем, поэтому все пацаны забирались на четвертый этаж и пускали вниз бумажных голубей. Однажды я так увлекся этим занятием, что сильно перегнулся через перила и, естественно, полетел вниз. Ну по всем законам, конечно, я должен был разбиться в лепешку. Но на страже моих интересов стояло возмездие, обращенное к совсем неповинным людям. Дело в том, что внизу у нас была фанерная сторожка, в которой проживала дворничиха, и в то самое мгновение, как я летел вниз сизым соколом, принимала она у себя в гостях своего постоянного ухажера — постового милиционера. Чай они в это время из самоварчика кушали. Натурально пробил я им фанерную крышу, как топором, и упал на стол. У дворничихи от испуга — стенокардия, у милиционера — сильные ожоги от самовара, у меня — мелкие порезы от стаканчиков.

— У милиционера нервы были хорошие, — сказал Шарапов. — Тихонов на его месте от волнения тебя бы застрелил. Что, Стас, как чувствуешь себя сейчас?

— Противно. Я вот сколько раз допрашивал людей и не догадывался, что это очень неприятно — оправдываться.

Шарапов засмеялся:

— Коты от удовольствия крутят хвостами. Это, правда, не значит, что, если им крутить хвосты, они получают удовольствие. Ну ладно, что собираетесь делать теперь?

— Перво-наперво поищем, откуда у Сытникова доллары взялись, — сказал я. — Если он их по легальным каналам получил, тут мосточек может оказаться к Фаусто этому таинственному.

ГЛАВА 22 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

«Ушла на работу. Ужин в холодильнике». И все. Даже без подписи. Значит, разозлилась. Эх, Зося, Зося! Наверное, не надо было тебе все-таки уходить ко мне от Бакумы. Или своевременно поступить в школу торгового ученичества, найти себе там, как официантка Надька, приятеля, встречались бы вы с ним сколько там положено, потом поженились, вечерами бы считали полученные чаевые, народили бы маленьких официантиков и были бы счастливы до невозможности. А от меня тебе на грош радостей, а неприятностей и огорчений — полон рот.

Не стал я доставать ужин из холодильника, а взял только банку маринованных яблок, из плаща вытащил плоскую свою бутылку водки, отнес в ванную и составил все на маленькой табуреточке. Налил до краев ванну теплой водой, быстро разделся, и рубашка моя, издряпанная в крови и брызгах блевотины, вызывала во мне острое, невыносимое отвращение. Бросил ее на пол и подумал, что другой-то нету. И нет денег, чтобы купить другую. Влез в теплую воду.

И хотя голова болела ужасно, я принял решение твердое и окончательное: сегодня же выйти на дело.

Подремал немного, и тишина меня не успокаивала, еле слышное шуршание отопительного регистра взвин-

чивало и без того напряженные нервы. Все во мне тряслось, и повторял я все время — подождите, я вам еще покажу! Хотя и сам толком не знал, кому грозился, потому что, прежде чем доехал до дома, я уже знал, что смасть, которую мне налепил сегодня Бакума, останется без ответа. Не пойду я его резать — что мне, жизнь надоела? В наши дни нацепить на себя мокрое дело по дурацкому воровскому толкowiщу — нет уж, дудки! Ладно, похожу пока с битой мордой, а там поглядим, даст бог — сочтемся. И не знает дурак Бакума, что ходить ему на свободе ровно столько же, сколько и мне. На чем бы и когда бы меня теперь ни взяли, сразу же заложу и его. Скажу, что он все время со мной в доле работал. И посмотрим, дорогой передовик и ударник производства: поверят тебе твои легавые товарищи?

Достал с табурета бутылку, скovyрнул фольговую пробку и вспомнил, что не взял стакана. Из горлышка пить не хотелось, а вылезать из воды еще больше. Взял с полочки пластмассовый стаканчик из-под зубных щеток, сполоснул его, наполнил до краев и жадно глотнул два раза.

Водка рванулась в горло легко, как газировка, и я не хотел тянуть время, мне жалко было терять его зря, и я быстро допил стаканчик до дна, и на просвет мне видно было его рябое, в разводах зубной пасты дно. Еще раз налил, выпил, и тогда лишь немного утихла ужасная жажда, пропала противная горечь во рту. Откусил маринованное яблоко и снова завалился в теплую воду.

Над Зосиной ванной висела нейлоновая цветная занавеска, которую задвигают, чтобы не заливать душем пол. На голубом фоне были нарисованы пузатенькие хвостатые рыбки, смешные морские коньки, водоросли и причудливые раковины. Лампа расплывающимся пятном светила сквозь занавеску, словно утонувшая луна. Журчала в стоке утекающая вода, где-то выше или ниже этажом спускали в унитазе воду, и трубы досадливо и зло гудели, и я чувствовал, что кровь во мне гудит с такой же нелепой слепой яростью.

Стихла немного головная боль, и меня стало клонить ко сну. Голубые рыбки с разноцветными хвостами плавали над головой, водоросли стелились по кафельным белым стенам, и урчали унитазным спуском нарисованные на прозрачной пленке раковины. Хорошо бы

отсюда никогда не выходить. Прожить оставшиеся годы в ванной. Со мной в колонии под Сургутом тянул срок один полицай, который в сорок четвертом году, при наступлении наших, влез в подпол у матери и просидел там сколько-то лет. Потом выбрался и сам пошел сдался. Нет, мне сидеть в ванной годами ни к чему. Да и Зося, наверное, при всей ее замечательной любви возражала бы, чтобы я напостоянно прописался у нее в ванной.

Пропади они все пропадом со своими рыбками, дружбами, любовями! Я не стану сидеть здесь сколько-то лет, я выйду отсюда сегодня же и сразу всем им покажу, что Алеха Дедушкин еще кое-чего стоит! Жалко, нет инструмента моего. Да ладно, инструмент возьмем на этих днях, а пока и без инструмента я, голыми руками покажу, что умею.

Не знаю, задремал ли я и во сне вспомнил об одном магазинчике, или, может быть, все, кроме моего решения, не существовало уже. До встречи с Бакумой я еще сам не знал — прислушаюсь я к Зосиным просьбам, приму ли советы Окуня, испугаюсь ли угроз Тихонова. А теперь я попросту забыл о них, будто они все одновременно испарились. Только азарт воровской да многолетняя привычка все высчитывать до точки охватили меня, и сомнений, брать ли сегодня этот маленький магазин на Домниковке, не было.

Я присмотрел его года два назад, но тогда мне он был ни к чему, и я только подумал, что взять такой магазинчик — как два пальца оплевать, и было это ночью, осенью, в сильный дождь, и я забрел во двор на длинной темной Домниковке, потому что было поздно и все уличные уборные уже закрылись, а мне было нужно позарез, потому что мы с Санькой Карасиком выпили в баре две дюжины пива, и, пока я мочился под дождем в тихом пустом дворе, я хорошо рассмотрел задворки этого магазина, а Санька ждал меня на улице, и, помнится, когда вышел из подворотни, я так и сказал ему: как два пальца оплевать...

Голова еще болела, но мозги вертелись четко. Вытерся докрасна полотенцем, надел свою грязную, заблеванную рубаху. Ничего, скоро переоденемся. Вышел из ванной и стал шарить в кладовке. На полу в картонной коробке нашел заржавленный разводной ключ, пассатижи, отвертку, кусачки. Даже непонятно, откуда это

все набралось у Зоси. Впрочем, она ведь без мужика живет, приходится самой о хозяйстве заботиться.

А вот подходящая сумочка, хорошая, удобная, на ремне, с «молнией» — фирменный шик «Аэрофлота». Ну-ка, ржавый инструмент, брысь в сумку! Это, конечно, не мой инструментальный чемоданчик, с которым можно банк брать, но для того задрипанного магазина и это барахло сойдет. Под унитазом я вчера видел резиновые перчатки — Зося моет в них сортир. Ага, вот и они, прекрасно. Вроде бы все! Теперь надо посмотреть, что у нас творится с монетами. Дрянь дело — вместе с мелочью меньше двух рублей, может не хватить. Ну ладно, может, бог даст.

Присядем на дорожку. Как мне нужна счастливая дорожка! Только, дал бы бог, глупость какая-нибудь не завалила бы все — это ведь вдвоем надо делать, а я буду один работать, без стремы, не осмотревшись заранее. Вот так обычно и сгорают, но сейчас думать об этом уже глупо — надо в фарт свой воровской верить, не могла ко мне судьба навсегда задницей повернуться!

Тикают часы, бегут стрелки по циферблату. Накинул на плечо ремень сумки — пижон в рубашечке заблеванной. Четверть второго на часах. Воровское время наступило. Зашел в ванную, налил еще в синенький стаканчик пластмассовый, выпил не закусывая и вкуса водки даже не учуял. Посмотрел на рыбок разноцветных, и дремлющие водоросли, и смеженные раковины уютные. Повернул выключатель, и все исчезло в темноте. У порога я остановился и трижды плюнул через левое плечо. Потом захлопнул за собой дверь.

Метро закрыто. На сокольническом кругу пусто. Зябко. Ветер сильный, в нем последний зимний ледок. Запах мокрых деревьев несет он и еле ощутимый запах гари — в парке днем сжигают прошлогодние листья и старые сучья.

Со стороны Преображенки катит с лязганьем старый трамвай с двумя прицепами. В вагонах свет наполовину притушен. Притормозил у остановки, пророкотала дверь, глухо, черным резиновым валиком бухнула в упор, из вагона раздался голос водителя, скрипучий, сдавленный динамиком: «Вагон идет в парк».

Брякнула монета в кассу, завизжал, заорал колеса-

ми трамвай на повороте, глухо подвыл себе мотором, чиркнул дугой по проводам, длинная искра с шипением пролетела. Бежит трамвай, гремит на стыках рельсов. Пол ребристый под ногами прыгает, стекла звякают и дряхляно, зло дребезжит. И скамеечки деревянные дрожат от этого мелкой малярийной дрожью, и меня всего грязет скамеечка, а может быть, это я сам по себе тряусь.

Голубь сизарь крошки подбирает, и то за каждую его испуг колотит, это Зося сказала. Ах, родненькая моя девочка, если бы ты знала, как заваливает меня всегда испуг тошнотным ужасом, если бы ты знала, какая это мука, какая пытка невыносимая — этот разлившийся в каждой клеточке страх. И если услышишь, что есть бесстрашные воры, не верь. Случаются воры тупые, нахальные, а бесстрашные никогда. И за всю жизнь тебе не испытать столько страха, сколько мне приходится испытать за одно только дело. Скрипят, лязгают тормоза на остановках, и водитель уныло, сипло говорит в микрофон: «Вагон идет в парк... Вагон идет в парк...»

Запоздавшие гуляки и усталые работяги садятся в вагон, проезжают одну-две остановки и сходят. Я не смотрю на них, мне видеть их невыносимо. Глазею я в темное окно, на пустынные спящие улицы, и оттого, что прохожих почти не видно, становится легче на душе.

На Домниковке все было без изменений — узкий, в ямах и рытвинах проезд, по которому тряско бежали редкие машины, маленькие старые дома, заборы дощатые, безлюдье, темнота. Справа чахлый скверик с автоматной будкой, подсвеченной желтой лампочкой. А вот и магазинчик, вот подворотня с проходом во двор. Из этой подворотни можно пройти в соседний двухэтажный домишко. Во дворе темно, воняет прелью и отбросами. Вот служебный выход из магазина. Ладно, мы его трогать не станем. Окно, забранное толстенной решеткой. Это окно или из магазинного склада, или из уборной, потому что угол решетки вырезан и там установлен мощный вытяжной вентилятор. Не надо трогать решетку. Толстая решетка — символ безопасности, и на символы мы покушаться не станем.

Подкатил к окну с решеткой мусорный бачок. Положил на него пустой деревянный ящик. Потом расстегнул «молнию» на своей сумке и достал резиновые перчатки. Они были толстые, и пальцы в них гнулись туго и слу-



шались неважно. Ничего, привыкнут. Сумку я повесил на шею — как кондукторскую, и если одной рукой даже ухватиться за решетку, то другой можно быстро и удобно достать из сумки то, что надо. Вскарабкался на бачок, потом влез на ящик, ухватился руками за решетку, постоял немного, чтобы освоиться на высоте. Ну вот, теперь порядок. Осмотрел вентилятор. Крепился он четырьмя болтами и к распределительной колодке подходило три толстых изолированных провода.

Ладно, благословясь приступим. Я достал «шведик», разводной ключ и, держась одной рукой за решетку, чтобы не загреметь со своей шаткой опоры, стал винтом подгонять ключ. Нарезка ржавая, губки ключа сходились медленно, неохотно. Наконец они плотно схватили болт. Я перехватил ключ правой рукой, а левой все придерживался за решетку и потихоньку повел ключ против часовой стрелки. Качнулся под ногами ящик, меня мотнуло из стороны в сторону, заскрипел внизу бачок, я навалился всем телом на решетку, но «шведик» из руки не выпустил. Сбалансировал и снова стал крутить разводным. Заскрипел болт, поехал помаленьку. Сделал полный оборот, второй, потом еще один, еще один. Порядок, дальше его можно будет вывернуть пальцами. Следующий болт открутился легко. Я освободил его почти совсем, но из паза не вынимал; вентилятор тяжелый и может перекосить оставшиеся болты — тогда хана, не снять мне его никогда.

И третий пошел с резьбы легко. А когда, прилично попрыгав, я столкнул с места последний, во дворе слышались чьи-то тихие, скользящие шаги. Под ложечкой холодная сосущая яма, горечь брызнула во рту, и сердца нет, оно остановилось, разорвалось, как брошенный об асфальт пузырек чернил и всего меня залило ужасом. Темнота, страх, я прижался к ржавой решетке, я размазался по ней, как клей, еще миг — и я просочусь сквозь нее паром. И шелестящие короткие неуверенные шажки. Остановились. Потом еще шажок и шелест бумаги.

Если сторож, то прорвусь. Пусть подойдет ближе, прыгну на него с криком — пугануть, и в подворотню. Через сквер надо бежать. Там за ним есть выход в проходнягу и можно попасть на Астраханский переулок.

Тишина. Я осторожно разворачиваюсь, только бы ящик под ногами не заскрипел, а рукой все держусь за

решетку. Ладони в резиновых перчатках совсем мокрые стали. Вздых. А если «шведиком» по башке?

Шуршание. Шаг. Шорох.

У стенки дворика, там, где мусорные баки выстроились шеренгой, мелькнула тень, это ведь рядом совсем. Ключ снял с болта, пальцы, сжимая его, занемели. Тень скользнула, замерла. Фыр-к!

Кошка.

Это кошка. Не сторож, не милиционер. Просто бродячая помоечная кошка. Долго стоял я еще неподвижно, утишая бой враз ожившего, подпрыгнувшего, судорожно забившегося, но все же отравленного страхом сердца. Я слышал, как оно билось, как испуганно-счастливо дышало оно.

— Брысь! — сказал я ей шепотом. То ли кошка не привыкла, чтобы на нее брыськали, то ли чувствовала эта проклятушая котяра, что нечего ей бояться — прав у нее здесь не меньше, чем у меня, но только не подумала она убежать, и сейчас, пообвыкнув, я отчетливо различал в темноте ее острый, настороженный силуэт на крышке мусорного бака.

Осторожненько развернулся я на ящике, снова подвел ключ к головке болта и быстро согнал его. Ключ бросил в сумку и, держась одной рукой за решетку, расстегнул и стащил с себя брючный ремень. Пришлось надуть изо всех сил брюхо, чтобы не свалились портки, держать-то мне их было нечем. Один конец ремня я подвязал коротким морским узлом к крыльчатке вентилятора, а другой перекинул на поперечину решетки — мне сейчас грохот от упавшего вентилятора был ни к чему. Достал кусачки и аккуратно перекусил провода. Вот и все — вытащил болты и стал потихоньку выталкивать вентилятор из гнезда. Еще раз потрогал ремень — должен выдержать. Толкнул изо всех сил мотор и спрыгнул с ящика. Вентилятор медленно, будто раздумывая, стоит ли это делать, кувыркнулся вниз, и жестяные лопасти его со звоном ударили в толстые прутья решетки, и удар этот, отчетливый, глухо звенящий, пронзительно-громкий в вязкой тишине ночи, врезал по моим нервам, будто эти два пуда железа упали мне на макушку.

Я весь сжался у стены, глядя на дрожащий еще от напряжения ремень, который держал теперь повисший в воздухе вентилятор. Но звон стих и перестал дрожать

ремень, а во дворе было по-прежнему тихо, и даже машин с Домниковки не было слышно.

Оперся я ногой о скобу бачка, на крышку, оттуда на ящик, ухватился руками за переплет открывшегося на месте вентилятора люка, подтянулся, влез до половины, улегся животом на раму, перевернулся, подтянул ноги, одну ногу засунул в люк, затем другую, повис на решетке, потом стал потихоньку опускать ноги внутрь, одна нога уперлась во что-то, поставим теперь другую, сейчас протащим голову. Порядок. Я стою в уборной на унитазе. Отсюда, даст бог, назад выбираться будет проще.

Спрыгнул на пол. Жаль, конечно, что свет нельзя зажигать. Зажмурил веки, чтобы привыкнуть к темноте, потому что как ни темно было во дворе, а здесь много темнее. И только я прикрыл глаза, как снова увидел бело-голубую Зосину ванную, пузатеньких рыбешек, водоросли и раковины, всем телом ощутил ласку теплой воды, вспомнил булыжные глаза Бакумы и с удивлением подумал, что больше никакой злобы на него не держу. И если на выходе из этого паскудного магазина меня возьмет уголовка, то, конечно же, не стану я закладывать Бакуму, потому что, во-первых, мое дело сразу превратится в групповое и сроку за него навесят вдвое, во-вторых, Бакума от тоски и злобы может расколоться на старые дела, и ничего хорошего из этого не будет, а самое главное, каким бы ни стал там ударником Бакума — он все-таки родная воровская косточка, из того же куска материала он выкроен, что и я. И если на кого и держать мне злобу, так это на Тихонова, потому что именно он мне жизни не дает, и если вдуматься поглубже, то ведь это не Бакума мне сегодня рожу разворотил, а Тихонов. Да-да, Тихонов. Я ведь, собственно, никогда не питал той ненависти к милиции, которой живут многие настоящие блатные. Я ненавидел Тихоновых в милиции, потому что несколько лет назад — уже при Шарапове — стало трудно жить, а при Тихонове вода подходит под горлышко...

Но сейчас не надо думать об этом, надо быстрее делать дело и уходить. Я приоткрыл ресницы, и еще мгновение перед глазами плавали яркие разноцветные круги и проносились быстрые светящиеся полосы. Потом глаза привыкли совсем, я толкнул дверь и вышел в коридор. Здесь не было окон, а чуть дальше — одна на-

против другой — две двери. Я чиркнул спичкой, на одной из дверей рассмотрел стеклянную табличку «Директор». Дверь была захлопнута на старый английский замок. Из своей аэрофлотской сумки я достал отвертку и подsunул ее под ригель замка, поддел и одновременно нажал плечом, что-то там хрустнуло, и дверь открылась.

Окно в директорском кабинете выходило на Домниковку, и в комнату попадал слабый свет уличного фонаря. Обычный убогий кабинетик, однотумбовый письменный стол, кривоногий диванчик, на стене доска с соображениями, в углу маленький сейф. Серьезных денег в нем быть, конечно, не может, но я точно знаю, что в них часто запирают остаток выручки после того, как инкассаторы уже сняли кассу. Сейф барахловый, и с моим фирменным инструментом его можно открыть проще, чем консервную банку. Но инструмента нет, а есть эти ржавые отвертки да кусачки.

Правда, у директора должно быть два ключа от сейфа и вряд ли он их оба уносит домой на связке. Я подергал ящики письменного стола — заперты. Снова загнал отвертку и отжал замочные язычки. В ящиках было полно каких-то бумаг, авоська, две хорошие шариковые ручки в пластмассовой коробочке, одна кожаная перчатка, еще какая-то дрянь, а ключей не было. Ручки я забрал. Осмотрелся и увидел, что на вешалке у дверей висит темный саржевый халат, в таких все магазинщики щеголяют на работе.

Вылез я из-за стола и уже без малейшей уверенности пошел к дверям — в халате шарить. Тряхнул его и по приятной тяжести, по легкому взбрыкиванию понял, что газеты всегда правы — сколько жив будет на земле человек, ротозеи и растяпы не переведутся. Мне даже шутка Окуня вспомнилась: «Халатность как халат: на кого ни надень — всем впору». Ладно. Добыл я, значит, ключи из халата, и, пока я прилаживал зубчики-бородки в скважине замка, все время не покидала меня мысль: а вдруг нет ни черта в этом поганеньком ящике?

Хлопнула негромко дверца, зажег я спички и осветил внутри сейф. Бумажки, бумажки, картонные папки, печать с чернильной подушечкой — я еще подумал, не взять ли с собой печать на всякий случай, а потом раздумал, чего с ней таскаться. Спичка не жгла пальцы

в резиновых перчатках, и я давал ей догореть до самого конца, и все-таки их прогорело четыре, пока в самом углу сейфа, под какими-то ведомостями я нашел деньги. Их было не очень много — пачечка измусоленных купюр в полпальца толщиной. Я со злорадством подумал, как завтра директор магазина будет выворачиваться перед уголовкой, придумывая всякие враки — откуда, мол, у вора могла оказаться точная копия ключа от сейфа. А сейчас он спит. И Тихонов спит. Это мой час.

Снова уселся я за стол — большой руководитель, ночной хозяин крупного торгового предприятия столицы Алеха Дедушкин. В негнувшихся перчатках было неудобно считать деньги, да и темно было. Чтобы рассмотреть — пятерка это или трешка — подносил я бумажки к самым глазам, и тогда мне казалось, будто от них воняет потом. Наверное, мне это казалось. Но до того как они завалились в этот дерьмовый сейф, товарищеграждане прилично попотели за эти засаленные бумажки. А я пришел и забрал их сразу. Все 437 рублей. Но этого было мало не только потому, что этого было просто мало — мне надо было еще окупить те часы, недели или дни моей жизни, которые безвозвратно отняла у меня своим появлением помоечная бродячая кошка. Никто, да и я сам, не может посчитать, сколько нервов срезала она у меня своим шелестящим шагом и шуршащей под ногами бумагой, как раздолбала она мне мозг, измочалила сердечные камеры. Но от того срока, что мне был предписан под названием «длина жизни Батона», она с маху оторвала приличный кус. Честное слово, кабы не эта бродячая помоечница, я бы положил монеты в карман, вылез через вентиляционный люк в уборной — и пишите письма!

Но мне была нужна оплата моих бесполезно подерганных нервов. И тогда я решился на такую штуку, которую никогда бы себе не позволил, кабы меня так не загонял Тихонов, кабы меня не вычеркнул из жизни Окунь, кабы не врезал мне так жутко по роже Бакума, кабы не напугала так сильно кошка и — самое главное — кабы мне не надо было всем доказать, что они меня рано сбросили со счетов.

Я зажег еще одну спичку и придвинул к себе телефон. На аппарате под диском было прорезано окошечко, и в него вставлена бумажечка под слюдой, а на бумажке был указан номер этого телефона. Я вообще-то

сроду не мог понять, зачем это делают, — не может ведь человек не помнить номер своего телефона? Но почему-то на всех телефонах в окошечках указаны их номера. И если директор магазина такой рассеянный, что ему нужно было читать по бумажке номер своего телефона, то придется мне его снова наказать за халатность.

Снял трубку и набрал 225-00-00. Толстые резиновые пальцы неуклюже вращали диск. Но я старался. Раздался протяжный гудок, потом еще один, еще. Наконец в трубке щелкнуло, и женщина пронзительным «справочным» голосом ответила: «Центральная диспетчерская такси слушает...»

— Добрый вечер, девушка, — сказал я бархатным, специальным «телефонным» голосом.

— Здравствуйте, — ответила она равнодушно.

— Голубушка, не смогли бы вы мне подослать сейчас машину? — я выжал из своего голоса весь сахар.

— Машины подаются в течение часа, — так же безразлично ответила она. И вообще ей было наплевать на все мои интонации — судя по всему, ей сейчас хотелось одного — спать.

Я стал канючливо объяснять, что вот, мол, поезд уйдет, а следующий только послезавтра, а я и так уже...

— Где ж мне машину вам взять? Из-под стола? Нет машин сейчас! Подойдет машина — позвоню. Давайте номер вашего телефона...

Задудели наперегонки гудки в трубке, я бросил ее на рычаг, вылез из кресла и подался из этого плюгавого кабинета в торговый зал. Дверь я оставил открытой, чтобы услышать звонок диспетчерши.

Пустой магазин ночью — ужасно непривычное и какое-то неуютное зрелище. И все время пугал гулкий стук собственных шагов.

Здесь все было как во сне — полно любой шмотвы; и все твое, все твое, что сможешь за один раз унести. Когда я был маленьким, мне иногда снились такие сны — бери, все твое, но из всего богатства твоего здесь столько, сколько сможешь за раз унести. Сколько же может из всего богатства унести один человек ночью, не вызывая интереса милиции и случайных прохожих? В отделе кожгалантереи я выбрал два больших немецких чемодана, а заодно снял с выставки плетеный ремешок для брюк.

Один чемодан я отнес в отдел мехов. Меха там были даже на ощупь дрянь, но в витрине лежали мужские каракулевые шапки. Вот их-то все я и перегрузил в чемодан, но заполнили они его только наполовину. Бросил туда же женское пальто с черно-бурым воротником. Сверху накидал шарфов и перчаток, прижал ногой крышку и застегнул замки.

Со вторым чемоданом я направился к стойке женского трикотажа, и сколько удалось напихать кофточек и костюмов, я и сам не знаю. Казалось, в это дерматиновое брюхо уже ничего не поместится, но меня охватило какое-то остервенение — столько добра должно было пропасть зря! Ведь взять можно было только то, что я уносил за раз, а у меня всего две руки, и больше двух чемоданов к такси не вынесешь. И я вминал трикотажные кофточки и костюмы в чемодан, будто мял глину, или взбивал тесто, или душил Тихонова, и каждый раз мне удавалось засунуть туда еще.

Напильником по нервам резнул звонок. Я сжался весь, и пот на спине мгновенно превратился в лед, но звонок раздался снова, и я сообразил, что это звонит диспетчерша. Опрометью кинулся я к дверям, зацепился за чемодан и с грохотом растянулся на полу, ударился больным избитым ртом о кафед, в глазах полыхнули искры, и острая боль рванула колено, и все-таки я сразу вскочил, ковыляя, добежал до директорского кабинета и рванул с рычага трубку.

— Такси заказывали?

— Да-да-да! — от боли я задыхался.

— Говорите свой адрес...

— Домниковская, дом 66, пусть у скверика остановится, я его из окна буду караулить.

— Такси пойдет от Открытого шоссе, минут через десять будет...

Я посидел несколько минут не открывая глаз, и боль стала стихать. Ах, господи, только бы выйти отсюда! Мне надо вытащить два чемодана и мою аэрофлотскую сумку. И пролезть в вентиляционный люк. Во рту все горело и что-то хлюпало. Я плюнул на пол, и даже в темноте было видно расплывшееся на паркете большое черное пятно. И я вспомнил, что вся моя рубаша в пятнах и грязи, вся насквозь провоняла засохшей кровью и блевотиной. Как же я мог забыть об этом! Ведь эта рубаша, в общем-то, и решила все.

Я снова пошел в зал, уперся изо всех сил здоровым коленом в крышку чемодана с трикотажем, и, если бы она не поддавалась, я бы, наверное, втер, вдавил бы ее в пол, но замок щелкнул, а тогда уже и второй заперся. Взял я этот чемодан и оттащил его в коридор, потом в уборную, вскарабкался на унитаз, поднял с пола чемодан и просунул его в люк, уперся и толкнул вперед. Ужасно долгим показалось мне мгновение, пока летел чемодан эти два метра до земли, я даже уши к башке прижал в ожидании удара, но бухнулся он о землю негромко, глухо.

Потом таким же макаром вытащил второй. Вернулся в зал, нашел стеллаж с рубашками и долго копошился там, выбирая получше. Нашел финскую нейлоновую, в полосочку. В красивом прозрачном пакете. Огляделся последний раз и пошел в директорский кабинет, к которому я уже привык, как к своему собственному. Да и виден мне был отсюда из окошка сквер, около которого должен остановиться таксист.

Стащил с себя плащ, пиджак и рубашечку мою прекрасную, надел финскую, полосочную, а свою хотел положить в сейф директорский, но вовремя передумал и запихал в свою сумку. Оделся и решил больше резиновые перчатки не натягивать — не за что мне теперь здесь хвататься. Уселся в кресло и закурил.

Против сквера, у автоматной будки притормозила «Волга». Я встал, через плечо плюнул трижды в кресло, на котором сидел, и пошел в уборную. Еще раз, последний, затянулся сигаретой, бросил окурочек в унитаз и спустил воду. Встал на доску, ухватился за решетку и рывком подтянулся. Пролезая через люк, подумал, что себя, к сожалению, я не могу выбросить в эту дырку, как свои чемоданы. А когда уже повис снаружи, то никак не мог нащупать ногой деревянный ящик, с которого я влез сюда, и понял, что падающие чемоданы сбили его с мусорного бака. Чуток еще повисел, а потом разжал руки, и когда врезался с маху в мусорный бак, загалдал: только бы ноги не сломать!

Постоял немного на четвереньках, прислушиваясь к себе самому, и понял, что все в порядке, ничего по крайней мере не сломано и не вывихнуто. Нашарил в темноте руками свои чемоданы — неподъемной тяжести они были, встал, отряхнулся. Теперь пройти подворотню и

тридцать метров до такси, и все, дело сделано. Но их ведь еще надо было пройти! И все-таки идти было надо. И я вышел из подворотни на улицу.

У скверика прикорнуло одинокое такси с непогашенными подфарниками. Шофер, сгорбившись за рулем, дремал. И ни одного прохожего. Я дотащил до машины свои чемоданы и постучал ему пальцем в окно:

— Поехали?..

ГЛАВА 23 БРИЛЛИАНТОВАЯ БРОШЬ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Я ужасно не люблю, когда меня будит будильник. По своему психологическому складу я человек ночной, медленно, трудно засыпаю, и самый крепкий сон затапливает меня к утру. И поэтому, когда в тишине раздается оглушительный дребезг будильника, я пугаюсь, будто меня хватили палкой по голове. Зато, проснувшись за несколько минут до звонка будильника, я испытываю злорадное чувство, как если бы мне удалось перехитрить его. С мстительным удовольствием нажимаю я кнопку стопора звонка, запирая бодрствующий дух часов еще на полсутки, и от этого охватывает меня веселое настроение...

Я открыл глаза и сразу же торопливо нажал кнопку звонка, поднялся с дивана, потом взял полотенце, халат и направился в душ. Пустил горячую воду и, когда кожа привыкла, начал потихоньку выводить кран с надписью «гор». Вода остывала медленно, наливалась холодом и упругостью, потом ледяные струйки стали плотными, как резина. Десятки злых острых лоз стегали, щипали, рвали сразу покрасневшую кожу, били в глаза, уши, ноздри, и я вспомнил, как мы с Шараповым мокли под невероятным ливнем в Останкине перед домом старухи Ларионихи, где скрывался беглый бандит Крот. Меня контузило тогда выстрелом, но, как сейчас помню, больше всего я переживал из-за порванного в свалке нового дакронового костюма. Смешно! Но факт — было это. Пять лет назад, и было мне тогда столько лет, сколько Сашке Савельеву сейчас. В ту ночь мы с ним и познакомились — это была зона его дружины...

Ощущение нестерпимого холода прошло, и я почувствовал, как тело наливается силой и бодростью, я чувствовал каждый мускул, каждую жилочку в себе, и я понял, что я еще молодой. Я еще совсем молодой, тридцать — это не так уж и много! Нет, немного!

От махрового полотенца пошел горячий зуд, и кровь пульсировала сильно и шумно, и было мне очень легко и весело. Поставив на плитку кофейник, я вновь завалился на диван и лежа стал драить щеки электробритвой. Было всего начало восьмого, и впереди был целый огромный день, полный всяких хороших и интересных событий, и все почему-то казалось мне прекрасным.

Надел свежую сорочку, аккуратно завязал галстук и чинно уселся пить кофе, и от всей упорядоченности моего утра я казался себе человеком просто замечательным. В буфете нашел вполне съедобную булочку и плавленый сырок, так что и завтрак получился прекрасный. Я отпил два глотка, встал и вынул из внутреннего кармана пиджака бумажную ленту. В кармане она, конечно, помялась несколько, но старые сгибы были по-прежнему отчетливо видны. Прихлебывая горячий кофе, я вновь свернул ленту по сгибам — крест-накрест и еще раз крест-накрест, получилась обертка-бандероль, какими опечатывают в банках пачки денег. Лента была мне интересна и непонятна. Зареченская милиция, обнаружив у покойного Сытникова при осмотре комнаты четыреста долларов, не предприняла никаких мер для выяснения источника приобретения этих денег. Логика у них была железная: все равно старик умер, имущество выморочное, деньги так и так будут переданы государству — тогда какая разница, где он их взял? Недосуг им было и невдомек размышлять над такими проблемами, что мертвые часто и живым в наследство дела свои оставляют. Да и, говоря между нами, не такое уж простенькое мероприятие они бы затеяли. Ладно, пойдем дальше.

Откуда у старика могли появиться доллары? Фаусто Кастелли разыскивал Сытникова и приходил к нему домой. Конечно, соблазнительно связать доллары с появлением Кастелли, но итальянец приходил, когда Сытников уже был мертв. Но в чемодане у Кастелли лежал крест сподвижника, начальника и друга Сытникова — генерала фон Дитца. Никаким случайным стечением обстоятельств это объяснено быть не может. Зна-

чит, они виделись раньше? Когда? Отдел виз и регистрации сообщил, что Кастелли в Советский Союз приезжал впервые. Сытников с момента ареста осенью 1945 года находился сначала в заключении, а затем безвыездно в Зареченске. Непонятно И очень сильно меня смущала обертка-бандероль. Такой лентой перевязывают деньги в банках. Если ею перевязывались советские деньги — рубли, например, они вполне по размеру подходят, — тогда по-прежнему все неясно. А если в ней были доллары? В банковской-то обертке?.. Тем более что на ней написано фиолетовыми чернилами: «500 по одн. Снято 100. К выд. — 400», а долларов у старика нашли именно четыреста?..

Я встал из-за стола и похвалил себя за правильно прожитое утро. Потом взглянул в окно — тепло на улице совсем было, перекинул через руку плащ и отправился на Петровку.

А еще через час мы шли по Страстному бульвару во Внешторгбанк, и я объяснял Сашке сложившуюся ситуацию:

— Здесь возможны три варианта: деньги официально получил Сытников, и это дает нам очень много, но вариант почти невероятен. Второе: кассир опознает свою обертку-бандероль и вспомнит, кому она ее выдавала. Этот вариант вероятнее, хотя информация наша будет беднее. Третье: в банке не смогут ничего вспомнить об этой операции, и, к сожалению, данный вариант ближе всего. Но отработать этот канал мы обязаны...

— А что еще осталось от Сытникова? — спросил Сашка.

— Какая-то бриллиантовая брошка. Да и она уже ушла в госфонды. Иди ищи ее теперь.

Сашка подобрал с земли тополиную ветку, потер смолистые клейкие почки между пальцами:

— Как выглядела брошка? Ее видел кто-нибудь у старика? Описание ее в протоколе осмотра имеется?

— Не знаю. В протоколе написано — брошь бриллиантовая женская. И все.

— Неправильно это, — серьезно сказал Сашка. — Я бы, например, охотно посмотрел бы на нее.

Я пожал плечами:

— Теперь уже поздно говорить об этом.

— Трудно сказать, — неопределенно пробормотал Сашка.

Четыреста долларов однодолларовыми купюрами получил во Внешторгбанке 28 февраля сего года Аристарх Сытников. Это было довольно невероятно, но факт: контролер-оператор показала нам журнал. «Получил — Сытников, 1896 г. р., паспорт серия, номер, проживает — Зареченск, ул. Прибрежная, д. 7, кв. 12. Деньги переведены на основании платежного поручения из Инюрколлегии, приходный ордер...» — в общем, все честь по чести. Вот это да! Мы этого никак не ожидали.

— Что будем делать, Стас? — спросил, очарованно глядя в журнал, Сашка.

— Я думаю, махнем в Инюрколлегию? А?

— Стас, у меня есть маленькая идейка индивидуального пользования. Что, если я сегодня займусь ее реализацией, а ты в Инюрколлегию двинешь сам? Нам ведь там вдвоем все равно делать нечего...

— Понятно. Привет.

В Инюрколлегии я договорился, что там снимут для передачи нам копии со всего наследственного дела Аристарха Сытникова — каждый документ был настолько интересен, что подлежит приобщению к делу. Поэтому Шарапову я все объяснил на словах, изредка заглядывая в записную книжку, где отметил наиболее удивившие меня моменты:

— Наследство было завещано Сытникову баронессой Анной-Лизой Густавой фон Дитц, вдовой генерала фон Дитца, урожденной Шмальбах, гражданкой Соединенных Штатов Америки, бывшей подданной Российской империи. Баронесса скончалась в ноябре прошлого года в городе Теннесси-Порт, штат Индиана, графство Окридж...

Фирма Уитуотерсгалл Бразерс
Соединенные Штаты Америки
Индиана

графство Окридж. Теннесси-Порт.

Дело: трестфонд баронессы фон Дитц.

Уважаемые господа, благодарим за Ваше письмо от 20 сентября с/г, содержание которого принимаем к сведению.

Сообщаем, что смерть баронессы Анны-Лизы Густавы фон Дитц, урожденной Шмальбах, вдовы генерала барона фон Дитца, гражданки Соединенных Штатов, бывшей подданной Российской империи, согласно решению окружного суда считается имевшей место.

Тем же решением единственным бенефициарием семьи фон Дитц объявлен двоюродный брат покойной полковник Шмальбах.

Неоспариваемым завещанием баронессы фон Дитц бывшему адъютанту ее покойного супруга Аристарху Евграфовичу Сытникову выделено наследство в сумме 400 (четыреста) долларов США.

...Мы считаем, что клиент Аристарх Евграфович Сытников, проживающий в СССР, в городе Зареченске, имеет разумные виды выиграть в своей претензии, поскольку его личность исчерпывающе идентифицирована представленными документами...

ДОВЕРЕННОСТЬ

Да будет настоящим всем, кого это касается, известно, что я, нижеподписавшийся, Сытников Аристарх Евграфович, принимаю завещанное мне баронессой фон Дитц не обремененное долгами наследство, назначаю и уполномачиваю адвокатов фирмы Уитуотерсгалл Бразерс, имеющих контору в городе Теннесси-Порт, штат Индиана, США, порознь и совместно быть моими полномочными и законными поверенными.

А. Е. Сытников.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Чейз Манхеттен банк переводит согласно поручению фирмы Уитуотерсгалл Бразерс в Иньюрколлегию, СССР, для вручения Сытникову Аристарху Евграфовичу 400 (четыреста) долларов США.

Я уже собрался уходить домой, когда позвонил Сашка.

— Стас, моя идея индивидуального пользования провалилась вроде, — голос у него был усталый.

— Какая идея? — удивился я, успев за этот долгий день позабыть о нашем утреннем разговоре.

— Да насчет броши. Я ведь целый день провел в отделе хранения ценностей. Ух, зажиточная организация! — с воскресшим энтузиазмом сказал Сашка.

— Ничего не перепало? — полюбопытствовал я.

— Кое-что. Недоразумение у тебя получилось, — невинно сказал он.

— Какое еще недоразумение?

— Тут разночтения возникли. У тебя в описи брошь женская бриллиантовая, а здесь опись поквартированное, так они ее называли по-другому... — Сашка помолчал, и я ощутил, как острым предчувствием застучало у меня сердце.

— Ну?!

— Баранки гну! «Брошь, украшение декоративное из бриллиантов, на основе белого металла, в форме восьмиконечной звезды».

— Звезду видел?..

— Я же говорю — провалилась идея. Звезду направили две недели назад для реализации в московский комиссионный магазин номер пятьдесят три...

— А в комиссионке был?

— Опоздал, — тяжело вздохнул Сашка.

— Продали? — крикнул я.

— Нет, поздно уже было в комиссионку ехать, закрылся магазин.

— Уф, — облегченно вздохнул я. — С тобой говорить, что суп дырявой ложкой хлебать.

— А какая разница — за две-то недели, наверное, продали звезду, — сказал уныло Сашка.

— Саня, она же ведь дорогая, — с надеждой сказал я. — Может, граждане и не бросились на нее сразу, это же не холодильник — не первой необходимости все-таки вещь, может, повременят, а, Саня?

— Может, и повременят Я же не каждый день себе бриллиантовые броши покупаю, так что сведения на этот счет у меня самые общие

— Ну ладно, значит, к открытию магазина мы уже там? Есть?

— Есть. Большой привет.

Я положил трубку. Звезда восьмиугольной формы. Я отчетливо представил цветные картины, которые мне показывал орденосвед в музее. Крест с перевязью и звезда. Елки-палки, звезда восьмиугольной формы!

ГЛАВА 24 ...И ЗОЛОТАЯ ЧЕЛЮСТЬ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

— Что у тебя с зубами? — спросила Зося испуганно.

Я поджал нижнюю губу под верхнюю, языком погладил дырку между зубами, но все-таки усмехнулся.

— Да так, ерунда. Сдача с разговора.

Она опустила глаза и, не глядя в мою сторону, сказала:

— Я ведь говорила тебе — не надо вам с Бакумой встречаться. Не послушал ты меня...

— И правильно не послушал, — пожал я плечами. — Ты что думаешь — старый кореш какого-то зуба несчастного не стоит?

— А много ты еще корешей проверять собираешься? — спросила она серьезно, и я ей тоже серьезно ответил:

— На нижнюю челюсть хватит.

Вот так мы поговорили, и Зося ушла на работу, и не спросила, где я шеманался весь вчерашний день и всю прошедшую ночь, а она знала, что я не ночевал дома, потому что как я ни спешил, а все-таки опоздал и пришел чуть позже ее — около шести утра.

Не знаю, что думала Зося о моих ночных приключениях, но вряд ли она меня ревновала к другим бабам — женским чутьем своим ощущала она, что не интересует это меня сейчас. Но спросить из гордости не хотела, а сам я не стал об этом распространяться, потому что утром бы она сразу почуяла вранье. А рассказывать ей про ночной магазин, про такси, Курский вокзал, про старуху в багажном отделении, которая за десятку сшила мне быстренько чехлы на мои чемоданы, про грузотправление: два места малой скоростью в славный город Тбилиси, — про все это мне не надо ей рассказывать, не обрадуют ее мои подвиги, и наплевать ей на мою удачу.

А вот насчет моей щербатой пасти она права. И не беда, что меня девочки-акселератки, язвы их в душу, любить не станут. А плохо, что для уголовки это примета серьезная. Не миновать мне теперь лап Серафима Зубакина. Смешно все-таки в жизни получается — один кореш мне зуб вынул, теперь другой вставлять будет.

Конечно, Серафим не то чтобы мой ближайший дружок был, но знакомство с ним давно водили. Дело в том, что Зубакин из всех известных мне жуликов наиболее ловкий и изворотливый прохиндей. Вообще-то он дантист, из-за чего я много лет считал, будто Зубакин — это вовсе его кликуха. Однако я ошибался — это была его настоящая фамилия. Так вот, если бы Тихонов познакомился с зубным врачом Зубакиным, он бы его, наверное, как и меня, очень сильно бы заненавидел. Никак, ну прямо ни за какие коврижки не хочет Серафим жить, не нарушая законов Советского государства. Казалось бы, дергай людям зубы и вставляй новые — чем тебе не занятие? И прибыльное, и почетное. Но толь-

ко Зубакин хочет обязательно с золотом работать. А ему разные там органы ОБХСС говорят — не могли ни в коем случае! Это ведь и понятно: откуда Зубакину взять законного, не воровского золота? Неоткуда. А Зубакин на ОБХСС плевал и за милую душу делал из золота и фацетки, и коронки, и мосты. Я ему сам сколько раз из своего улова «рыжий» металл сплавлял. Деньги он на этом зарабатывал, конечно, бешеные. Ну и, естественно, в милиции на Зубакина приличный зуб имели. А поймать не могли. Долго они охотились за ним, пока лет десять назад он по глупости не попался.

Сгубили его две вещи: любовь к собакам и интерес к шахматам. У него был изумительный пойнтер по кличке Додсон, и меня всегда с души воротило, когда я видел, как они из одной тарелки жрут. Не знаю, какой бы он там ни был чемпион среди псов, но ведь как-никак собака! А он с ним из одной миски лопает, от удовольствия жмурится. Тьфу, гадость! И вот недосмотрел как-то Зубакин, какая-то сволочь сунула псу в рот железный прут, и чемпион Додсон сломал себе сразу три зуба. Серафим чуть не повесился — ему пса на выставку выводить надо. Потом взял и сделал пойнтеру три золотых коронки — не знаю, чего тут больше было: любви к Додсону, тщеславия собачника, а скорее всего нахальной глупости. Во всяком случае, когда в собачьем клубе увидели пойнтера с золотыми коронками, там тоже от удивления варежки открыли. Ну и, конечно, кто-то сообщил в родную нашу, ту самую, которая нас бережет.

После этого случая товарищи в синих шинелях Зубакина под колпак надежный взяли. А тут он им сам помог своей второй страстью. Делал он в это время челюсть одной бабе на Гоголевском бульваре. А в соседнем доме — Центральный шахматный клуб, куда он часто навещался, поскольку сам хорошо играл и очень интересовался всеми этими «е2-е4». Привез он к вечеру протез, зацементировал, и надо было пациентке посидеть минут тридцать с набитым гипсом ртом, пока мост не просохнет. Скучно ему было столько времени на нее смотреть, он и сказал: «Вы посидите, не раскрывая рта, а я ненадолго отлучусь». Забежал в клуб, а там какой-то гроссмейстер дает сеанс одновременной игры. Пристроился Зубакин к доске и закаменел, как гипс у бабы во рту. Часа три он там проторчал, пока вспомнил. А баба с мужем своим в институт Склифосовского от-

правились — ей там цемент чуть не ломом из рта вышибали. Конечно, скандал жуткий, заявила она в милицию, и сгорел Зубакин на три года в северные районы.

К этому самому Зубакину я и отправился подремонтировать свой фасад, Бакумой испорченный. Давно уже отбыл Зубакин свое заключение, жил тихо, но, как я знал понаслышке, по-прежнему пробавлялся скользкими делами. Навар ему с меня небольшой — на золотые кусалки у меня сейчас монет не хватит, но по старой дружбе, думал я, он мне какой-нибудь костяной зуб смастерит, чтобы в глаза не бросалось.

Местожительство имел Серафим в Кисельном переулке, в небольшом двухэтажном доме. В длинный общий коридор выходило пять дверей из пяти крошечных отдельных квартирок, и в каждой из них был еще отдельный выход на улицу. Мне кажется, что до революции здесь был дом свиданий. Во всяком случае, для такого деятеля, как Зубакин, это было исключительно удобно — в парадное человек вошел, а когда и куда отсюда вышел — иди ищи его.

Встретил меня Серафим хорошо, весело.

— Давненько, давненько, друг ситный, ты меня, старика, вниманием своим не баловал... Зубы хороши или дела плохи?

— Дела хороши, а зубы плохи, — усмехнулся я.

— Ну, это мы тебе враз поможем. Расскажи про житье-бытье.

— Не могу, сильно шепелявый стал. Ты мне пасть почини, а то я как твой покойник Додсон.

— Ну тебе ж на выставку не надо. Ты ведь и с зубами медаль не получишь...

Я засмеялся невесело, снова вспомнил Тихонова и Савельева, рыжего мента на подхвате. Зубакин сполоснул под умывальником руки, задернул шторы плотнее, посадил меня рядом с настольной лампой.

— Ну-ка разевай свою варезку, — скомандовал он добродушно-весело. Долго смотрел мне в рот, сильно качал пальцами зубы, недовольно хмыкал, потом заинтересовался: — Ручная работа, как я понимаю?

— Нет, — сердито ответил я. — Столкнулся с самосвалом.

— Очень ловкий тебе достался самосвал. Считай, что он тебя на челюсть нагрел.

— Это почему еще? Один ведь зуб вылетел?

— Значитца, так: резец и коренной надо удалять, а зуб мудрости у тебя, как у придурка, — держать не будет.

— Ну вставь коронку или что там надо...

— А на что ее ставить прикажешь? На нос тебе или на...? Окромя выбитого зуба, для коронки соседи нужны крепкие, чтобы жевать мог: слюнями ее не приклеишь, Поэтому надо тебе мост съемный делать.

— На ночь в стаканчик с водой его класть?

Серафим хитро прищурился:

— Коли ты себя так уважаешь, Батон, что стаканчик не подходит, упри где ни то хрустальную вазу...

Я разозлился, посмотрел на него в упор и спросил:

— Ты телевизор смотришь?

— Иногда. А что?

— Чаше смотри. Тебя в нем третьего дня показывали.

— Меня? Где?

— В Африке. Есть такая птичка, не помню точно названия, но что-то вроде Серафима Зубакина... И живет она всегда рядом с крокодилами. Зверюга такой вылезет на песочек, пасть на метр раззявит, а птичка эта по имени Зубакин ходит у него там спокойно и выклеывает из междузубьев кусочки мяса. Крокодилу приятно, а Зубакину сытно.

Серафим захихикал ласково:

— К чему бы это, Лешенька, такой пример?

— Именно что пример, Серафим. А вспомнил так просто, случайно.

— Ну просто, так просто, тебе, Леша, виднее. А только сомневаюсь я, что крокодил тот — Леха Дедушкин, — Серафим добро улыбался.

— А почему же тебе это кажется сомнительным?

Серафим сипло заперхал, закашлялся от смеха.

— А ты, Лешенька, разве видел крокодила с выбитыми зубами? Это скорее на собачку похоже, на песика сирого, бездомного, беззащитного, безнадзорного.

Я уже отошел — ведь это Серафим правильно все сказал, потому что старик он умный, много живший и сильно битый, а оттого остро глядящий вокруг. Да и надрался я на него сам, вот и получил по выбитым зубам.

— Во всем ты прав, мудрая птичка Зубакин. Вот

только не сырый я пока еще песок. Пока что я железный барбос с каменной лапой. Говори лучше, что с моим мостом делать будем?

— А что будем делать? Делать его будем, — обрадовался Серафим. — Значитца, так: золотой мост — две коронки, между ними зубчики сделаем костяные беленькие. Ты же зубы сизые, стальные, носить не станешь? Ты же не связка-оборванец, ты же в законе, человек почтенный?..

Я кивнул.

— Значитца, дружок мой, давай теперь поговорим про пустяки...

— Давай.

— Золотишко, для работы потребное, сам принесешь? Или моим попользуешься?

— У меня нет рыжевы сейчас.

— Так о чем там разговаривать! Я тебе и сам металл найду! Червонненькие зубки будут, отменные кусалки, с отливом красненьким. Шестьсот рубликов все удовольствие.

— Ты что, Серафим, озверел? Шестьсот монет за мост?

— А что? Дорого?

— Конечно, дорого!

— Так ты в поликлинику сходи, в свою районную! У нас ведь обслуживание медицинское доступное, совсем бесплатное. Тебе там сразу, без очереди, с доставкой на дом как человеку заслуженному и сделают золотую челюсть.

Посмотрел я на него, посмотрел, головой даже от досады покачал.

— Жулик ты, — сказал я ему. — Старый разбойный жулик.

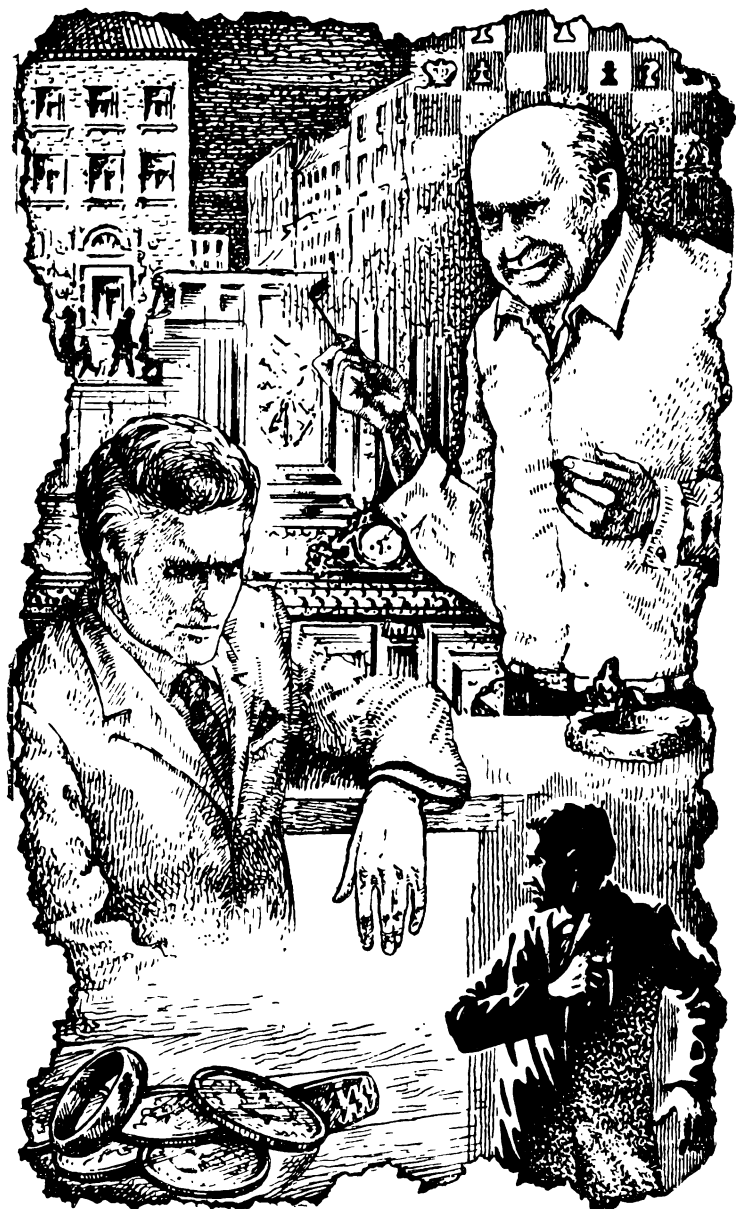
Он от радости снова засипел, закудахтал:

— Это точно. Я жулик, а ты херувим. Девушка непрованная, нежная, с розой алою на острых грудях.

Меня это рассмешило, и я сказал ему вполне добродушно:

— Черт с тобой, грабь бедных трудящихся воров. Только вот какая штука, Серафим, я с тобой расплачусь чуть позже...

Он все еще хихикал, и вытирал около умывальника после мытья руки не очень чистым полотенцем, и наверное, до него не сразу дошло то, что я сказал, потому



что он как-то по инерции еще пару раз усмехнулся, а потом замолчал так резко, будто я вырвал у него из рук его грязное полотенце и стер им с морщинистой хари смех.

— Это как мне надо понимать — чуть попозже? — спросил он строго, и я вдруг тоскливо, до боли в животе вспомнил выражение лица моего папаньки.

— Попозже — значит не сейчас! Мне сейчас деньги самому нужны. А через месячишко я тебе монет доставлю.

Зубакин аккуратно повесил на гвоздик свою поганую тряпку, провел в задумчивости руками по седым редким волосам, не спеша спросил:

— А почему через месяц?

— Через месяц деньжат насобираю.

— И на аван под золотишко тоже нету?

— Я тебе не сказал, что у меня нету. Я сказал, что мне они сейчас самому нужны. А через месяц и мне, и тебе хватит.

— Все понял, — бодро сказал Зубакин, и в его узеньких, замешоченных складками глазах засветилась решимость палача. — Значитца, так: через месяц будут деньжата, вот тогда и приходи — сделаю тебе зубки как картиночка. Договорились?

Серая, тяжелая, как свинец, злоба подступила к горлу, перехватила дыхание, я, наверное, с минуту слова не мог выговорить.

— Как прикажешь считать — мне на слово не веришь, что ли?

— Лешенька, мил друг, ничего тебе не могу приказывать — прошу только. Прошу меня тоже понять, не один лишь гнев в душе своей слушай — он в минуту острую не опора каменная, а пропасть бездонная.

— А что же мне тебя понимать-то? Что сука ты, паскуда нерезаная? Я ведь тебя за кореша держал, считал, что наш ты парень...

— Ошибка! — тонким сипатым голосом неожиданно перебил меня Серафим. — Дважды ошибка! Не сука я, это раз! А вторая ошибка — не ваш я. И не их! Я свой! Я сам по себе! Ты ведь свои дела для себя крутишь, меня в долю не зовешь, а паскудой почему-то себя не считаешь?

— Да я к тебе что — побираться пришел? Я у тебя вроде в долг попросил, а ты нахально, у меня на гла-

зах, деньги по карманам заныкал и говоришь — нету!
— Не говорю! Не говорю, что нету! Говорю, что дать не могу!

— Почему же ты, потрох поганый, мне дать не можешь?!

— Да не сердись, Лешенька, ты ж умный человек, ну сам задумайся хоть на минутку — я ведь не Форд какой-нибудь, я ведь себе добро по копеечке сложил, а ты хочешь, чтоб я золотишка граммов двадцать из кармана вынул и за здорово живешь тебе в рот положил! Про работу-то я уж не толкую!

— Я же тебе говорю, гнида, что через месяц отдам!

Серафим сложил ручки на брюхе, и спросил он меня вежливо, добро:

— Вот теперь понял. Ты ведь через месяц премию лауреатскую получишь. Или, может, кино выйдет, где ты главный артист-красавец неписаный? Или ты самолет новый придумал да мне рассказать позабыл? А может, еще где деньжат добудешь? А-а?

— А твое какое дело собачье? Тебе-то не все равно, где я деньги возьму? Украду хотя бы?

— Вот то-то, что не все равно.

— С каких это пор ты стал такой переборчивый? Ты у меня раньше не только ворованные деньги брал, но и рыжее чужое.

— Правильно, все правильно. Только деньги были совсем другие.

— Чем другие?

— Они уже были давно и благополучно украдены. И ты, живой и невредимый, а главное свободный, приносил их сюда. А те деньги, что ты мне за протез сулишь, надо тебе еще украсть...

— Так. И что?

— А ничего. Может, хорошо украдешь, а может, попадешься, у тебя ведь работа, как у мотоциклиста под потолком — риском своим да удачей проживаешься. Тыфу-тыфу — не сглазить, конечно, ты ведь понимаешь, что я тебе только доброго желаю...

Он еще что-то говорил, но я прямо оглох от ярости, ничего я не слышал из всей его галиматьи, и только жуткое, неодолимое желание ударить его молотком по голове охватило меня полностью. И непонятно, как у меня хватило сил спросить его спокойно:

— А ты, Зубакин, чем живешь?

— Специальностью, умением своим, ремесло мое кормит меня, поит, теплый кров дает...

Серафим все говорил, говорил, а я сидел и холодно, зло, весело обдумывал, как я сейчас его убью. Особо изощренный ум — это тоже форма тлупости, и чересчур хитрый Зубакин ошибся, сказав мне, что я в любой момент могу сорваться со стены. Ему даже в голову не приходило, что не только я — все мы, люди — потерпевшие и воры — гонщики на огромной невидимой стене, и никто не знает, когда и где он грохнется вниз, в тартарары. Рассматривая в упор непрерывно бормочущего что-то Зубакина, я неожиданно для самого себя вдруг ощутил просто ненормальный, счастливый, сумасшедший восторг от своего открытия — все мы, со специальностью или с одним лишь воровским фартом, мчимся по стенке, мельчайшая трещина на которой, незамеченный камешек или неосторожный плевок могут все и навсегда непоправимо изменить. И я сам не только гонщик на стене, но и доска этой стены, и сейчас Зубакин неосторожно плюнул на меня.

Всего несколько мгновений, только один виток он успеет сделать на стенке, как накатится вновь на свой плевок, я встану и мраморной пепельницей разможжу вдребезги его плоскую башку, а он вместе со своей хитростью, специальностью, умением и ремеслом рухнет вниз — в дерьмо и пустоту. И никогда в жизни, вот до этого самого момента я никогда не думал, что так просто убить любого человека, что так легко сбросить гонщика со стены. Я резко потрянул головой, и тонкий занудливый голос Зубакина вновь стал слышен, будто я включил приемник.

— ...в семь часов, в девятнадцать, значит, по-московскому времени лекция начнется...

— Какая лекция? — переспросил я.

— Да ты что, глухой, что ли! Говорю ж тебе — в шахматном клубе о чемпионате мира будет лекция. И партии сыгранные будут гроссмейстеры разбирать. Не интересуешься пойти? Поучительная весьма игра эта — требует тонкости ума необыкновенной...

— Не интересуется, — сказал я, и в следующее мгновение, когда пепельница должна была с хрустом врезаться в этот рыхлый склерозный затылок, меня толос-

нула острая, пронзительная, как электрический ток, мысль — остановись!

Ни страха, ни сомнений, ни волнения я не испытывал тогда. Просто внезапно понял, что если я разбрызгаю ему пепельницей мозги, то на отвесной стенке, по которой я мчался все эти дни, непонятно как удерживаясь в седле, сразу станет невыносимо скользко. Чтобы наказать его, а себя почувствовать прочнее на сиденье, его надо пришибить сильнее, чем пепельницей по башке, и такой способ существует. Зубакин натянул плащ, обернулся ко мне и, увидев, что я держу в руках мраморную пепельницу, подозрительно спросил — он ведь не боялся, что я убью его этой пепельницей, а только опасался, как бы я ее не спер:

— Чего в вещь вцепился? Старая она, дорогая, отношения бережного требуют...

— А зачем тебе, Серафим, пепельница? Ты же не куришь?

Он вздернул на плечи плащ, нацепил шляпу — колпак шляпы, чтобы вещь не портить, он ее не заминал, сказал неуверенно:

— Что значит «не куришь»? Другие приходят, которые курят. Вот ты, например...

Зубакин явно боялся, что я начну выцыгивать у него старую мраморную пепельницу. Господи, как же глупы люди! Я положил пепельницу на стол.

— Смотри, Серафим, не держи в доме вещей, которые самому не пужны. На грех наведешь... — засмеялся я злобно и пошел к двери.

— Не сюда, не сюда, Лешенька! — остановил Зубакин. — Отсюда лучше выйдем.

Он показал на дверь, которая выходила не в общий коридор, а во дворик Кисельного переулка.

— Здесь у меня только для входа дверь, — объяснил он. — Снаружи она запирается туго — перекосило ее от сырости.

В скважине двери торчал ключ. Мы вышли во двор, через подворотню в тупик, оттуда — за угол, в Кисельный переулок.

— Тебе в какую сторону? — спросил Зубакин.

— В Сокольники. Прощай, Серафим. Достану денег, к тебе не приду. Пусть лучше кто другой наживется на моей пасти, только не ты...

Не могу этого объяснить, но никогда еще за всю свою воровскую жизнь я так не радовался, выходя на дело. Обычно мне на горести потерпевших было наплевать с высокой колокольни. Когда я был совсем молодой, то я о них — что они там чувствуют и как переживают после того, как я их почистил, — просто не думал. Потом, заматерев, даже жалел маленько. Но никогда не радовался их горю от покражи. А тут я весь исходил от распиравшего меня удовольствия, представляя себе рожу Зубакина, когда он припрется домой после гроссмейстерской лекции.

В предбанничке с пятью дверями было пусто и тихо. Может быть, все эти болваны пользуются только черными ходами. Я осмотрел замок и вытащил из кармана два зубодера. Я не знаю, как эти штуки правильно называются, что-то вроде «трактора», в общем, клещи, которыми зубы рвут. Я увел их со стола Серафима, пока он опасливо следил за своей дорогой пепельницей. Даже не знаю, как это получилось, потому что заметил я их с самого начала — больно уж похожи они на «шперц» — воровские щипцы для выдиранья замков. И забыл сразу же. А потом, когда уже поднимал пепельницу, снова бросились они мне в глаза. И торчащий в замке входной двери ключ...

Огляделся в пустой прихожей, зажег спичку, присел на корточки и ощупал скважину замка. Старый взрезной замок, могучий рыжий урод, таких уже нигде не ставят, с тяжелыми накладками для дверных ручек, с раздолбанной скважиной — прорезной треугольник с круглой головкой — такие в «Крокодиле» рисуют как окошко для подсматривания. Но через скважину замка в двери Зубакина ничего не увидишь: изнутри в замок был заткнут ключ. Зубакин его специально оставлял в скважине — даже если иметь подходящий ключ, то снаружи не запихнешь, а выломать такой замок можно только перфоратором. Но у меня в руках были зубные клещи с тонкими, длинными и наверняка очень прочными захватами.

Снова осветил я скважину и осторожно засунул туда захваты зубодера. Кругло изогнутые, по форме зуба, они цапнули кончик ключа, но держались плохо — явно не хватало длины. Засунул второй и рассмеялся от радости — клещи легли на стержень ключа, будто это не ржавая железка, а глазной зуб. Зажав покреп-

че рычаги, я давил на них так, чтобы кривые хваталки клещей врезались в закаленный металл ключа, и, услышав тонкий железный скрип, плавно стал поворачивать ключ в замке по часовой стрелке. В замке щелкнуло чуть слышно, я быстро перехватил клещи в руке и резко повернул ключ еще раз. Дверь открылась. Ну вот видишь, Зубакин, и следующий «скок» мне тоже удался. Дорого тебе обойдется твоя бережливость.

Теперь весь вопрос в том, не сменил ли Серафим свой тайник? А старый я знал. Пять лет назад я удачно взял в берлинском экспresse чемодан, в котором неожиданно оказалось много золотых вещей. С ними я пришел к Зубакину. Чтобы не сбить цену, я не выволок их все пригоршней, а доставал из карманов по одной, отчаянно торгуясь за каждую вещь. Серафим чувствовал большой улов, но не знал, сколько еще и что есть у меня в карманах, поэтому он поставил три бутылки водки, и мы усердно смачивали глотки во время торговли до тех пор, пока я вусмерть не упился и не заснул на клеенчатом зубакинском диване. Среди ночи я проснулся и у окна, освещенного луной, увидел ползающего на коленях Серафима. Видимо, я неосторожно повернулся, заскрипели пружины в диване, Зубакин испуганно привстал, и на пол с тоненьким звоном упал золотой медальон — я хорошо видел его в светлом пятне на полу. На всякий случай я что-то сонно бормотнул и захрапел. Прошло, наверное, несколько минут, пока он успокоился и стал снова шерудить за батареей у подоконника. Я понял, что там у него тайник. Правда, по тем временам мне и в голову не пришло бы чистить из его лабазов каменных алмазы пламенные. А теперь все переменялось. Мы теперь мчались по стене, и пускай проклятый скупердяй задавится от жмотской досады, от того, что пожалел мне несколько граммов золотишка, забоялся, что я с ним могу уйти в тюрьму, не расплатившись...

Сегодня не было луны, да и не нужна она мне была вовсе — я и так хорошо ориентировался в зубакинской комнате. Я встал на колени у окна, засунул руку за батарею и тщательно ощупал стену. Стена была холодная, чуть влажная и очень ровная. Я нажимал сильно в разных местах на стенку, но никаких дверок и лючков не открывалось. Потом так же осторожно и внимательно я ощупал низ подоконника, но снова ни-

чего не нашел. Но я ведь тогда ночью точно видел, что именно у этой батареи шустрил Зубакин.

Я встал, подошел к буфету и вытащил из ящика кухонный секач. Вернулся к подоконнику, снова подлез за батареею и загнал секач под плитус, дернул, и весь метровый плитус легко отскочил. Под ним была щель. А в щели — штук двадцать золотых монет, портсигар, судя по весу, золотой, несколько обручальных колец, — и все. Конечно, это не главный и наверняка не единственный тайник Серафима, но дальше ломать его квартиру не было времени. Распишал я все это добро по карманам, зажег настольную лампу и своей новой шариковой ручкой, той самой, что увел из директорского кабинета в магазине на Домниковке, написал записку: «Птичка мудрая, Зубакин! Челюсть мне сейчас нужна, а не через месяц. Если вякнешь — две статьи поймеешь (забыл, откуда рыжевые клевал?). Остаюсь любящий тебя крокодил Леша».

ГЛАВА 25 САВЕЛЬЕВ, БОЕВОЙ ЗАМ- ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Без десяти одиннадцать я подошел к комиссионному магазину. Около витрины с разношерстным антиквариатом прогуливался Сашка. Издали я видел, как он выгибает шею, пытаясь заглянуть в магазин через стекло, красные волосы у него искристо блестели на солнце, и вообще он был сильно похож на лису, приготовившуюся к охоте. Я хотел незаметно подойти к нему и попугать, но, когда до него оставалось всего два шага, Сашка резко обернулся и сказал, будто продолжил свою минуту прерванный разговор:

— Ваша дама бита! Я уже давно наблюдаю в стекле пакостное выражение на твоем лице...

Мы засмеялись и хлопнули друг друга по плечам. Сашка спросил:

— Ломберный столик красного дерева не нужен? Вон стоит — в хорошем состоянии, всего четыреста двадцать рублей. По вечерам чаек будем попивать, а потом в картишки перекидываться.

— Меня останавливает то, что мы с тобой не знаем игр, для которых нужен ломберный стол.

— Это уж точно. Я по необходимости выучил игры, популярные среди моих клиентов, но не уверен, что для игры в «буру», «сику», «петуха» и «очко» нужен стол. Кстати, а в какую игру спустил деньжата Герман?

— Какой Герман? — не понял я.

— Эх ты! — Сашка преисполнился презрения. — Пушкинский. Ну «тройка, семерка, туз»...

— Не знаю, во что они там играли. Я вообще только в подкидного дурака умею. Может быть, в покер?

— Скажешь тоже! — засмеялся Сашка. — Хотя это не имеет значения: Герман все равно был обречен на поражение независимо от характера игры.

— Это почему еще?

— Ну это я тебе как криминалист говорю.

— Чего-чего? — окончательно развеселился я.

Сашка уселся на перила витрины, закурил сигарету, достал из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок в клетку и сказал:

— Очень модно сейчас на базе криминалистики исследовать исторические факты: отравили ли Наполеона, умер ли от рака Рамзес II, дали ли Пушкину холостые патроны... Вот я накропал статейку в один журнальчик — убей время до открытия магазина, поредактируй...

Я с некоторым удивлением развернул листок. Кривым Сашкиным почерком он был исписан вдоль и поперек.

«Операция, которую провернул Герман со старухой, находится на грани аморального поступка и преступления, — прочитал я. — А человек он был жалкий и трусливый. «Я не могу рисковать необходимым в надежде приобрести излишнее», — говорил он. Поэтому после смерти старухи он сильно занервничал — ведь могло выясниться, что он был там. Результатом непосильной для такого ничтожного человечка психологической нагрузки явилась галлюцинация с приходом старухи, назвавшей три карты. Герман понимал — в этом нет сомнений, что никакой графини у него дома не было и никаких заветных карт никто не называл. Он был человек чрезвычайно рациональный и оценить достоверность полученной во время видения информации мог трезво. Но тут в нем начинается бешеная внутренняя борьба — ужасно хочется добыть легко и быстро чужие денежки, а, с другой стороны, страшно. Мы уста-

новили — человек он аморальный, он ведь, чтобы выведать секрет трех карт, хотел пойти в любовники к полудохлой старухе, и стремление выиграть деньги уже полностью захватило его. Но существует барьер трусости и жадности — боязнь рискнуть «необходимым». И тогда этот барьер начинает штурмовать не его человеческая сила, а его душевная слабость. Рационалист, презвый маленький хищник, он дает себе самому убедить себя, что дух погребенной старухи приходил к нему и назвал три карты. Ему так хочется денег, он так любит себя, настолько считает себя человеком нестандартным и ранее несправедливо обойденным судьбой, что убеждает себя — это был перст рока. Злодейство совершено — старуха умерла, но ведь он сам так много пережил при этом, что будет просто несправедливо дать пропасть его переживаниям, остановиться на полпути. И здесь происходит эгоцентрический сдвиг, характерный для психики любого преступника, полностью забывающего о моральном и физическом ущербе, причиненном его жертвам. Герману и в голову не приходит задать себе контрольный вопрос: а с какой это радости ко мне явился дух старухи? Чего хорошего я старухе сделал, чтобы она меня после смерти облагодетельствовала? Не замечая ловушки, расставленной себе самим, он прет полным ходом навстречу краху — его человеческие слабости уже размыли барьеры. Теперь надо назвать три карты, а Герман знает, что их ему никто не называл. Но он снова убеждает себя, что видение подсказало ему именно «тройку, семерку, туз». Да и в конечном счете что-то надо назвать, а Герману все равно, ибо, не будь галлюцинации, он бы так и поставил — как во всяком преступлении, алчность уже победила осторожность. И Герман называет три карты. Ну а тут достаточно посмотреть «Занимательную математику» Перельмана, и все станет понятно — возможность трижды правильно назвать сочетание трех карт из 56 практически близится к нулю. На этом основании...»

Сашка спрыгнул с перил, бросил окурок в урну:

— Убедительно? До открытия магазина — одна минута.

Я засмеялся.

— Не уверен я, что Пушкин согласился бы на такую трактовку образа, но в целом довольно занятно.

— У Германа нервы были плохие, — убежденно сказал Сашка. — Ему надо было взять подельщика вроде нашего Батона...

В пустом еще магазине гулко прогремели наши шаги, и мы вперились в прилавок, где были разложены на черном бархате различные украшения. Девушка-продавщица с интересом посмотрела на двух рьяных любителей драгоценностей, прямо с утра рысью бросающихся к ее прилавку. А мы еще раз осмотрели весь прилавок — звезды не было. Сашка спросил:

— Девушка, а вы драгоценности любите?

— А кто же их не любит? — весело сказала продавщица.

— Я, например, — сказал Сашка, — у меня из-за них одни неприятности. Семья очень обижается на недостаток драгоценностей. Вот решил поправить дела.

— Пожалуйста, у нас хороший выбор, — сказала девушка, недоверчиво глядя на Сашку.

— Но у меня целевой заказ. У вас тут есть брошь — звезда восьмиугольная из бриллиантовой россыпи...

— Была такая. Уже опоздали, ее несколько дней назад купили.

— Кто купил? — вырвалось у меня, хоть я и понимал глупость своего вопроса.

— Покупатель, — пожала плечами девушка. — Обычный человек, мужчина...

Сашка облокотился о стекло прилавка, нагнулся вплотную к продавщице и сказал:

— Девушка, дорогая моя, мне эта звезда нужна вот так, — и он провел пальцем по горлу, — давайте подумаем вместе, как нам разыскать этого мужчину...

Продавщица удивленно посмотрела на него:

— А как же мы его разыщем? Он сюда редко заходит.

— А все-таки заходит? — оживился я. — Вы его знаете?

— Как вам сказать? Он появляется время от времени, что-то берет. Я знаю, что его зовут Сергей Юрьевич — он мне как-то сказал.

— А фамилию или чем он занимается?

— Не знаю. Мне ведь это ни к чему. А зачем вам звезда?

Сашка махнул рукой:

— На два дня рассказов хватит. А вы не скажете,

может, он что-то в других отделах приобретает? Может, его другие продавщицы помнят?

— Нет, я не в курсе. Вот только я припоминаю, в конце прошлого года он сдал на комиссию в художественный отдел какую-то картину. После этого ко мне подошел и сказал, что очень доволен: картина ему надоела, а в продажу ее поставили хорошо...

Деловой архив магазина, к счастью, еще не отправили во Вторсырье. Директор магазина проводил нас в маленькую пыльную каморку, заваленную кипами бумажных пачек и журналов. Сашка снял пиджак, повесил его на гвоздь и предложил:

— Ну что — благословясь?..

Нужную нам комитентскую карточку и соответствующую запись в «амбарной книге» мы нашли часа через четыре. Во всяком случае, мы хотели верить, что это именно нужная нам карточка. Я с удовольствием продекламировал:

— «Полотно, масло, осенний пейзаж, иностр. школа, авт. неизвест., рама — багет художеств. нереставр., разм.: 67×52. Цена — 110 р. Комитент — Обнорский С. Ю. Дом. адр.: 6-я ул. Октябр. поля, д. 94, кв. 66». Старик Шарапов прав — не бывает, чтобы не осталось хоть каких-нибудь следов от любой человеческой акции. Необходимы только настойчивость и фантазия!

— Не приписывай счастливый случай себе в заслугу, — сказал Сашка, развалившись на пачках бумаг. От пыли его лицо посерело, пригас лихорадочный блеск волос.

— Сашок, всякий случай — это несистематизированный и не взятый под контроль факт. Просто надо придать его стихийности некоторую упорядоченность. Тогда все приходит в соответствие и заурядный случай превращается в вещдок.

Сашка смотрел на меня улыбаясь:

— Что-то я не заметил такой уверенности и твердости духа несколько часов назад у пустого прилавка...

Мы приехали на Петровку, чтобы привести себя в порядок и выяснить, кто такой этот Обнорский Сергей Юрьевич. Пока я старательно отчищал от пятен и пыли свой и Сашкин пиджаки, мой боевой зам усердно накручивал телефон адресного бюро. Передав запрос: «Только срочно, слышите, очень срочно, я дожида-

юсь», — он подошел проверить мои успехи. Осмотрев критически, взял у меня щетку:

— Совсем ты безрукий человек, Тихонов. Тебе и пиджак доверить нельзя. В гардеробные мужики тебя бы точно не взяли.

— Нахал вы, Александр, и прирожденный эксплуататор чужого труда.

— Не говори... Где-то я даже неокOLONиалист и агент империализма. А теперь надевай снова пиджак и смотри, как это делается. На щетку нажимать не надо — это тебе не утюг, и движения должны быть не снизу вверх, а совсем наоборот. Касания легкие, быстрые, вот так, вот так. Эх, если бы не ты надо мной был бы старший, а я над тобой — я бы тебя быстро жить научил. А так воспитательный процесс затягивается.

— Бодливой корове бог рог не дает, — проворчал я и неожиданно спросил: — Саня, а ты стричь умеешь?

— Умею, — удивленно сказал Сашка и добавил: — Если ножницами, а не машинкой. А что?

— А стряпать? Ну суп там, второе всякое?

— Умею, — сказал Сашка и по недоуменному выражению его лица я понял, что спрашиваю о вещах, для него само собой разумеющихся.

— А рубашку сшить?

— По выкройке? Или так?

— Ну, допустим, по выкройке.

— Конечно. А чего там уметь? Наложил материал, обвел, ножницами обкроил и на машинке швейной по сгибам — вжик! И готово.

Зазвонил телефон. Сашка подбежал к аппарату:

— Я слушаю. Да-да. Записываю, адрес имеется, так — профессор абдоминальной хирургии в 3-й Градской клинике, телефон... Спасибо, девочки. Ну еще бы, у нас с вами любовь до гроба...

Сашка положил трубку.

— Итак, звезду нашу купил профессор Обнорский. Давай-ка позвоним ему в клинику и увеличим его прием еще на двух пациентов.

— Давай.

Но профессора мы не застали. Минут десять ловил его Сашка по все новым и новым номерам телефонов — в хирургии, в прозекторской, в амбулатории, в перевязочной, в ординаторской — и везде сообщали:

только что был, уже вышел. Наконец, когда круг замкнулся в отделении, медсестра сказала: сегодня больше не будет, уехал домой.

— Сегодня 29 апреля, — сказал я. — Если мы это отложим до завтра, все может повториться снова, и тогда до после праздников — пишите письма. Потеряем неделю.

— Идеи есть? — деловито осведомился Сашка.

— Домой. К профессору домой надо ехать. Ты мне больше не нужен, можешь отдыхать. Я к нему сам поеду.

ГЛАВА 26 СОВСЕМ ОДИН ВОР АЛЕХА ДЕДУШКИН

«Куплю хорошую дачу с большим участком. Звонить от 19 до 22 часов». Я читал это объявление и никак не мог сообразить: то ли сама судьба меня в капкан манит, то ли это знак: сменился тайный ход карт, и вся игра теперь пошла ко мне.

Вычитал я объявление в брошенной Зосей на кухне газете, приложении к «Вечерке». Глупость человеческая, суетливость, бессмысленная коллекционерская алчность бушевали на этих страничках. Какая-то дура умоляла возвратить ей потерянную собачонку, ученый хмырь Марк Львович менял, покупал и продавал старинные открытки, деятель по фамилии Муковей предлагал поменять свою однокомнатную квартиру в Дегуinine на трехкомнатную в центре, таинственно намекая на «возможные варианты», кандидат наук обещал двоечников подготовить в институт, а безымянный телефон сдавал-продавал-нанимал гараж. И хор в двадцать голосов зазывал няню к маленькому ребенку. А меня заинтересовал покупатель дачи с большим участком. Дело казалось таким простым, что я даже испугался, не заломает ли меня судьба на нем.

Всего три газетные узенькие строчки занимало это объявление, но оно мне прямо весь мир застило. Ни о чем, кроме него, я не мог думать, потому что чувствовал — там можно содрать приличный куш, там можно снять банк, который позволит надолго лечь на дно и затихарить. Для меня так много было написано в этих

трех строчках — телефон, по которому я легко узнаю адрес, они радостно мне сообщали, когда приходят домой и во сколько ложатся спать, и самое главное — на весь свет они прокричали мне, что имеют дома монеты. Конечно, не держат они в комодке специально для меня перевязанные толстыми пачками крупные купюры, но ведь и дураку понятно, что когда люди просят продать им хорошую дачу с большим участком, то еще до этой покупки они плотно набили свою хазу добром, потому что хорошие дачи с большим участком не покупают на деньги, сэкономленные на завтраках. Перед таким объявлением обязательно проходит несколько лет, а то и десятилетий благополучной, хорошо обеспеченной жистишки, когда и мебель, и разные там магнитофоны-приемники-холодильники-телевизоры уже давно закуплены и хорошо обьезжена стоящая в гараже машина. Теперь им понадобился свежий воздух, озон, кислород и с собственного кустика клубничка, наливная, краснощекая. Я вам, мать вашу раздери, покажу клубничку, малинку, крыжовник — так вас и разэтак!

Я сидел у телефона, дожидаясь, пока стрелка часов доползет до семи, и, когда палец повел диск по аппарату, понял — решено!

— Слушаю, — раздался чуть хриловатый мужской голос в трубке.

— С телефонной станции говорят, старший линейный мастер Черевков.

— Здравствуйте, товарищ Черевков.

— Товарищи дорогие, ну так же нельзя! — заблажил я. — К вам монтер четвертый день попасть не может — целый день звоним, никто к аппарату не подходит.

Удивленно и немного растерянно мужской голос ответил:

— А кому же подходить — у нас все целый день на работе. А в чем дело — телефон ведь у нас вроде нормально работает?

— Мы на всем участке меняем аппараты на новые, немецкие, с сигнальной лампой вызова...

— Да-а? — заинтересовался голос. Он не только хорошую дачу хотел и большого участка при ней ему было мало — он еще бесплатно хотел немецкий аппарат с сигнальной лампочкой заграбастать. Давай глотай живца, раз ты так любишь новые телефоны.

— Да! — нажал я. — Мы до праздников должны закончить работу, пятого мая нас на другой участок перекинут.

— А как же быть-то? Нас ведь днем не бывает. Сейчас же у всех перед праздником дел полно. — Потом его озарило: — А вы не можете попросить монтера прийти после семи? Ну задержаться немного? А мы бы его уж отблагодарили!

— Не знаю, не знаю, я ему таких приказаний давать не могу. Но завтра я с ним поговорю, может, согласится он. У вас линейный монтер Володя Попов, хороший парнишка. Я ему скажу завтра.

— Вот спасибо вам большое, — с чувством сказал кандидат в дачники. — Ну и мы ему чего-нибудь к праздничку, того...

— Так, хорошо, подождите, сейчас запишу, ну есть, порядок, — бормотал я в микрофон, а потом, будто вспомнил: — Подождите, я же вашу карточку уже сдал в стол учета, повторите мне ваш адрес...

— Конечно, конечно, запишите...

Ну вот и адрес в руках. Иди, Батон, отдали тебе город на разор. Маленький город на улице Воровского, дом 22.

Пусто дома. Я один. Зося на работе. И время — начало восьмого. Завтра утром я пойду брать пустой, почти обреченный город. А сегодня? Телевизор не работает, да и смотреть его неохота. Чем бы заняться? Хорошо бы пойти куда-нибудь. А куда? Куда было бы хорошо сходить? К родным. К друзьям. К каким-нибудь интересным знаменитым знакомым. Составить пухляку с тремя лопухами. Прокатиться на речном грамвайчике. Или лучше на простой лодке-однопарке, как тогда, двадцать лет назад в Щукине, с Никой Карташевой — мы с трудом наскребли пятнадцать рублей старыми, совсем-совсем старыми, дореформенными, по трешничку в час за лодку — это все, что у нас осталось после покупки булки и ржавого копченого лебса, а запивали мы эту царскую жратву прямо из реки, и вода пахла чуть-чуть железом и тиной, а потом лежали на пляже совсем одни, да и никакой это вовсе и не пляж был тогда, а просто пустующий луг с приотптанной травой, и в день этот солнечный, тихий, июньский, обычный будний день никого, кроме нас, не было на заречном пустом пляже, потому что катерок-

паром тогда работал в Щукине только в воскресенья, а у нас была своя лодка, арендованная на пять часов, и часы эти были неподвижны и быстры, как текущая перед нами река, прозрачная и холодная, еще не настоявшаяся на тугом июльском зное.

С Тушинского аэродрома, маленького, зеленого, близкого, взлетали игрушечные серебряные самолетики, закладывали в прозрачно-синем небе пенисто-мыльный следок и кружились над нами, переворачивались, к самой воде заваливались и снова взмывали вверх с гундосым рокотом. И все это они так старательно вытворяли, будто отрабатывали перед нами представление, купленное на те же старые пятнадцать рублей, за которые выдавали на пять часов лодку, пустынную луговину за рекой и возможность молча лежать рядом с Никой, держа руку на ее теплом упругом животе.

«Леша, а ты не хочешь стать летчиком?»

«Нет. Это скучно».

Я ведь не могу ей сказать, что не могу стать летчиком — с детства я был болен страхом высоты. Это какая-то непонятная мне болезнь, вроде того безотчетного ужаса, который охватывает меня в пустом закрытом помещении, но даже на балконе второго этажа я не могу стоять спокойно — меня начинает мутить и сильно кружится голова.

«А кем бы ты хотел стать?»

Я хотел стать летчиком. А еще больше я хотел стать следователем. Но сказал почему-то: «Миллионером».

А она в ответ засмеялась. На ее загорелой, коричневой коже теплел светлый, почти прозрачный пушок, и, когда я осторожно, вроде случайно проводил ладонью по ее сухощавому, очень гладкому бедру, во мне все тряслось, и становилось горько-сухо во рту. Я лежал ничком на траве рядом с ней и гладил ее все настойчивее, увереннее, требовательнее, а она не отодвигалась и не убирала моих рук, и я очень переживал, что от волнения мои ладони становятся мокрыми и шершавыми и ей это, наверное, противно. Но она не отталкивала меня.

Углом глаза я видел, что, закинув руки за голову, она смотрит широко открытыми глазами в высокое выцветшее небо, и весь ее мягкий профиль, не тронутые еще бритвой волосы под мышкой, скрутившийся от воды ситцевый простенький лифчик, из-под которого мне

была видна ее маленькая, совсем не загоревшая грудь с крошечным коричневым соском, все это я помню, будто просто прикрыл на одно мгновение глаза, и пробежало в этот миг двадцать с лишним лет.

Я приподнялся на коленях и, неловко ткнувшись вперед, поцеловал ее в губы, неумело, слюняво, с постыдным громким чмоком. Ника словно очнулась от сна, тряхнула головой, засмеялась, села, обняла меня и прижала к себе, и всем своим дрожащим пылающим телом я ощутил ласковую мягкость ее небольшой груди, похожей на острые белые яблочки: «Не надо, Алеша, этого сейчас не надо. Подожди, ты еще маленький».

«А ты меня совсем не любишь, Ника?» — я задыхался, мне просто дышать было нечем, я думал, что сердце у меня лопнет.

А она поцеловала меня в обе щеки и впрямь как маленького и снова засмеялась: «Когда вырастешь, тогда сам узнаешь».

«Я уже вырос, уже вырос», — повторял я горячо, как заклятье.

А Ника качала головой.

«Нет еще. Нет еще. Ты просто хороший парень».

«Ты просто хороший парень», — сказала она тогда. А вечером хороший парень Алешка, по прозвищу Батон, пошел постоять на стреме Гаве Горбатову — тот на продуктовый магазинчик нацелился. И обоих там же и взяли. «Исходя из материалов дела, суд приговорил несовершеннолетнего Алексея Дедушкина, ранее судимого, к пяти годам...»

И оттого что больше я никогда не видел Нику, я считаю, что и не было вовсе никакого пляжа — пустынной луговины с притоптанной у воды травой, не брали мы лодку напрокат, не ели копченого леща с булкой и не пили прохладной, чуть пахнувшей тиной воды.

Но ведь был неуклюжий двухэтажный троллейбус, на котором мы ехали от Сокола через весь город. Неужели никто не помнит этих смешных, похожих на слонов троллейбусов, как они катили по всему Ленинградскому шоссе, по улице Горького, до Манежа?

Я помню, помню, как мы ехали с Никой на верхо-туре, на самой первой лавочке. И весь город был подомной, и даже страх высоты не мучил меня, потому что я крепко держал ее руку и тихонько млеял от счастья.

И очень переживал, что не смогу проводить ее до дома — я обещал Гаве Горбатову быть у него в восемь, а Гаву я очень уважал, очень был почтенный вор Гава, и для меня было огромной честью приглашение его. После первого стакана водки, который мне поднес Горбатый, я сразу сильно окосел и очень захотелось поделиться с ним распиравшим меня счастьем, да и поговорить с таким опытным человеком мне казалось совсем не лишним, а он участливо выслушал меня и сказал:

«Сегодня по делишку сбегает, монета у тебя живая заведется в кармане. Значит, ты Нику свою домой волоки, баночку водки в нее влей, а сам не пей, чтобы не балдеть, значит».

«А зачем?» — спросил я.

Он добро, снисходительно засмеялся.

«Ну и сивка же ты, ну и олень! Захмелится она — тут ты ее и... того...»

Захотелось дать ему по морде, но от водки стал я весь волглый, бессильный. Набил он мне быстренько хлебало, поспал я часа три и плохо помню, как он меня разбудил, где он меня поставил на стреме, плохо даже помню, как нас забрали. Почему-то осталось только в памяти, как Гава разорялся, что при первой возможности «попишет» меня. Случая ему такого не представилось, потому что через несколько лет его самого муровцы застрелили на Преображенке, когда брали шайку Мотьки Козла.

Подох давно Гава. И Ники нет, как будто и не было. Не с кем на лодке кататься в Шукине.

А речные трамваи еще не ходят — только лед сошел, апрель.

И трех самых ничтожных, ну самых пустяковых знакомых не наберешь, чтобы составить пульку в преферанс.

А хорошая бильярдная есть только в Доме кино, да не ждут там меня.

И на вокзал мне нельзя — наружная и патрульная милиция и сыщики транспортные уже в ладошке фотоаппарата мой держат крепко.

В ресторан мне тоже нельзя — самое лучшее место снимать таких, как я, глухарей.

И новой бабы скоро не будет — дай бог, чтобы Зося не прогнала.

А из интересных знакомых у меня только Шаман сумасшедший.

Дружков ни одного не осталось. Ни одного.
И родных нет. И не было.
Один я на свете.
Совсем один.
Один.

Давно уже стемнело в комнате. Не раздеваясь, лежал я на тахте и долго, долго смотрел в чернеющий постепенно потолок. И летали по нему маленькие, будто игрушечные, самолетики, кружились низко, почти до самой воды, падали и уносились снова ввысь с негромким гундосым рокотом. Навсегда.

ГЛАВА 27 СВЕТСКИЕ КОНТАКТЫ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Супруги Обнорские собирались в театр. Жена была уже совсем одета, а Сергей Юрьевич завязывал галстук, когда я позвонил в дверь. Во всяком случае, узел был не затянут, пиджак с белым платочком в верхнем кармане висел на спинке стула — я видел все это в зеркале на стене прихожей. Жена, загораживая мне вход в гостиную, сердито сказала:

— Сергей Юрьевич никого сегодня принимать не будет. Он занят.

— Мне не на прием, и Сергей Юрьевич мне нужен буквально на две минуты.

— Не может он! Он не может сегодня. Я же вам русским языком сказала — он занят.

— Но у меня к нему дело, не терпящее отлагательства. И очень ненадолго.

— А у кого к нему дела терпят отлагательства? Господи, неужели нельзя понять, что врачи тоже люди, что им тоже полагается досуг, что раз в год и они имеют право сходить в театр, черт побери!

Сергей Юрьевич Обнорский, не догадываясь, что я прекрасно вижу его в зеркале, продевал в манжету запонку. Он был спокоен и весел, моляжав и очень красив седой благообразностью, какой наливаются в по-

следний период зрелости люди, никогда в молодости не бывшие красивыми. Грозный речитатив супруги он молча комментировал смешными гримасами, он ведь не знал, что я вижу его в настенном зеркале, как на телевизионном экране. Я сказал:

— Я бы, между прочим, тоже с удовольствием сходил в театр, но вместо этого приехал вовсе к вам...

Профессорша замерла, изучающе глядя на меня — сумасшедший или такой феерический наглец. Я воспользовался паузой:

— Мне медицинские познания профессора Обнорского, к счастью, пока не нужны. Я старший инспектор Московского уголовного розыска Тихонов.

Онемение мадам перешло в ступор. Но я смотрел через ее голову в зеркало: Обнорский поднял голову и насторожился — не ослышался ли он. Но продолжающаяся тишина в прихожей убедила его, что он не ослышался. Сергей Юрьевич смешно поджал губы и передернул носом, изображая крайнее удивление, потом крикнул:

— Валентина, в чем там дело? Почему вы говорите в прихожей, а не в гостиной? Проводи человека сюда...

Под пудрой у женщины выступила краснота, она вошла в комнату со словами:

— Этот товарищ говорит, что он из уголовного розыска...

Профессор протянул мне крепкую жилистую лапу, поросшую короткими жесткими волосами:

— Прелестно. Я всю жизнь мечтал познакомиться с настоящим детективом вроде комиссара Мегрэ, да никак не доводилось.

Обнорский говорил во всех словах вместо «е» тяжелые полновесные «э», и слова от этого получались особенно весомые — прелестно, мечтал, дэтектив.

— А у меня с комиссаром сходство чисто внешнее, — сказал я.

Профессор оглядел мою тощую фигуру, видимо, сравнил с толстым комиссаром в драповом пальто с бархатным воротничком и от души захохотал.

— Итак? — спросил он. — Чем обязан?

— Пятнадцатого апреля вы приобрели в комиссионном магазине номер пятьдесят три бриллиантовую брошь в форме восьмиконечной звезды...

Я говорил торопливо, потому что хотел быстрее по-

кончить с формальностями и получить в руки свою вождеденную звезду. Смешно, что мне пришлось так долго гоняться за ней, а теперь она рядом, совсем рядом, где-то лежит в двух шагах от меня в любимой хозяйкой шкатулке для драгоценностей. Я был так счастлив, что звезда нашлась, что нашелся покупатель, что застал его на месте, что все в порядке, что звезда лежит где-то рядом в коробке — я даже перестал сердиться на мадам.

— Одну минутку, — сказал профессор и быстро взглянул на жену, — тут происходит какое-то недоразумение. Я ни пятнадцатого апреля, ни в какой другой месяц не покупал никакой броши. Это ошибка.

— Как ошибка? — оторопело переспросил я. — Вы же сдавали на комиссию в этот магазин осенний пейзаж, масло, иностранной школы, автор неизвестен?

Жена поднималась из угла, как грозовое облако:

— В чем дело, Серж? О чем спрашивает этот молодой человек?

— Оставь нас в покое, Валентина! У тебя какие-то странные представления! Инспектор интересуется какой-то вещью и поэтому вправе задать мне все нужные вопросы...

Но реакция жены стала уже неуправляемой:

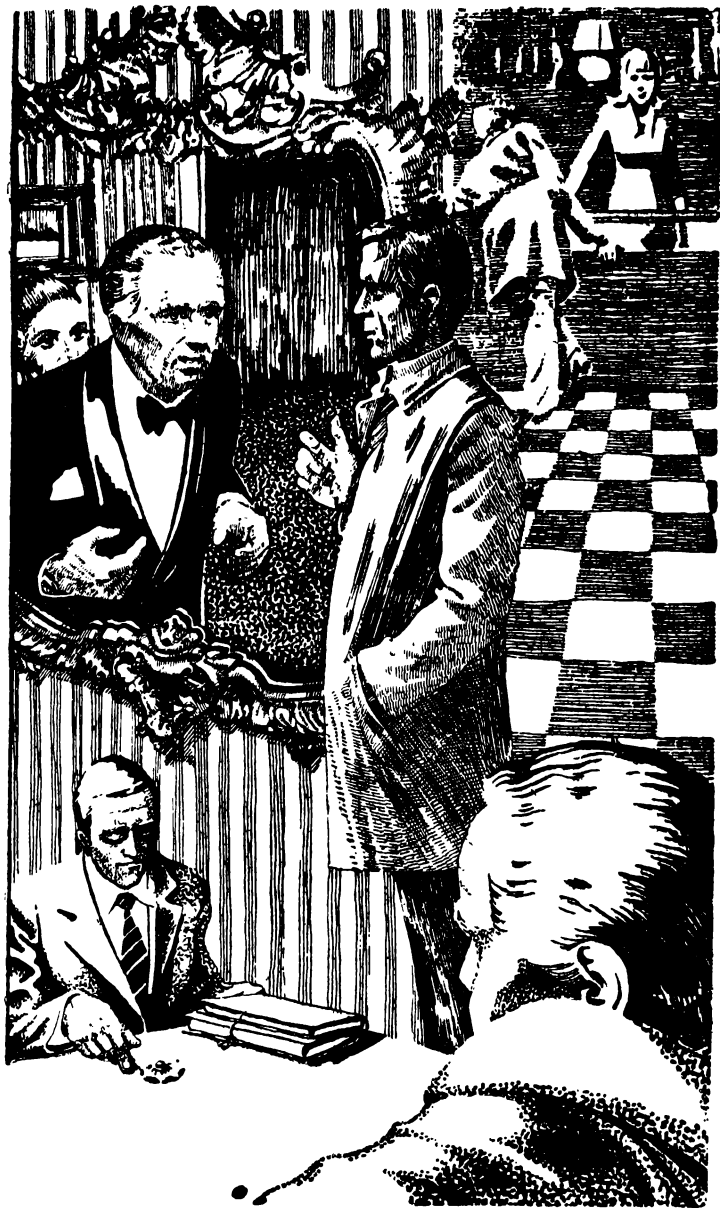
— Ну и что? Сдавали, сдавали! Мы разве не имеем права продать собственную картину? Или есть указание получать в таких случаях разрешение в уголовном розыске? И при чем здесь какие-то краденые броши?

— Прекрати, Валентина! — сквозь зубы сказал Обнорский, у которого прямо на глазах портилось настроение. — Кто говорит о краденых брошах?

— Но этот человек не из Пушкинского музея, а из уголовной милиции. А там интересуются краденными вещами! Ты хоть это понимаешь?

Обнорский судорожно вздохнул, будто слюну сглотнул, и зло покачал головой.

— Сергей Юрьевич, мы с таким невероятным трудом, собственно, благодаря счастливой случайности разыскали вас, нам до зарезу нужно взглянуть на эту звезду, мы ее вам сразу же оставим, только сфотографируем ее, она ведь — сама-то звезда — нам и не нужна, — я сбивчиво бормотал, чувствуя, как с трудом обретенная почва стремительно уходит из-под



ног. — На звезде номер должен быть с обратной стороны, нас этот номер интересует...

Профессор решительно встал:

— Я никакой звезды не покупал и, о чем вы говорите, не понимаю.

Я видел, что тяжелый мучительный склеротический румянец пал на его щеки.

— Как же не покупали? Нам продавщица Надя сказала, она вас прекрасно запомнила, она помнила даже, что вы сдали картину на комиссию...

— Она меня с кем-то спутала. Это ошибка.

— Прекратите в конце концов допрашивать ни в чем не повинного человека! — закричала жена. — Мы завтра же позвоним вашему начальству на Петровку. Сержик, ну скажи ему, что ты примешь завтра меры!

— Уйди, Валентина, — тихо сказал Обнорский. — Ты меня медленно, но верно убиваешь, — и я испугался, что с ним случится удар. Но звезда была где-то здесь, совсем рядом, я не мог уйти без нее, потому что за ней было для меня все — Батон, Сытников, бесследно исчезнувший Кастелли, Сашка Савельев, знающий, что трусость и аморальность ведут к краху, большое сердце Шарапова, «ваша человечность» — Люда-Людочка-Мила, комиссар с нечугунной шеей, легкомысленные тонкие пальцы матери, вся моя неустроенная жизнь, отсутствие войлочных тапочек и мечта промчаться по стене.

Поэтому я твердо сказал:

— Сергей Юрьевич, эта звезда не краденая. Но только с ее помощью я смогу раскрыть преступление, масштабы которого мне еще самому неизвестны. Если я разыщу эту звезду и окажется, что это та, которую я ищу, станет ясно, что мы на правильном пути. Я вас очень прошу подумать, мне без этой звезды от вас уходить никак нельзя...

Обнорский устало сказал:

— У меня звезды нет. Нет у меня звезды! И давайте кончать этот разговор.

Я ошалело посидел еще мгновение, потом провел ладонями по лицу, встал и пошел к дверям, и все-таки вернулся:

— Я ведь понимаю, что никто не даст мне сайкцию на обыск у такого респектабельного человека, как профессор Обнорский, да еще по такому смешному эпизо-

ду. Да и целесообразность его мала — коли не даеcь сразу, то, пока бы я получил разрешение, спрятать можно. А вот насчет совести как? Тоже спрячете? Вы сейчас со мной то же самое сделали, как если бы вы меня вам ассистировать на операции попросили, а я бы больному в живот ножницы спрятал. Прощайте...

Совершенно оглушенный, я шел по улице без направления и цели. Почему, ну почему они отказывались? У профессорши на роже было написано, что она не отдаст звезду. Так я ведь и не собирался ее забирать. Профессор хоть совестился немного, а эта жаба смотрит тебе в глаза, будто ни о какой броши и не слышала. Видно, такая судьба у этой звезды — идти долгим, кривым, извилистым путем по людским рукам. Я вошел в телефонную будку, набрал Сашкин номер. Он выслушал мой рассказ, лаконично резюмировал:

— Ты не прав. Надо было в прихожей на коврике лечь. Не уходить, пока звезду бы не показали.

— Ага. Дежурный по городу очень порадовался бы, когда бы ему дозвонилась мадам и сказала, что я лежу на коврике в передней.

— Я бы на его месте посоветовал ей выдать тебе матрасик... Слушай, Стас, а может, он липовый профессор, а сам из их шайки?

— Не безумствуй, Александр, — сказал я сердито. — Ты Шарапова не видел?

— Он из министерства звонил, просил тебя разыскать. Позвони ему срочно.

— Ладно, с тобой все. До завтра. Большой привет.

Я остановил такси и поехал на Петровку. Около стадиона «Динамо» нас задержала колонна бронетранспортеров и танков — Московский гарнизон готовился к праздничному параду. Я подумал, что несправедливо не выводить на парад колонну милиции — все-таки тоже воюем. Иногда со стрельбой. И погибшие есть, и вполне известные герои имеются. Масштаб интереса выше?..

Шарапов сидел за столом в парадном мундире, важный, загадочный за голубоватыми дымчатыми стеклами очков. И я снова удивился, как много у него боевых орденов. Даже какие-то иностранные.

— Батя, а что это за крест?

Шарапов покосился себе на грудь.

— «Виртути милитари», польский орден, — и добавил, будто оправдываясь: — По начальству ходил сегодня, полагается быть при всем иконостасе.

Помолчал, задумчиво глядя в зеленый мягкий свет настольной лампы.

— Смешно получается — за четыре года войны я получил двенадцать наград, а за двадцать лет здесь — три...

— Так там ты на танке орудовал, а здесь на кресле. Шарапов прищурился на меня:

— Вот когда-нибудь сядешь в мое кресло, тогда посмотришь, как в нем сидится.

— Я же с фронтом все равно сравнить не смогу.

— Да, — сказал Шарапов, — я надеюсь, что и не сможешь. Придется на слово мне поверить. Только вот говорю я совсем плохо, мало чего объяснить вам могу. Я промолчал.

— Я когда говорю с вами, немного теряюсь. Вы, молодые, сейчас очень много знаете, больше, чем я в те же годы. Но у вас знание другое. Поэтому я говорю с тобой и опасаюсь, как бы ты не засмеялся — чего он там еще, старый хрен, поучает? А мне так важно отдать тебе то, что я знаю, а ты еще не смог узнать, и узнаешь только через боль, горечь разочарования...

— Батя, когда же я над тобой смеялся? — искренне удивился я.

— Не об этом я, Стас, говорю. Ты в работе человек способный, но тебе не хватает усидчивости, ну вот как сапожнику, например, или портному. А без этого никуда далеко не пойдешь. И еще: ты учиться не любишь — самолюбие не позволяет, все у тебя под настроение, вдохновение тебе обязательно подавай, а иначе сидишь на месте камнем. Да-а... А это неправильно.

— Батя, я сторонник творческого подхода к нашему делу.

— Сынок, любое творчество на усердии стоит. Понимаешь, памятники не на гениальных открытиях поставлены, а на терпеливых задницах. Усердие, понимаешь, дает большое умение, без которого ничего не бывает. Да-а-а... Возьми, например, войну. Тут, казалось бы, чистое счастье — попадает в тебя пуля или нет. Так это, да не совсем.

— А как же?

— А так. Я вот поначалу никак понять не мог на фронте: если танкиста в первые несколько месяцев не убило, значит, долго он воевал еще. А ведь танкистов — в процентах, конечно, больше всех погибало. Потом только понял: если он в первых боях не погибал — счастье шло навстречу, то он научался правильно воевать. И убить его уже было тораздо труднее. Вот и я хочу, чтобы ты научился воевать хорошо, ну грамотно.

— Слушай, Владимир Иванович, я хоть звезду и не добыл, но все равно такого разноса не заслужил.

— А я и не разносил тебя, мне по моему возрасту положено иногда поворчать. Я, так сказать, на всякий случай, для памяти. Чтобы мобилизовать тебя. Дело в том, что из Софии пришла телеграмма.

— Что же ты раньше молчал? — подскочил я.

— А чтобы тебе все вышеуказанное сказать. В министерство вызывали меня, показали депешу. Там содержатся два очень важных сообщения. Первое: обнаруженный вами в чемодане Кастелли портсигар был украден вместе с другими ценностями из квартиры их известного композитора Панчо Велкова. Болгары полагают, что это одна из целой серии краж, которые происходят уже третий год, причем ни преступники, ни ценности ни разу не были обнаружены. Второе: гражданин Республики Италия Фаусто Кастелли, находившийся в Болгарии на статусе туриста, на другой день после приезда из Москвы выбыл из Софии в Берн. Серия краж, полагают они, осуществлена одной бандой, и дело это находится под особым контролем. Так что болгарам вы этим Фаусто здорово помогли — стало ясно, кого искать. Вскорости в Москву прилетит для консультации с нами офицер связи из их Министерства внутренних дел. Докладывать дело будешь ты.

Я растерянно почесал в затылке:

— Да-а, дела-а...

Шарапов усмехнулся:

— У нас дела одни и те же — уголовные.

Я посмотрел на него внимательно и спросил:

— А как же со звездой? Она теперь еще важнее для нас. Если мы правы в своих предположениях...

— Завтра вызови сюда профессора, — перебил Шарапов, — девочку эту, из магазина, пригласи. Очная ставка. Разговаривать всерьез будем.

Три комнаты оставил мне дачник в полное распоряжение. Три аккуратно прибранных, хорошо обставленных комнаты. А у меня никогда не было своей комнаты, хотя бы одной, пускай с плохой обстановкой. Не нужен мне был бы тогда свежий воздух, и клубника своя не понадобилась бы.

Интересно, сколько здесь живет людей? Чем занимаются? Хорошие они люди или дрянь? Старые или молодые? Деньги свои или тоже прижулили? А какое это имеет значение? Они ведь потерпевшие! Они все беззубые! Стадные, парнокопытные. Собравшись в ораву, они могут затоптать, а вот рвануть глотку — так, чтобы один на один, — это им слабó. И бежит вокруг этой толпы, сипит, пастью щелкает, скребет землю лапами, от злобы заходится Тихонов, бережет их обстановку, радуется, что сохранил им свежий воздух, уберег от меня их добро бесценное. Пропадите вы все пропадом, и молодые и старые!

Устал я очень. Ужасно устал. У меня нет сил больше. Живет ведь на свете какой-то чучмек, которому за полторы сотни перевалило. И считают его все дураки старым человеком. А он рядом со мной щенок, мальчишка сопливый. Мне ведь уже тысяча лет. Глупость со мной случилась — никакой я не Батон, вор в законе Леха Дедушкин, а бродячий я Жид бессмертный. И умереть мне спокойно не удастся, потому что поганая душа моя, неугомонная, алчная и ленивая, сразу же в другого новорожденного вора попадет, потому что я точно помню, до слова почти все помню, как мне дед мой мерзкий читал евангелие, и все там про меня было написано, не про похожего человека, а именно про меня, и в той тысячелетне пропащей жизни звали меня Варрава, и пусть хоть весь свет объявит меня сумасшедшим, но я-то точно знаю, что в том малопонятном дедовском бормотании мне совсем наплевать было на все Христовы страдания, а только до слез, как родного человека, мне было жалко разбойника Варраву, которого по случаю нелепому — один раз в жизни подфартило — помиловали, и то от смерти не удалось отвертеться.

Где же выход? Что же мне дальше делать?

Идиотские вопросы для человека, уже раскупорившего чужую квартиру. Надо брать, брать как можно больше, вещи как можно дороже, надо забрать их отсюда и быстрее сматываться.

Я начал со спальни. Открыл шкаф и, торопливо отбирая вещи, стал бросать нужные мне на кровать, а те, что оставлял хозяевам на разживу, на пол. На полках лежало чистое белье — смахнул его разом на пол, чтобы посмотреть, не спрятано ли чего-нибудь доброе в глубине, у стенок.

Со стены смотрел на меня грозным глазом сердитый папаша в буденовке и с шашкой на поясе. Фотография выцвела и потрескалась. На груди, на левой стороне шинели, к банту был привинчен орден, но из-за того, что фотография истускнела и полопалась, казалось, будто это и не орден вовсе, а стреляная рана затекла кровью. Очень хмурый, злой глаз у него был, словно это я выстрелил ему в грудь. Я отворачивался от него, чего-то мне не хотелось смотреть в его сердитые, выцветшие картонные глаза. Я полез в шкаф за чемоданом и вдруг безо всякой связи вспомнил, как много лет назад у меня дома, там, у отца, по месту моей прописки, делал обыск Тихонов.

Он был тогда еще самый настоящий сопливый щен, и я видел по его красной тощей шее, как мучительно, как невыносимо стыдно и противно ему копать в чужом шкафу, среди чужих, заношенных, грязных вещичек. И все-таки он, медленно двигаясь от шкафа к комоду, от дивана к буфету, методично шмонал все подряд — наверное, точно так, как учили его этому в институте. Или Шарапов учил его этому, но, во всяком случае, он тем вечерком добыл у меня немало всякого барахла, значащегося в розыске, очень сильно он хотел в те времена стать настоящим сыщиком и доказать мне, что он не сопляк и не щенок.

Ну и что? Разве он добился своего — вот я спокойно по его системе и методу обыскиваю безо всякого ордера квартиру, и не для того, чтобы вернуть барахло кому-то, а все забрать себе.

Сложил два чемодана и отнес в переднюю. И когда вернулся в кабинет, меня поразила мысль, что существует возможность вынуть все или хотя бы часть тех денег, что они собрали на дачу. Письменный стол был

не заперт. Смешно, я давно это заметил: люди, которые и мысли не допускают, что здесь, в их лабазах каменных, будет шустрить и кувиркаться вор, все равно прячут ценности куда-нибудь поглубже, и глубины самые нелепые; в них ищут в первую очередь под бумажками в письменном столе, за вещами в шкафу, на полке среди книжек; еще почему-то любят класть деньги в буфет под проволочную сетку с ножами-вилками, словно надеются, что, залетев сюда по недоразумению, я поленюсь поднимать их ящик с мельхиором и нержавеющейкой.

Сломанные часы карманные, морской кортик, тубик с клеем, патефонная пластинка, рисунки на плотной бумаге, папки с бумагами, две пачки сигарет «Новость», карандаши, несколько медалей в коробочках, толстый блокнот с блестящей табличкой монограммы — «Дорогому Николаю Ивановичу в день пятидесятилетия».

Вот они — три сберегательные книжки. Анна Федоровна Репнина, срочный вклад — четыре тысячи рублей. Николай Иванович Репнин, срочный вклад — две тысячи рублей. Николай Иванович Репнин, счет № 7911 — четыреста двадцать три рубля 72 копейки.

На книжках — штамп с адресом и телефоном сберкасс.

Анну Федоровну — обратно в стол. Два Николая Ивановича. Один положил две тысячи рублей в сберкассу на Суворовском бульваре 15 сентября 1966 года, больше записей нет, значит он там был один раз пять лет назад — растит на серых полях сберкнижки «срочные» проценты. У второго Николая Ивановича четыреста двадцать три рубля и 72 копейки на счете, и эта цифра — итог двадцать шестой операции в этой книжке, открытой в кассе на улице Горького. Значит, там его могут знать, значит и этого Николая Ивановича швырнем обратно в ящик.

Чтобы забрать вклад, нужен образец подписи и две тонны спокойствия. Перед окошком не дергаться, не суетиться, не щериться девке-кассирше трусливыми улыбочками.

Нужен образец подписи. В доме он наверняка есть. Вообще, в любом доме есть все необходимое для вора, чтобы обнесчастить хозяев, потому что обычные люди всегда не готовы к встрече с вором из-за того, что самые поганые и подозрительные людишки не могут

представить себе, как вор захочет обойтись с ними. И для того чтобы защититься, держат Тихонова. А я и его на кривой объеду.

Во втором ящике стола, запертом на хилый врезной замочек — его пришлось ковырнуть стамеской, лежали паспорт Николая Ивановича Репнина и супруги его Анны Федоровны, в бархатной коробочке очень старый, с отбившейся кое-где эмалью орден Красного Знамени, приколотый к красному шелковому банту, и вороненый браунинг с гравировкой на ручке: «Красному командиру Ивану Репнину от революционного командования».

...Не понять, не вспомнить, не объяснить — почему я, подержав мгновение в руке пистолет, уже собравшись бросить его обратно в ящик, задержался еще на миг, снова перечитал надпись и опустил его в карман пиджака.

Здесь же, на письменном столе, стоял телефон. Обычный черненький горбатый аппарат. Ну спрашивается, зачем, за каким чертом Николаю Ивановичу понадобилось менять его на новый? Но он захотел, и теперь я звоню по его телефону.

— Сберкасса? Здравствуйте! Это ваш вкладчик Репнин. Мой счет номер 24685. У меня срочный вклад на две тысячи. Я вас прошу приготовить мне деньги, я после обеда заеду. Нет, не только проценты, я все снимаю. Кстати, голубушка, если вас не затруднит, произведите мне расчет заранее — мне в автомагазин обязательно до четырех надо поспеть. Ну конечно, очень уж охота до праздников машину получить... Спасибо вам, родненькая...

В паспорте, в самом низу странички, есть пункт четвертый: «подпись владельца». И Репнин здесь здорово постарался, он, наверное, язык высовывал от усердия, когда выводил свою замечательную роспись — четкую, ясную, без всех этих дурацких завитушек-финтифлюшек. Тут же лежали расчетные книжки по квартплате. Видимо, Николай Иванович с Анной Федоровной дружно поживали да добра наживали — за квартиру они ходили платить по очереди, и там, где платил Николай Иванович, стояла его простодушная и ясная роспись, точно такая же, как в паспорте — с круглой шапкой буквы Р, похожей на рослый гриб, и высокими перекладами буквы Н, отчего его фамилия, написанная шариком, была похожа на «Реппип».

Я взял паспорт и расчетную книжку и вышел из квартиры, тихо притворив за собой дверь с взломанным замком. Я ходил по улицам, пахло горьким тополиным медом, дождем, апрелем. Но воздуха свободы не было. А только ужасная тоска, как голодная крыса, грызла сердце, и снова, снова остро бился, в каждой жилке пульсировал, туманил голову ужасный, непереносимый страх. Потом я зашел на почту, сел за столик в углу и целый час подряд учился писать «Реппип».

За десять минут до открытия сберкассы я был уже у дверей и к окошку подошел первым, тут же заполнил квиточек на красной, расходной стороне, а паспорт Репнина вместе со сберкнижкой держал на всякий случай в руке, и когда расписывался — «Реппип» — старался не вспоминать прочерк отдельных букв, потому что тогда обязательно завалился бы, этого ни в коем случае нельзя было делать — есть вещи, которые надо обязательно делать быстро, почти механически, в одной надежде на инстинкт, поскольку, стоит на миг задуматься, тут тебе сразу и придет конец.

Контролер, молодая некрасивая девчонка, встала к ящику за моей карточкой. На ней были хорошие лакированные сапоги и английский вязаный костюм. И пока она отыскивала карточку, а потом что-то писала в ней, я смотрел на ее блеклую серую кожу и прыщики на лбу и вяло думал о том, что ей, страшилке, приходится и на службу носить свой дорогой и, наверное, единственный выходной костюм, который она купила за много месяцев экономии и одалживания, и жалеть ей его не приходится, потому что она не может ждать своей судьбы — какого-нибудь потного шофера или затруханного студента — только в праздники, когда все остальные люди надевают свои наряды; ей ведь приходится — с такой-то рожей и тощими ногами — ждать свою судьбу всегда, и за этим стеклянным окошком тоже, и для этого она носит свой единственный красивый костюм на работу.

— Вам мой паспорт не нужен? — спросил я, протягивая серую мятую книжечку. Она взглянула на паспорт мельком — фамилия, имя, отчество, роспись внизу страницы, и пальцы мои в этот момент не дрожали, потому что весь я будто окаменел. Кивнула и подала мне жестяную бирку с номером:

— В кассу!



А кассирша доедала бутерброд. Она смахнула крошки со стола в газету, свернула ее кульком и бросила в урну. Подвинула ближе к себе карточку и уже надорванную пополам сберкнижку — я ведь закрывал счет Реппица, я ведь сегодня должен поспеть в магазин за автомобилем.

— Распишитесь еще раз! — сказала она. — Подпись печеткая...

Она-то как раз была красивая женщина. Лет тридцать назад. Конечно, не молодая уже, но она вроде этого и не скрывала обычными косметическими ухищрениями, от которых женщины еще страшнее становятся, и потому старухой ее нельзя было назвать.

...Не знаю уж, откуда это у меня, только старух я с детства побаиваюсь и не люблю. Стариков сколько угодно есть красивых, видных, посмотреть приятно, а старухи меня пугают, потому что очень уж несправедливо с ними обходится времечко, как трактором по их лицам ездит, мнет гладкую кожу в жеваную сеть морщин, и мышцы, когда-то бархатные, упругие, виснут пустыми дряблыми мешками, глаза тускнеют, западают, гаснут, а времечко все бушует, изгаляется, хулиганит, словно мстит им за что-то, корчит, крючит их, мнет, давит, пока не натешится вдоволь — глядите, мол, люди добрые, какое страшилище я сотворило из красавицы, она ведь так нравилась вам когда-то, вы так ее хотели!..

Так вот, эта кассирша уцелела как-то, хотя и для нее времечко не бесследно прошло. Она-то своей судьбы за этим окошечком дождалась, пришел ее ненаглядный принц, дал ей прикурить от хорошей жизни. Вот доела она свой бутерброд, не с колбасой и не с сыром, не с икрой, а лежал на сером хлебушке ломтик мяса из борща — я видел это точно, к нему прилипли кусочки капусты и свеклы. И это было для меня символом ужасной, отвратительной бедности, в которой все они хотели держать меня тоже, кабы я сам не распорядился по-другому и не лежала передо мной чужая, уже надорванная серая сберкнижка, стоявшая ровно две тысячи рублей плюс проценты за пять лет. И в деньги эти были вложены бутерброды с остатками борщевого мяса, неиспользованные отпуска, сверхурочные, отказ от такси и жаркая давка в переполненных автобусах в часы «пик», одни туфли в год, сигареты «Прима», а не «Столичные» — в три раза дешевле, и масса всякого

другого, что мне было ненавистно, и кассирша спрашивала теперь, почему на ордере нечеткая подпись, а я засмеялся и сказал:

— У меня прямо беда — до пятидесяти лет подпись неустоявшаяся. Я специально для всех бухгалтерских расчетов с собой паспорт ношу. Давайте еще раз подпишусь аккуратнее...

Показал паспорт, еще раз расписался, она открыла стол и стала считать деньги.

— Получите! Две тысячи триста одиннадцать рублей...

На Арбате я остановил такси и велел шоферу ехать в Медведково — мне было безразлично, куда ехать, только бы подальше и подольше побыть одному. Из Медведкова поехал через весь город в Зюзино, потом вернулся в центр. За все заплатил девять рублей и, глядя вслед уезжающему такси, бормотал бессмысленно и злобно: «Придется подождать с телефоном и дачей, дорогой Николай Иванович...»

В карманах приятно тяжелели пачки денег и вороненый браунинг. И вдруг совершенно неожиданно подумал о том, что Николаю Ивановичу будет жаль только браунинга — ведь деньги ему вернут. Все денежки, до копейки, вместе с процентами. А вытут эти деньги у материально ответственных лиц, допустивших грубую халатность в обращении с денежными ценностями, — у страшненькой контролерши в английском вязаном костюме и седой кассирши, приносящей на работу бутерброды с остатками мяса в крошках свеклы и капусты.

ГЛАВА 29 СЕДЬМОЙ, НЕКУПЛЕННЫЙ БИЛЕТ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Без пяти девять я уже был в кабинете, и сразу позвонили из бюро пропусков.

— Вас спрашивает какой-то гражданин. Фамилия его Обнорский.

— Срочно выпишите ему пропуск. Я жду на месте.

Вид у профессора был неважный, утомленный, и поэтому сразу стало заметно, что лет ему немало.

— Здравствуйте, комиссар Мегрэ. Недавно виделись, а я уже соскучился, — сказал он со смешком, но барственных тяжелых «э» в его словах не было.

— Прэлезтно, — ответил я. — Правда, я еще не комиссар, я пока только капитан. Но, несмотря на это, тоже соскучился. Хотел как раз посылать за вами. И за продавщицей Надей...

— Не надо, — махнул он рукой, — не надо всех этих криминальных приемов.

Профессор сунул руку в карман и протянул мне плоскую коробочку:

— Вот возьмите, это ваша звезда...

От неожиданности я замер; Обнорский грустно засмеялся, сказал:

— Что же вы не берете? Она ведь вчера была вам так нужна, что практически стоила мне остатков семейного благополучия.

Не слушая его, дрожащей рукой я взял коробочку и открыл крышку. На черном бархатном ложе сияла восьмиконечная звезда — второй атрибут ордена «Св. князя Александра Невского». Я перевернул коробочку, и звезда, шероховатая, теплая, тяжелая, легла мне на ладонь. На потускневшем серебре основания ордена был четко виден номер — 46/214. Она самая! Я осторожно положил на стол звезду, торопливо отпер сейф, достал из сигаретной коробки крест генерала Дитца и показал Обнорскому:

— Видите, на них одинаковые номера.

— И что?

— У вас была не брошь — это вторая часть ордена. Господи, неужели вы не понимаете? Это же был пароль! Пароль и отзыв! Крест — пароль, звезда — отзыв!

Обнорский смотрел на меня с удивлением, потом с какой-то осторожностью взял в руки звезду и принялся внимательно ее рассматривать, а я сел за стол и потер ладонями лицо, приводя мысли в порядок. Ну погодите теперь у меня! Я вам покажу, что и я кое-как научился воевать. И вы меня не устроили вначале, не вывели из игры, а теперь еще посмотрим, кто кого. Я и сам не знаю, кому я грозился — Батону, Каstellли или мертвому Сытникову, а может, им всем, и тем, кого я еще даже не знал, но с кем собирался встретиться и

потягаться всерьез. Меня вывел из раздумий голос Обнорского:

— Иногда я жалею, что занялся абдоминальной хирургией, а не психологией.

— Почему? — спросил я по инерции, не вдумываясь в его слова.

— По большому счету это интереснее, завтрашний день медицины за психологами.

Мне казалось, что я понял его, и участливо спросил:

— Это вам жена не велела звезду давать?

— Жена? — удивился Обнорский. — Нет, она здесь совсем ни при чем. Она вообще не знала, что я купил эту брошь...

Я посмотрел на него с недоумением: Обнорский отвернулся к окну и, будто продолжая разговор с самим собой, задумчиво сказал:

— Нет в мире лжи, которая когда-то не стала бы явной. Когда вам будет столько лет, сколько мне сейчас, и, не дай бог, вы однажды поймете, что прожили жизнь с чужим и неприятным человеком, возможно, у вас тоже не останется душевных сил сделать решительный шаг и уйти. С годами это все гораздо труднее. Короче говоря, моя жена и не знала о существовании броши...

Он встал, но, видимо, решив, что я не все понял, уточнил:

— Звезда была куплена и преподнесена совсем другому человеку. Вчера я не мог вам этого сказать, да и не должен я всего объяснять. Просто... почему-то мне было бы неприятно оказаться в ваших глазах прохвостом... Я могу быть свободен?

— Подождите одну минутку, я оформлю выдачу звезды...

— Не надо. Когда пройдет в ней нужда, позвоните мне в клинику, я заберу.

— Все-таки, пожалуйста, подождите. Это не только для вас требуется, но и для дела тоже...

Сашка небрежно бросил звезду на стол и сказал:

— Я сразу почувствовал, что здесь что-то не то. Один мой знакомый немец в таких случаях говорил: их хабе цвай бабе...

— Меня его возраст смутил — все-таки ему шесть-

десять шесть. Это же немало? — спросил я у Сашки, которого считал большим специалистом в вопросах любви.

— Ничего, в любви все возрасты проворны, — успокоил меня Сашка. — Я вот чего не пойму: как смог Сытников после всех жизненных передраг сохранить звезду этого генерала? Дитца этого самого? И как крест от ордена оказался у Кастелли? Прямо чертовщина какая-то! Ну ничего, проживем — увидим.

Он сказал это так спокойно и уверенно, будто стоило ему подойти к первой же будочке справочного бюро на Страстном бульваре, заплатить двадцать копеек, и ему незамедлительно выложат все сведения.

— А тебя не смущает, что и Дитц, и Сытников уже на том свете? — спросил я с насмешкой.

— Смущает. Но Кастелли-то на этом? И надо полагать, он не от себя работает. Не один он, ты про Батона забыл, — сказал уверенно Сашка. — Я помню, еще в институте профессор Строгович сказал нам, что неустановимых истин не бывает. Бывают истины, которые не удалось установить. А он мужик умнейший. У него шапка, наверное, шестьдесят четвертого размера была. Я бы мог из нее себе сделать меховое пальто...

— Я не уверен, что Строгович счел бы правильным такое использование своей шапки. Так что пусть уж он ее носит и дальше, а ты походи пока в своем балахончике невыразимом.

— А чем он плох? — обиделся Сашка за свое необыкновенное розовое пальто. — Такого пальто я больше ни на одном человеке в жизни не видел... Ишь, не нравится ему мое семисезонное! Заграничное пальто, импортное, можно сказать. Один материал чего стоит: драп-хохотунчик — не рвется, не мнется, три рубля километр. Кстати, когда вчера отправляли по фототелеграфу в Софию увеличенные отпечатки пальцев Кастелли, я подумал, что вряд ли он месяц назад на минутку заскочил в Болгарию, чтобы очистить квартиру композитора и двинуть дальше к Сытникову.

Вот так мы и подошли к разговору, который меня волновал больше всего. Теперь эпицентр поиска неизбежно смещался в Болгарию. Я отчетливо понимал, что сейчас розыск, несомненно, целесообразнее вести из Софии: люди, связи, выявленные события, отправная точка преступления были, конечно, там, и все, что мы

узнали с Сашкой, было очень важным, но все же только вспомогательным материалом, сырьем для организации хорошо продуманного и подготовленного расследования в Болгарии. А мы с Батоном оставались за линией, которую ребята называют в своих играх «чирой». Пока мы оставались за «чирой» и, по-видимому, надолго.

— Думаешь, дело передадут в Болгарию? — спросил я Сашку неуверенно.

Он только пожал плечами.

— Да, жалко, — сказал я. — Мы, как спортсмены, только-только разогрелись, мы это дело еще ладонями чувствуем... Жалко, конечно...

— Передадут так передадут. Ты же сам понимаешь, что это правильнее. Жалко, тоже мне еще! Подумаешь, Венеру Милосскую создал, нос там у нее без тебя отколотят...

Я встал, потянулся и весело сказал:

— Нет, Саня, я ведь ничего и не говорю. Я ведь Батона все равно не оставлю: раз я ему обещал доказать, что воровать нельзя, так уж теперь кровь из носа, а докажу. Я уже подал Шарапову докладную по этому вопросу, он поехал в министерство, а мы свободны. Сегодня тридцатое апреля — можем все праздники гулять на всю катушку...

— И ни разу за праздники не дежуришь? — недоверчиво спросил Сашка.

— Свободны до четвертого мая, — подтвердил я.

— Прекрасно! Можно подумать о спасении души. Как говорил все тот же мой знакомый немец, их виль безухен айне кляйне пивнухе. Пива хочешь?

— Нет. Я, наоборот, хочу пойти на свидание.

— Чрезвычайно почтенное занятие, — сказал Сашка. — Не смею отговаривать...

После его ухода я еще некоторое время листал дело, но никаких идей не приходило, да и взяться им не с чего было. Я запер папку в сейф и позвонил Люде-Людочке-Миле. Поболтали немного, потом я сказал ей:

— А ведь вы помогли мне...

— Стать самым-самым? — с интересом спросила Мила.

— Нет, самым-самым мне, видимо, даже с вашей помощью не стать. А вот кое-что прояснить в ситуации вы мне помогли...

— Неужели все это и за полвека не превратилось в пустые побрякушки? — удивилась Мила.

Я засмеялся:

— Милочка, вещь становится побрякушкой, когда утрачивает смысл, которым наделили ее люди. Но если побрякушку облечь новым смыслом, она опять становится вещью. Другой, новой вещью.

— Ну вас, вы меня только дразните какими-то намеками, а ничего все равно не расскажете.

— А вы что собираетесь делать сегодня, Мила?

— Буду готовиться в дорогу.

— В какую дорогу? — удивился я.

— Мы решили целой компанией поехать на праздники в Ленинград.

— А-а! — разочарованно протянул я и вдруг поймал себя на мысли, что это не вызывает у меня досады. — А я думал, мы с вами увидимся.

Мила помолчала и сказала:

— Нет, мы уже договорились...

— Тогда после праздников созвонимся?

— Я четвертого числа улетаю в командировку — в Свердловск, — и мне послышалась в ее голосе горечь. — Помните, мы с вами говорили про уток и лебедей?

— Да, — обескураженно сказал я. — А что?

— Есть еще хуже участь — в Австралии живут нелетающие птицы под названием киви-киви. Представляете, как ужасно родиться птицей, которая никогда не летает. Птица, которая только ходит? В общем, глупости это все. Я вам когда-нибудь сама позвоню...

— Спасибо, Милочка, вам за все. Вы мне здорово помогли, и дело даже не в этом дурацком ордене...

— Если киви-киви прыгнет с горы, то и она может немного пролететь, — засмеялась Мила. — Будьте счастливы, мы еще с вами увидимся...

И положила трубку.

Было еще рано, и я решил навести у себя на столе полный порядок. Сразу после праздников мне, наверное, дадут новое дело и я буду заниматься им, исподволь готовясь к встрече с Батоном. Через три дня я приду сюда утром, сяду за стол, и все должно быть готово. Все должно быть готово. Готово к чему?

Готов, готово — это слово вызывает у меня дрожь, как скрежет ножа по кастрюле. Даже в метро я стараюсь войти побыстрее в вагон, чтобы не слышать, как машинист командует на опустевшей платформе — «готов!». В нем есть какая-то решительная законченность, невозможность ничего изменить и переделать, свершенность сегодняшнего дня, никак не связанная с будущим, хотя вроде оно и обращено целиком в завтра. У Лены была шутливая приговорочка: «Готов ли ты к встрече со счастьем?» Она часто говорила это, и ее шутливые слова пугали меня, когда я окончательно усвоил для себя их смысл, несмотря на то, что она никогда их не растолковывала. Лена считала, что все-все люди подразделяются на три категории: счастливлчиков-везунов, которых совсем мало, и за что бы они ни взялись, все получается прекрасно; прирожденных неудачников — их больше, чем счастливлцев, и все, чем бы они ни занимались, кончается плачевно; все остальное огромное большинство людей счастливо или несчастливо в зависимости от того, насколько они осознали свое счастье и как подготовились к встрече с ним. Я думаю, что она представляла счастье как огромную солнечную птицу, которая хоть раз в жизни прилетает к каждому человеку, и, если он готов к встрече с ней, она оставляет у него маленьких солнечных птенцов радости, которые много лет согревают его жизнь. Но большинство людей не узнают птицу света и радости, они ЕЩЕ не готовы или УЖЕ не готовы к встрече с ней, и счастье неслышно, незримо, беззвучно улетает... В ее представлениях было что-то язычески-наивное и прекрасное, и я всегда опасался, что так оно и есть на самом деле, потому что точно знал: когда птица прилетит ко мне, я буду не готов к встрече с ней. Ведь птицу надо узнать, а я и сейчас не представляю, каким оно должно быть — мое счастье? Может быть, моя птица — Люда-Людочка-Мила? Не может же составить человеческое счастье радость победы над Батоном? Даже если это мне удастся? Но если встреча с Людой-Людочкой-Милой — мое счастье, то я ее должен любить? А какая же может быть любовь, если я размышляю об этом, как на семинаре по гражданскому процессу? Но она мне нравится — она же очень хорошая девушка! И красивая. И умная. Только когда любишь, наверное, это все не имеет значения, просто об этом не

задумываешься. И вообще, если птица летает, то, возможно, она и не обязательно раздает людям счастье разделенной любви? Счастье же для всех не может быть одинаковым, как гастрономические наборы. Кто его знает, может, моя птица прилетала тогда, давно, и принесла мне мой седьмой, некупленный билет...

...Стоял мартовский солнечный холодный день, и заниматься нам не хотелось, поэтому с последней лекции мы сбежали и все вместе отправились в кинотеатр «Повторный» — там показывали «Римские каникулы». Было нас семеро: Валя Рогов, который только что женился на нашей Элке Лифшиц, и вышагивали они по улице Герцена, как всегда, взявшись за руки; мы нарочно выстраивались за ними колонной — Настя и Марьяша Щеголевы, которых мы называли «помпончики» — беленькие, пухленькие, совсем одинаковые; потом болгарин Ангел Стоянов Веселинов, который в отличие от нас очень хорошо различал близнецов и всегда на занятиях усаживался поближе к Насте; за Ангелом вышагивал я и замыкал наш строй «Два Петра» — Петька Глазырин, огромный, очень добрый, хотя и болезненно обидчивый парень. Прохожие улыбались, глядя на наше шествие, а Элка застенчиво краснела и все время просила своего Валечку пропустить вперед «это отпетое хулиганье». Настя и Марьяшка, несмотря на все уговоры «хоть им-то посовеститься», весело хохотали и упрямо маршировали за ними. А у Вальки на лице плавало бессмысленное ласковое блаженство, хитро ухмылялся Ангел, смущенно-глухо похихатывал «Два Петра», и от этого глупого смешного развлечения, от яркого, еще холодного солнца, оттого, что мы сбежали с лекции, у меня было бессмысленно-радостное настроение. Так мы и дошагали до кинотеатра, где узнали, что билетов на следующий сеанс уже нет. Настя предложила «пострелять билетиков», и мы стали носиться у входа с яростным требованием: «Лишнего билетика не найдется?» Первым достал два билета Ангел. Мгновение он размышлял и, к моему удивлению, отдал билеты не Помпончикам, а Вале с Элкой. Потом я сообразил, что у него возник целый план: его задачу сильно осложняло присутствие Марьяшки. Один билет перекупила Настя, Ангел тотчас же отобрал его и отдал Петьке: «Ты-то сам себе никогда не купишь!» Я тоже наметил себе жертву — на углу стоял парень

с тоскующим лицом, ежеминутно поглядывая на часы. Тут должны были освободиться два билета.

Совершенно неожиданно купил билет у какой-то старушки «Два Петра», и почти сразу же появился Ангел еще с одним билетом. Я прочно занял место рядом с нервным парнем — по моим расчетам, все сроки ожидания уже истекали. Когда стрелки на часах подошли к пяти, парень с тяжелым вздохом полез в карман, и я почувствовал, что шансы Ангела сидеть рядом с Настей сильно выросли. Но у парня, видимо, план культурных мероприятий не зависел от превратностей личной жизни, и он предложил купить только один билет, решив компенсировать вероломство своей девушки удовольствием созерцания Одри Хепберн. Фильм должен был вот-вот начаться, я забрал у Петьки билет и поменял на два вместе для Насти и Ангела, и только для меня никак не удавалось купить билет. Так и не достали мне билет, и этим седьмым, некупленным билетом, возможно, оказался тот клочок синей бумаги с номером ряда и места, который оставил себе парень, обманутый девушкой на свидании, лишивший меня «Римских каникул» и давший мне встречу с Леной.

Владелец седьмого, не купленного мной билета наслаждался в маленьком уютном зале «Повторного» удивительными и смешными приключениями очаровательной принцессы и ловкого красавца Грегори Пека, а я вернулся обратно в университет и пошел в Круглую читалку, где у входа на железной лестнице собирались все прогульщики: обсудить массу важных вопросов, занять рубль и узнать все главные студенческие новости.

Я пробежал первый марш по лестнице и увидел Лену. Она стояла, прислонившись к теплой чугунной батарее, и читала толстую тетрадь в коленкоровом переплете. Прошло десять лет с этого мгновения, но я уверен, что если бы я прожил века, то все равно не забыл бы всех деталей, точно так же, как я помню их сейчас. Я не помню ни одного слова из того, что я сказал, подойдя к ней, и о чем мы говорили потом, и когда мы вышли из здания на Моховой, о чем мы говорили, когда шли по улице Горького, и когда сидели в кафе-мороженом «Север», и когда шли через Южинский, Трехпрудный переулки, через Патрики, на Кудринку, мимо зоопарка по Краснопресненскому валу,



обходя Ваганьково, по Хорошевке, и когда остановились где-то около ее дома в Мневниках. Ничего, ну просто ни одного слова я не запомнил, но все детали я помню так, будто все это произошло пять минут назад. В тетради были конспекты по западноевропейской литературе, на пальце серебряное чеканное колечко с бирюзовой каплей, квадратная сумка на длинном ремешке, лопнувший шов на коричневой кожаной перчатке и просвечивающее в эту дырочку пятнышко белой кожи, покрасневшие от ветра щеки в точной рамке выбившихся из-под вязаной шапочки черных прямых волос, острый слом бровей и веселый крупный рот, всю жизнь преследующий меня овал мягких полных губ, добрый свет неровных белых зубов и глаза, чуть раскосые, длинные, коричневые, как старый мед, как ириски, с тяжелыми грустными веками. Было холодное мартовское солнце, сильный ветер, потом ударил короткий снеговой заряд, и снова солнце провожало нас по Москве, пока не утонуло где-то на Девичке в красновато-синих дымящихся облаках, и необычно яркие звезды, не размытые даже мощным городским электрическим маревом, полыхали над нами, и мы все время говорили о чем-то, но все слова не имели сейчас значения, они утратили привычный смысл, и, если бы она говорила тогда со мной даже по-японски, я все равно понял бы каждое слово, потому что маленькая дырочка на ее перчатке была для меня Пулковским телескопом, через который я мог свободно рассматривать другие миры.

Она проводила меня от своего дома до остановки автобуса, потом я обратно проводил ее до дома, потом решили разойтись на полдороге от дома до остановки, но все равно дошли до ее подъезда, поднялись по лестнице, где пахло пылью и теплом, и она сказала, что уже два часа ночи, и ее будут сильно ругать родители, и я очень боялся, что ее будут ругать, но все равно не отпускал, и она не уходила, а я, распахнув пальто, грел ее у себя на груди, она шептала: «Мы завтра же утром увидимся», — но завтра уже было сегодня, и было оно громадным, как мир, и ждать ее еще восемь часов было так же невозможно, как обежать треть экватора. Я прижался лицом к ее волосам, и пахли они чем-то неуловимым, кажется подснежниками, и в это мгновение для меня не существовало ничего, потому что весь

мир был во мне, потому что именно тогда ко мне прилетела солнечная птица счастья — ведь парень-неудачник уже вышел из кино и выкинул мой счастливый седьмой, некупленный билет, и я был не готов к встрече со счастьем...

Потом, наверное уже под утро, щелкнул за Леной замок в двери, и я еще долго стоял в сонной неподвижной тишине подъезда, на пыльной теплой лестнице, пока не сообразил: Лена ушла. Я вышел на улицу, небо посерело, померк неистовый блеск звезд, надсадно гудели на шоссе самосвалы. Я шел по асфальтовой дорожке, поминутно оступаясь в мокрый закивший снег, меня раскачивало, шатало во все стороны, потому что радость была больше меня — ее хватило бы, чтобы поднять дирижабль, а я еще не был готов к встрече со счастьем.

Автобусы не ходили, и я долго стоял на пронизывающем рассветном ветре, пока меня посадил шофер попутного «МАЗа». От ровного гула мотора, тепла, приятного запаха машинного масла меня разморило, и я задремал. У Бегов шофер резко тормознул, и я проснулся в испуге: мне показалось, что сплю я невероятно давно, может быть сутки или год, и все, что произошло со мной, — приснилось, ничего не было, приятная просоночная одурь, мечта пробуждающегося сознания. Я очумело взглянул на шофера и выскочил из кабины. Я бежал назад по Хорошевскому шоссе в сторону Мневников по тающему грязному снегу, прыгая через лужи, скользя на наледях, поминутно оборачиваясь в поисках попутной машины, мной овладело отчаяние, потому что я был уверен — мне не найти теперь этого дома никогда. Его нет, нет этого стандартного пятиэтажного дома с теплым парадным, пропахшим олифой и пылью, нет этого домика, каких понастроили тысячи по всей Москве, и только тот дом, что мне нужен, был выстроен в моей фантазии, и седьмой билет был мною куплен, а сон просто посмеялся надо мной, подсунув мне вместо Лены сбежавшую на каникулы принцессу Одри Хепберн. Я бежал, совсем не зная, что к встрече со счастьем надо быть готовым.

Меня подвез милиционер-мотоциклист, и я навсегда запомнил его грубое заветренное лицо с маленькими, как у медведя, добрыми глазами. И дом, конечно, был, ведь седьмой билет я все-таки не купил. Я поднялся

по лестнице на третий этаж, уселся на подоконник и стал ждать. Иногда приходила легкая, словно серый пар, дремота, но, как только в подъезде где-то хлопала дверь, я сразу просыпался. И постепенно забыл бы, что время сгибается в движении, и завтра можно увидеть из вчера, не надо было бы мучиться во сне от рева мотоцикла на стене, потому что второе измерение — вертикаль — больше не угнетала бы меня.

Я вернулся из своих путешествий во времени, из размышлений о солнечной птице счастья и седьмом, некупленном билете обратно к себе в кабинет, в Управление Московского уголовного розыска на Петровке, 38, и поход назад, к людям и событиям десятилетней давности, не помог мне понять, почему бы мне не полюбить по-настоящему Люду-Людочку-Милу. Тогда, наверное, можно было бы жениться на ней, завершить процесс духовной мутации, успокоиться, купить войлочные тапки, и никогда больше не зияла бы под боком пропасть, которую невозможно преодолеть в два прыжка. Все пришло бы в норму — моя жизнь была бы устроена. Погаснет тревожный апрельский свет моей юности, растает дым, и джинн тихонько вернется в свою бутылку, потому что с позиций серьезного взрослого человека нет да и не может быть у нас с Батоном никаких принципиальных споров: он вор, а я сыщик, и когда-нибудь спокойно, безо всякой нервотрепки я поймаю его за руку с неопровержимыми уликами, и Батон отправится в тюрьму, а я буду дальше ловить ему подобных, пока не уйду на пенсию, если только к тому времени не будет искоренена преступность, хотя я и не уверен, что это удастся сделать за оставшиеся мне до полной выслуги шестнадцать с половиной лет...

Такую жизнь прожил Шарапов. А я не считаю, что он прожил свои годы плохо или неправильно. Но я верю в диалектически расширяющуюся спираль, и, если я просто повторяю все то, что сделал он в своей жизни, это, по существу, зачеркнет все его усилия, ибо он возложил на меня — молча, никогда не произнося об этом ни слова, — трудное бремя сделать нечто гораздо большее. И, если я просто повторяю его путь, значит, я не выполняю и его надежд, значит, он просто ходил по кру-

гу, не дав начального ускорения для новой большой и важной орбиты.

Да, но ведь Мила всем хороша и, возможно, ей бы подошли все мои нелепости и чудачества? Нет, видимо, для счастья нужен седьмой, некупленный билет, даже если ты находишь по нему человека, который далеко не всем хорош и, как никто в мире, приносит тебе боль, радость, страдания и блаженство. И сразу же пришла грусть оттого, что я понял: я уйду от человека, хорошего человека, которого встретил, когда мне было плохо, совсем плохо, и в нем было все то, чего мне так тогда недоставало, но я обманывал себя, полагая, что мне нужна рука дружеской поддержки. Мне нужна была любовь. А любить от сознания, что этот человек достоин любви, невозможно, потому что, чтобы любить, нужно встретить свою птицу солнца, которая уже позаботилась, чтобы перед началом «Римских каникул» около кинотеатра продавалось только шесть свободных билетов.

ГЛАВА 30 САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Праздник, праздник, праздник...

Они все готовились к празднику. А я уже подготовился к нему, можно даже сказать, что я его торжественно отметил. Как пишут в таких случаях в газетах — личный трудовой подарок. Я чувствовал грудью приятную тяжесть бумажных пачек в кармане. Это, конечно, не сокровища Голконды и даже не сбережения настоятеля Борисоглебского монастыря, но если удастся хорошо распахать товар из магазинчика на Домниковке, а фарцовщикам сбыть добро Серафима Зубакина, то жить можно. Надо только немного отсидеться где-нибудь за печкой, и можно снова потрогать судьбу за вымя.

А почему ждать? Прятаться от Тихонова? Ждать, пока его злость на меня уймется или пока он забудет о моих чудесах? Только дураки считают, будто нельзя злить своего следователя. Мы с Тихоновым уже достаточно сильно разозлены друг на друга. На всю жизнь. Если я ему по случаю праздника пришлю теплую по-

здравительную телеграмму на художественном бланке с кистями сирени, он ведь все равно ко мне лучше относиться не станет. А вообще-то жаль, что я не знаю его адреса: хорошо было бы ему прислать поздравление — представляю себе, как бы он от досады скукожился... И в тексте чего-нибудь такое: «Поздравляю с выдающимися следственно-розыскными результатами. Желаю творческих успехов...» и тому подобное.

И все время я почему-то старался не думать про девушку-контролершу и старую кассиршу из сберкассы. Не потому, что я жалел их — наплевать мне было на них тысячу раз, они мне были до глубокой фенечки, чихать на них я хотел, видал я их горести в гробу — пусть хоть пропадут они со своей недостаточей пропадом!

О чем я думал сейчас? А, про телеграмму Тихонову! Тихонову ведь можно послать телеграмму не только на домашний адрес. Или ты боишься Тихонова рассердить окончательно? Значит, он действительно больше не сопляк и не щенок? Или твой страх стал больше тебя самого? Чего же тебе делать, Батон, ведь нельзя бояться всегда, всех, всего... Кем же стал Тихонов в твоей жизни? Или это про него дед читал в своих старых замусоленных книгах? Не про тебя же!

«...Разгневался бог на ангела истины и сбросил его на землю, и ходит он по сей день среди людей непризнанный и правду блюдет, истину отыскивает, ложь обличает, за что хулу и поношение от людей принимает...» Так это Тихонов, что ли, правду блюдет, истину отыскивает, от меня хулу принимает?..

Есть только один способ избавиться от страха моего, поднимающегося из сердца как гнилой болотный туман. Не пройдет страх перед Тихоновым и всей его сворой, но я хоть самого себя перестану бояться, и дни, которые мне отпущены до встречи с Тихоновым, я смогу провести, не разрываясь от ежесекундного ужаса кары судьбы, которая и называется, наверное, обреченностью.

Если я пошлю вот такую дурацкую телеграмму, то я снова испробую судьбу, и смысла в этом нет никакого, но я докажу самому себе, что не сломал он меня, что я еще могу с Тихоновым бороться и еще поборюсь

всерьез. А сильнее, чем есть, мне его уже не рассердить — мы с ним все равно враги до последнего вздоха. Да и стыдно мне его сердитости бояться.

И не телеграммой надо дать Тихонову оборотку — таким номером можно дать по сусалам рыжему нахальному менту Савельеву. А уж если давать бой Тихонову, то отчебучить надо такую штуку, чтобы над ним весь МУР хохотал, чтобы ему проходу никто не давал, чтобы он не смог спрятать мой ход в карман, как поздравительную телеграмму, — пусть все веселятся и над ним издеваются, и пусть хоть в какой-то мере он почувствует ту загнанность и общее пренебрежение, которое чувствую я, когда люди узнают, что я — Алеха Дедушкин — вор. Но Тихонова не зашельмуешь и жуликом не выставишь, потому что все, что у него есть, так это его задрипанная нищенская честность. И существует только одна вещь, которая его может со мной сравнить в глазах людей, это глупость. Только выставив его дураком на всеобщее посмеяние, я могу ему как-то отомстить, хоть в малой доле рассчитаться с ним за все, что он мне причинил, потому что весь мир знает и свято блюдет мудрость, дедами оставленную и клятвой заверенную, — главнейший рецепт всей их жистишки затерханной:

ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА!
ХУЖЕ ВОРОВСТВА
ХУЖЕ...

Я ехал по бульварному кольцу на такси, и сквозь приоткрытое окошко врывался в машину, провонявшую навсегда бензином, краской, маслом, резиной, горький прозрачный ветер апреля. Ничего я не видел вокруг, только рука судорожно тискала в кармане измятый газетный лист — рекламное приложение к «Вечерке», оттягивала подкладку черная гиря браунинга и рядом с пачкой денег давил на сердце паспорт Репнина.

— Давай, шеф, быстрее, гони на Чистые пруды!

— Ничего, поспеем...

— Быстрее, быстрее, сегодня день короткий, предпраздничный...

Очень я боялся, что объявления принимают в самой редакции, а вход туда через вахтера, а поганее этих тараканов людишек не бывает, они в сто раз внимательнее и злее любого милиционера — это от чувства

своей караульной ущербности, потому что он хоть и с «дурой» в кобуре стоит, а все-таки никто его представителем власти не считает, и от своей сторожевой неполноценности он тебе паспорт прямо языком хочет вылизать. И мне совсем не хотелось, чтобы такой поп-ка рассматривал в моих руках паспорт Репнина.

К счастью, оказалось, что объявления надо сдавать в соседнем здании, вход прямо с улицы. Девчонка-секретарша выглянула из своего деревянного окошечка с прилавком, как кукушка из ходиков:

— Товарищи, поторапливайтесь, через полчаса мы заканчиваем...

Я сел за стол, положил перед собой паспорт Репнина, заглядывая в него, заполнил бланк, который валялся на залитом чернилами столе, задумался на минутку — текст должен быть самый лучший и в то же время не вызвать в редакции подозрений. Покусал металлический зажим своего шарикового карандаша — замечательный карандаш все-таки я взял из стола директора магазина, потом не спеша написал: «В связи с длительным отъездом хозяина очень дешево продается в хорошие руки породистый легавый щенок-медалист по кличке Стас, имеется родословная, воспитан в служебном питомнике. Звонить в дневное время — 24 98 88».

Протянул бланк и паспорт в окошко, секретарша перенесла в учетную книгу данные из паспорта Репнина — ей и в голову не приходило сравнить мое лицо с фотографией, быстро пробежала глазами текст, спросила:

— Что значит — «в хорошие руки»? Это неправильно сказано.

Я усмехнулся:

— Напишите правильно.

Она задумалась, но, видимо, и ей ничего подходящее не пришло в голову, и она предложила:

— Давайте просто сократим эти слова. Вы ведь все равно не узнаете — хорошие это руки или плохие.

— Давайте, — согласился я.

Перышком ученической ручки она стала быстро считать буквы в объявлении, и я следил, как беззвучно шевелятся ее губы, приоткрывавшие на длинных цифрах белые ровные зубки. Потом сказала:

— В объявлении 161 знак. Один знак — семь копе-

ек, — она еще чего-то перемножила на бумаге. — С вас одиннадцать рублей двадцать семь копеек...

— Дороже, чем сам щенок стоит...

— Тогда снимите вот это: «по кличке Стас» и насчет питомника.

— Э нет! Я ведь не из-за денег — жаль будет, коли такой щенок пропадет. И еще я вас хотел спросить: когда объявление напечатают?

— Через две недели, — ей очень не хотелось со мной разговаривать, она торопилась скорее закончить свою лабуду и закрыть лавку.

Я взмолился, прижимая руки к груди, и в голосе моем были слезливые завывания:

— Девушка, голубушка моя, да что вы говорите, мне через две недели надо уже быть в Кейптауне на Эльдорадо! Сделайте божескую милость, поместите раньше, а то щенок пропадет!

— Где, где? — удивилась она.

— Есть такое жуткое место в Южной Америке — мне надо туда срочно вылетать на киносъемку. Я вас убедительно умоляю — напечатайте пораньше...

Она вяло отказывалась, а я все сильнее напирал, и смотрел на себя будто со стороны, и мне казалось, что этот нахальный тип, изгаляющийся у окошка, сошел с ума. Но и остановить себя я никак не мог. И, когда она пообещала наконец позвонить в типографию и попросить вставить объявление в следующий номер, я долго благодарил и посулил ей за внимание и заботу обо мне привезти из Южной Америки чучело маленького крокодила. Она засмеялась:

— Оставьте чучело себе, а если номер не забит до отказа, то объявление выйдет четвертого мая.

На Чистых прудах я зашел в стеклянную полупустую клетку кафе, сел за свободный столик в углу и заказал кофе, лимон и триста граммов коньяка. Я сидел около прозрачной холодной стены и смотрел на грязный илистый пруд с горами черного, еще не растаявшего снега.

Страха не было. Но и облегчения я никакого не чувствовал, я все еще дрожал от непрошедшего возбуждения, и почему-то все время мне казалось, будто я весь — снаружи и изнутри — вымазан такой же зловонной илистой грязью, как на дне весеннего, спущенного для чистки пруда. Почему-то не пришла ко мне ра-

досье оттого, что я навесил Тихонову такую звонкую, на всю Москву оплеуху.

Рюмочку за рюмочкой, глоточек за глоточком выпил я весь графинчик, и, когда коньяк согрел меня и дрожь наконец унялась, я вдруг с пугающей ясностью понял, что сам себя посадил в тюрьму.

Надо остановить объявление, надо забрать его назад как можно быстрее, его ни в коем случае нельзя печатать. Быстрее обратно в редакцию! Господи, как кружится голова. Совсем я ошалел. Эй, официанточка, счет! Да поторапливайтесь вы, неживые!

Я мчался по раскисшему гравию, по скользким дорожкам бульвара, и с боков метались черные руки голых деревьев, и браунинг мерно ударял меня в живот полновесно и мягко, будто он один хотел успокоить — я с тобой, теперь только я с тобой, я один тебе защитник и надежда.

Там всего бежать было триста метров, но они показались мне бесконечными, и совсем я не запыхался и не устал, будто эта ужасно длинная дорога быстро и круто укатывалась вниз, как на лыжном спуске, и я всем своим изболевшим, разъеденным страхом сердцем чувствовал, что, подав в окошко объявление, я в припадке сумасшествия оттолкнулся от тверди на вершине бесконечно громадного трамплина и помчался сломя голову вниз и передо мной впереди — очень близко, совсем рядом — бездонная пропасть, и теперь я пытаюсь остановиться, задержать этот кошмарный полет вниз, повиснуть хоть на самом краешке ската, но еще шагов за двадцать до двери конторы я увидел большой навесной замок и понял, что край трамплина уже позади и я не бегу, не живу, не сплю — я лечу вниз.

ГЛАВА 31 ПОРОДИСТЫЙ ЩЕНОК ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

В это утро, солнечное, чуть ленивое утро, первое после праздничных дней, я пришел на работу около девяти, зашел в дежурную часть, потрепался не спеша с ребятами, прочитал сводку о происшествиях. Обычные горестные издержки радостей и развлечений, которые

дарит людям праздник: ножевое ранение... машина, сбившая пешехода, скрылась... кража... сорвали шапку...

Из всего длинного списка интересной была только дерзкая квартирная кража: уже собрав много вещей, вор почему-то оставил их в квартире, а с собой взял только паспорт и сберкнижку хозяина, по которой получил вклад. На моей памяти это был первый такой случай среди домушников.

Потом вместе со старшиной из комендантского отдела мы сняли сургучные блямбы, которыми опечатывался на праздник мой кабинет, я растворил окно, уселся за свой стол и сладко потянулся, раздумывая о том, какое мне подкинет дельце Шарапов. Лично я, если бы можно было выбирать, охотно покопался бы с этой квартирной кражей — тут чувствовался почерк, выдумка, размах вору. Но в этот момент зазвонил телефон, я снял трубку.

— Скажите, вы еще щенка не продали? — раздался мальчишеский голос.

Я засмеялся:

— Нет, не продал. Я и не продавал, потому что у меня щенка сроду не было. Вы, молодой человек, ошиблись номером.

— Ой, извините!

Несомненно, что у Каstellи было какое-то важное дело к Сытникову. То есть других дел у него и не было. Но что у них могло быть общего?

Зазвонил телефон; тот же звонкий голос спросил:

— У вас продается щенок?

— Вы снова попали ко мне, молодой человек. Набирайте внимательно номер.

— А я набирал аккуратно...

Я только положил трубку, как снова раздался звонок.

— Скажите, ваш щенок уже в комнатах не гадит? — требовательно спросила женщина. Вот же чушь какая!

— Не гадит, потому что у меня нет никакого щенка — вы не туда попали.

Да, Сашка, конечно, прав — все корни этого дела в Болгарии, и искать надо там. Батон скорее всего вообще оказался в нем сбоку-припека, хотя это обстоятельство и не снимает с повестки дня наших с ним счетов. И опять звонок телефона.

— Послушайте, а сколько недель вашему щенку?

— Вы ошиблись номером, — я бросил трубку, и сразу же телефон снова зазвонил.

— Я по объявлению о щенке. Он детей не искушает?

— Мне кажется, я вас сейчас сам искусаю! Вы куда звоните?

— На квартиру.

— А попали в милицию, и никаких щенков здесь нет.

— Ну и очень глупо! Вам остается сказать про роддом! — И старушка обиженно разъединилась со мной. Какое-то телефонное недоразумение, черт бы их побрал со щенками и вечно барахлящими телефонами.

Звонок.

— Простите, а вы еще своего Стаса на выставку не выводили?

— Что-о? — спросил я, и сердце ворохнулось быстро и тревожно.

— Щеночка своего, спрашиваю, на выставку молодняка представляли?

— Да, — сказал я очумело, — скажите, а по какому номеру вы звоните?

Человек назвал номер моего телефона.

— А где вы взяли мой телефон? — осведомился я.

— Да вы что, не в своем уме? Он же в объявлении напечатан! Черт знает что — дают объявления сами не знают зачем, людям головы морочат только! — И возмущенно бросил трубку. И снова зазвонил телефон.

— Я по объявлению. Вы сколько за псину свою хотите?

— Недорого, почти задаром. Вы простите меня, я хотел у вас узнать, где вы прочитали мое объявление?

— Как где? В газете! А вы что — не знаете, где свои объявления печатаете?

— Видите ли, какая штука, — быстро забормотал я. — Мы с женой в принципе договорились о таком объявлении, а давала она его сама, я и спросить позабыл, а сейчас ее нет дома, поэтому я у вас и спрашиваю.

— Все понял — нет у вас насчет щенка еще согласного решения. А объявлянице такое ваша супруга дала в сегодняшнем приложении к «Вечерке».

— В каком приложении?

— В рекламе. Нешто не видели?

— Видел, видел, маленькая такая газета. А не прочитаете мне объявление?

Он там, на другом конце провода, засмеялся:

— Э, видать, супружница ваша совсем контрабандно провернула это объявление, — я слышал в трубке его сытый смешок, тяжелое настырное дыхание, я видел, как толстые ноздри с рыжими волосками раздувались от удовольствия, что он является первым и главным участником надвигающейся семейной грозы, и в его голосе было неодобрительное уважение к моей самовольной жене, так откровенно пренебрегающей моей волей, и нескрываемое презрение к моему слюнтяйству. — Да-с, ловко жена ваша это сделала.

Он посопел у микрофона, видно очки на нос напяливал, и дикторским тоном возгласил:

— «В связи с длительным отъездом хозяина очень дешево продается легавый щенок-медалист по кличке Стас, имеется родословная, воспитан в служебном питомнике. Звонить в дневное время...»

— Спасибо, — и нажал на рычаг.

Легавый щенок-медалист по кличке Стас. Все ясно — это Батон. Но почему? Напомнить мне о моем поражении? Но он знает лучше всех, что игра не окончена. Или он считает это еще одним голом в мои ворота? Разозлить меня хочет? Обсмеять перед всеми? Но ведь я могу никому не сказать об этих звонках...

Звонок. Я снял трубку и сразу же опустил ее на рычаг. Почти бесплатным щенком-медалистом будут интересоваться долго.

А могу не сказать? Это как следует считать — моим личным или служебным делом? Или, как говорят в документах, это личное дело возникло на почве выполнения мною моих служебных обязанностей? Так это что — плевков в меня лично или вызов большой группе людей, противостоящих Батону рядом со мной и называющихся все вместе — МУР? Или я много беру на себя? Может быть, истина состоит как раз в том, что человек по фамилии Дедушкин смог ловко и очень хлестко поиздеваться над человеком по фамилии Тихонов, и тот, не имея других средств отмщения, надевает на себя форменный мундир и начинает ерепениться, что Батон-де оскорбил честь этого мундира и должен за это ответить?

Батон, которого я грозился отучить воровать, спо-

койно вышел на волю и уже один раз подверг меня публичному унижению, заставив испугаться, когда прислал на меня жалобу. Теперь он нанес второй сокрушительный удар, поставив меня перед дилеммой: или доложить начальству об этом объявлении и совершенно неминуемо сделаться всеобщим посмешищем, потому что такие вещи обычно мгновенно становятся общеизвестными, или же никому не говорить про легавого щенка и признаться самому себе в собственной трусости и жуликоватости, потому что Батон знает: в нашей работе достаточно один раз хоть по самому пустяковому поводу схитрить — и добра не жди...

Надо идти к Шарапову и доложить обо всей этой истории. Ее еще будут тщательно разбирать, выяснять, устанавливать, неизбежно, кроме Шарапова, в этом будут участвовать другие люди, и даже страшно подумать сейчас, какую вызовет объявление лавину шуток, анекдотов, всяких басен, дружеских насмешек и не очень дружеских — вовсе не все в управлении мои друзья, и относятся люди ко мне весьма по-разному. Ох, черт его поberi!

Я достал из стола телефонный справочник и позвонил в редакцию. Меня пофутболили по нескольким номерам, пока я добрался наконец до секретарши отдела объявлений:

— С вами говорит старший инспектор Московского уголовного розыска капитан Тихонов. Вы поместили в сегодняшнем номере объявление о продаже щенка...

— Какого именно? У нас их в номере три продается.

— Легавого щенка по кличке Стас, — сказал я, и ощущение у меня было такое, будто я глотал наждачную бумагу.

— Да, помню такое объявление. А в чем дело?

— Нас интересует, кто сдал это объявление.

— Сейчас посмотрю по регистрационному журналу, — она коротко пошуршала бумагой, потом ответила: — Репнин Николай Иванович, проживает — Москва, улица Воровского, паспорт № 2794513...

Шарапов по телефону давал указания — наверное, кому-нибудь из наших инспекторов:

— Да, и вот еще что: посмотрите, подумайте, срав-

ните, нет ли там чего-нибудь общего с кражей в магазине на Домниковке. Ну давай, давай, жду вестей...

Он положил трубку, взглянул на меня удивленно — что это еще за фланирующие личности? — сказал и спросил одновременно:

— Итак, жизнь продолжается. Сводку читал?

— Читал.

— Я вчера допрашивал потерпевшего, и когда он мне рассказывал, на какую удочку его выудил вор — он телефонным монтером прикинулся, то невольно вспомнил историю двадцатилетней давности. — Шарапов хмыкнул и замолчал.

— Что за история? — спросил я без интереса.

— Я на работу через Трубную площадь ходил, и там на лотках два деателя продавали сухой кисель. Помнишь, был такой розовый порошок в продаже?

— Помню.

— Вот я и обратил внимание, что у одного всегда стоит очередь, а у другого кисель берут совсем редкие прохожие. И стало это мне любопытно, и любопытствовал я до тех пор, пока не посадил продавца с богатой клиентурой.

— Почему? — удивился я.

— Потому что он был житейский философ. Практическую психологию хорошо смекал: он в ягодный концентрат ценою двадцать три рубля кило добавлял ровно половину сахара за девять рублей кило. На каждом килограмме товара он зарабатывал четырнадцать рублей, и покупатели охотнее брали его кисель — он был много слаще.

Шарапов, видимо, хотел пояснить свою мысль о сладком киселе, который нравился обворованному телефонным мастером человеку, но я глубоко вздохнул и быстро, как человек, прыгающий в холодную воду, перебил его:

— Владимир Иванович, у меня неприятность произошла...

Он слушал внимательно, не перебивал меня, не смеялся и не сердился, а только рисовал все время на бумаге какие-то затейливые фигуры — ромбики, кружки, кресты, соединял их между собой, какие-то части заштриховывал, и получался сложный орнамент. И на меня не смотрел, отчего мне казалось, будто он плохо

слушает мою историю, продолжая раздумывать о практических психологах и любителях сладкого киселя.

Я договорил до конца, тяжело вздохнул, мы помолчали, потом Шарапов спросил:

— А почему же он на паспорт этого Репнина сдал объявление? — И по-прежнему на его лице не было ничего, кроме скуки, но мы с Шараповым работали давно, и я сразу же безотчетно уловил в нашем разговоре дрожание незримой струны, какой-то непонятный нервный трепет, для постороннего человека совершенно непостижимый за ватной маской недвижимого шараповского лица. Мне даже показалось, будто он изо всех сил сдерживается, чтобы не вскочить, не затопать на меня ногами, не заорать тонким сердитым голосом, и я никак не мог понять причины его гнева — ведь в конце концов любой на моем месте мог стать жертвой выходки Батона. Наконец Шарапов отверз уста — мне, ей-богу, и другого слова не подобрать, он не сказал и не заговорил, а именно отверз уста. Разлепил, чуть приоткрыв сухие губы:

— При твоей внимательности, будь это на фронте, тебя в первой вылазке убили бы...

— Владимир Иванович, ей-богу, не понимаю, о чем ты говоришь.

— Я вижу. Попрошу тебя — вспомни, с чего мы начали сегодняшний разговор?

— О киселе мы вроде бы говорили... — неуверенно сказал я.

— А до этого?

— Я спросил тебя, читал ли ты сводку! — тихо сказал Шарапов и побелевшими растопыренными пальцами обеих рук уперся в столешницу. Меня осенило.

...Репнин! Репнин! Господи, как же это я мог забыть!

— Репнин... — сказал я растерянно, — кража в квартире, сберкасса, преступником похищен дареный именной браунинг...

— Именной браунинг, — повторил Шарапов. — А это обозначает, что теперь твой друг Батон вооружен.

— Но зачем ему оружие? Ведь он «майданщик», никогда не лазил он по квартирам. Воры ведь почти никогда не меняют своей «окраски»...

— Во-первых, меняют. Во-вторых, лазил и раньше.

— Откуда вы знаете?

— Я хотел тебе дать отдохнуть хоть в праздники и не стал вызывать тебя вчера. С повинной пришел вор, бывший вор Бакума. Знакомый мой.

— И что?

— Из ряда вон случай. В пиковом я положении.

— Вы? А вы-то почему?

— Чистосердечное признание может быть признано таковым в случае, если преступник истощающе пояснил, когда, где и с кем он совершал преступления. А он не говорит, с кем домошничал. Написал заявление на пяти страницах — когда и где, при каких обстоятельствах совершал кражи, перечисляет похищенное и обязуется возместить ущерб. А с кем, не говорит...

— А почему положение-то пиковое?

Шарапов насупленно, недовольно покосился на меня.

— Потому что он теперь стал честным человеком. Совсем. А его судить будут. Должны, во всяком случае, судить, особенно если он не назовет подельщика. Поэтому как для закона полправды не существует.

— Я тоже этого не понимаю: если он совсем честным стал, если он такой честный теперь, пусть говорит, с кем воровал раньше.

— С такой логикой в крестики-нолики хорошо играть, а не людей судить. Тебе просто — ты себя чувствуешь одновременно и сыщиком, и судьей, и законом. А я человек старый и, может, чего-нибудь не понимаю, но вот с законом я себя не объединяю. Закон — это закон, а я человек.

— Человек, — повторил я. — Но человек на службе у закона.

— Да. А Бакума — человек, стоявший много лет против закона. Но мы с ним оба люди, поэтому мы много знаем друг о друге и, может быть, тебе это дорого от меня слышать, но я вот лично в его честность меньше поверил бы, кабы он полностью сдал своего подельщика.

Я зажал пальцами уши:

— Владимир Иванович, будем считать, что твой подчиненный не слышал еретических откровений...

Он пожал плечами:

— Ты ведь знаешь — я ничего шепотом не говорю, чего вслух повторить бы побоялся.

— Бьюсь об заклад, начальство не одобрило бы такой точки зрения.

— Это смотря какое начальство. Оно ведь разное бывает, и у начальников точки зрения бывают разные. Для сиюминутной пользы правопорядка, конечно, лучше было бы, коли Бакума назвал своего компаньона. А если чуть шире статистики уголовной и нашей отчетности взглянуть, то выходит, что гораздо важнее, когда на сороковом году старый вор в законе Бакума стал честным человеком.

— Может быть, — пожал я плечами. — Но вы-то сами не опасаетесь, что это у вас в душе звучит чувствительных струн перебор?

— Не опасуюсь, — отрезал Шарапов. — У меня с чувствительностью нормально, я соплей христорадских посмотрелся. А Бакума знал, когда сюда шел, что его повинная без полного признания принята не будет. Он только надеялся...

— На что?

— Что ты его от предательства избавишь и сам возьмешь подельщика. Он ведь от своей доли ответственности не отлынивает — готов кару нести.

— Так если он стал честным, то какое же это предательство — вора передать закону? Тут где-то у тебя, Владимир Иванович, конструкция трещит — или в честности его, или в предательстве!

— Не понимаем мы сейчас с тобой друг друга, — растерянно развел руками Шарапов. — Наверное, потому что выросли мы с тобой в разное время. Вокруг тебя полно людей хороших, и чтобы достать одного плохого, тебе другого, хорошего, заломать не жалко.

— Мне хорошего заломать жалко, — зло ответил я. — Только не такой уж хороший этот Бакума. Он вор, который согласился больше не воровать. Не такая уж эта замечательная добродетель у нормального человека.

— И в этом ты прав, — покорно согласился Шарапов. Долго задумчиво молчал и совсем неожиданно закончил: — Двадцать пять лет мне понадобилось протрубить, чтобы понять вот здесь, — он показал рукой на сердце, — многие преступники похожи на беспризорных, шkodливых сирот, потерявших своих мамок...

— А кто их мамка была?

И он ответил очень просто, спокойно и от этого необычайно значительно, весомо, точно:

— Люди. То есть человечество...

Чего-то расхотелось мне спорить с Шараповым, и я сказал, чтобы как-то закончить наш разговор:

— Вот одна такая сирота человеческая по имени Алексей Дедушкин и нашкодила уже.

— Да. И мне кажется, что именно его не захотел назвать Бакума.

— А почему ты их связываешь?

— Не знаю. Сердце мне подсказывает. Ну и, кроме того, дерзость исполнения, необычность замысла— Бакума сам на это не способен. Вообще там много деталей наводит на такую мысль. В частности, давно знакомы они.

— Плюс кража у Репнина?

— Да, и кража у Репнина. Мне вообще кажется, что это объявление Батона и повинная Бакумы как-то связаны между собой. Там что-то внутри происходит, кипит там что-то в глубине. Батон сбеситься должен был, чтобы дать такое объявление.

И снова унижение волной залило меня.

— Ну если он сбесился, надо будет на него надеть намордник...

— Не хвались, едучи на рать,— усмехнулся Шарапов.— Взять его будет теперь трудно. Я думаю, он не случайно с собой пистолет прихватил.

— Неужели ты думаешь...

— Думаю, думаю,— кивнул Шарапов.— Это объявление— мне, во всяком случае, так кажется— жуткий вопль отчаяния. Он теперь, наверное, ни перед чем не остановится. Он за собой мосты сжег. И помни: его браунинг теперь снят с предохранителя всегда...

Зубы у женщины были такие огромные, что она не могла губами прикрыть их, отчего на лице ее все время плавала растерянно-испуганная улыбка.

— Магилло моя фамилия,— сказала она.

— А кем вы доводите Алексею Дедушкину?— спросил я.

— Супруга мы его отцу, вроде, значит, мачехи,— от застенчивости она растирала пухлыми руками свой фартук.

Сидевший в углу на табурете старик со слепым от безмыслия лицом вдруг сипло заперхал, закашлял, долго хрипел и отплевывался, и мокрота летела прямо на пол, потом он сказал отчетливым петушиным фальцетом, вздымая синий кривой палец:

— Близок господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Господь пойдет сам перед тобою, сам будет с тобою, не оставит тебя и не отступит от тебя...

Ноги его для тепла были завернуты в мешковину, на которой ясно виднелся штамп с надписью: «Сахар. ГОСТ 4762».

— Это их дедушка, — пояснила Магилло, — мужа моего бывший тесть...

Я придвинул стул ближе к старику и сел напротив. Глаза у него были пустые, как стершиеся пуговицы.

— Дедушка, ваш внук Алексей когда из дома ушел?

Старик смотрел сквозь меня, жевал ввалившимся ртом, молчал.

— Мне нужен ваш внук Алексей. Где он может быть?

Старик редко мигнул несколько раз, будто раздумывал над моим вопросом, потом звонким фальцетом вдруг проговорил:

— Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии пожетонное вознаграждение! Мне не оплачено пожетонное вознаграждение — потрудитесь, сударь, вернуть его!

Проблеск мысли в глазах держал его еще какое-то мгновение на поверхности, после чего он вновь нырнул в омут безумия.

Сначала до меня даже не дошел смысл его слов, и, постепенно вдумываясь, я понял, что всплеск безумия своротил гору лет, и под этим тектоническим сдвигом неожиданно обнаружилась уже всею забытая и всею давно ставшая безразличной мерзость одинокого сирого старичка, закутанного в старый мешок из-под сахара, — передо мной сидел заживо истлевший филер, платный доносчик, провокатор. Получатель «пожетонного вознаграждения». Дед вора-рецидивиста Алехи Батона. И, подумав о Батоне, я почему-то вспомнил слова Шарапова: «шкодливые беспризорные сироты, потерявшие свою мамку-человечество».

Тяжело вздохнула за моей спиной Магилло:

— Не в своем уме. Бормочут все время что-то несуразное, требуют без конца какое-то вознаграждение — вроде бы чего-то им не заплатили. А кто и что — в ум не возьму. А супруг мой сердится на них за это. Давеча палкой грозился отколотить, а старичок все просит жалобно — отдайте мое...

Я сказал ей:

— Сейчас придет участковый с понятыми, мы должны будем сделать у вас обыск...

Магилло испуганно охнула, а дед — я это точно заметил — при слове «обыск» вдруг снова вынырнул из бездны, и в глазах его забилась легкая рябь мысли. Тонким голосом он стал говорить:

— Иов снискал себе пропитание рыбной ловлей... Из всех рыб самая поганая — окунь, костистая и ослизлая... В пищу потребная магометаням, иудеям и другим нехристям... Окунь — вельзевулов исход...

— Вы не понимаете, что он бормочет? — спросил я Магилло.

— Кто же его поймет, убогого? — пожала мощными плечами Магилло. — Я думаю, ему еще так окунь противен, что у Алешки нашего друг был с таким прозванием, и когда дед немножко в уме еще находился, то они с мужем моим часто ругали этого Окуня, дескать, он Алешку с толку сбил, против семьи настроил и из-за него Алешка из заработков своих в дом ничего не давал. Вот муж мой с дедом очень сильно на того Окуня и злобились. А кто он и из себя какой — не могу сказать, не видала его никогда, не довелось...

Я сел за стол писать протокольную часть обыска, и все время в голове крутилась мысль: неужели речь идет о бывшем адвокате Окуне, который защищал Батона по четырем делам?..

ГЛАВА 32 СЕМЬ ЖИЛИЩ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Когда пьешь с самого утра, то хорошо. Не страшно. Все гудит, ухает вокруг, плывет, и стены, кажется, текут. А я не пьяный. Водка меня не берет. Я водки-то все равно сильнее. Вре-ешь, меня с катушек не свалишь. Не-ет, шалишь, я всего на свете вина пьянее. Нет, трез-

вее. Ишь, гады, придумали — меня не пуганешь. И не обхитришь, не старайся. Думали Батона из игры выкинуть — нате, выкусите! Дорогой гражданин инспектор Тихонов — дудочки вам-с! Нукось покажите, как это вы Батона отучите воровать? А не угодно ли пройтись в сберкассу? Получите по вкладу...

Зосенька! Птичечка! Чего ты мне говоришь? Я тебя не слышу! Не бормочи, не слышу! Вы для меня все умерли — я с вами незнаком! Я отдыхать буду, я маленько выпил. Два дня пью — буду месяц пить, я водки сильнее. И денег у нас хватит! Зося, поехали на курорт! Или давай тут выпьем! Денег хватит! Зося, где мои деньги? Отдай, паскудина, деньги! Как не брала? А, вот они где! Праздник разве кончился? Деньги есть — пускай праздник идет дальше. Зося, спляши мне! Эй, бакланы, рванина уголовная, Батон гуляет! Хватай хрусты, их у меня два кармана! Блатные денежки легкие, они веселые должны быть...

Эй, Зоська, сука, не вороти нос! Или тебе моих монет мало? Я еще принесу. Молчи! Не слышу я тебя! Ну-ка налей мне еще стакан! За помин души моего папеньки давай хлопнем! Или он еще не подох? Ну черт с ним, пусть его еще носит! Зоська, спой, ты мне почему-то давно не пела! Зоська, Зоська, давай пой «Белые туфельки»! Как там — «...и проплясала она в белых туфельках...» А-а-а! Ты чего, хабалка, ревешь? Не нравлюсь я тебе? К Бакуме хочешь! Шоферская маруха Зоська! Я вас, потрохи проклятушие, обоих из «шпаера» заделаю! Ты видела, какой у меня «шпаер» — называется он «браунинг»! Смо-ори, смо-ори какой, где это он у меня лежит, ага, вот он! Читай, чего тут на нем написано — «Красному бойцу»! Поняла, нет? Поняла, нет? Зоська, давай споем вместе — вот хорошая песня: «Мы встр-р-ретились, как тр-ри-р-рубля на водку-у... И р-разошлись, как водка на тр-рои-их...» Зоська, как там дальше?..

Это кто там звонит? Зоська, гости пришли! Вместе пить будем, песни в теплой бражке споем! А-а-а! Какая гостья — Ядвига Феликсовна! Пришли проведать дочку Зосю и почти законного зятя Алешу? Проходите в красный угол, посажу вас около самого телевизора — вы для меня красивше всех дикторш телевизионных... Да вы усы не топорщите! Не пуганете! И любите лучше своего почти законного зятя, а то я вас сейчас как шугану от-

судова! Цыц! Цыц! На вверенной мне территории тишь с благодатью! Докладывает старший по камере Де-душкин!

Ядвига Феликсовна, водку пить будете? А то я за шампанским сметаюсь. Или Зоську пошлем, пускай она нам всяких разносолов притащит. Слушайте, Ядвига Феликсовна, у меня чего-то жизнь в последнее время сикось-накось пошла. Сломалось земное тяготение, машина перестала работать. Вы знаете, Ядвига Феликсовна, что такое земная ось? Это проволочка, на которой глобус крутится, вот она сильно нагнулась. Я себя нормально чувствую только лежа. А может, мне для этого навсегда залечь? Отбросить хвост и тихо улечься в ящик?

...Ядвига Феликсовна, вы же гадать умеете! Погадайте мне — хочу все знать про себя! Да не нужны вам карты, вы и так, по руке умеете! А я вам говорю — гадайте! Цыц! Цыц! На этой хате маза всегда за мной! Цыц! Гадайте... И не смотрите на меня так своим ведьмачьим глазом... Глаз у вас прозрачный, злой, хитрый... Колдуйте, хрен с вами...

...А может быть, вас нет здесь вовсе, Ядвига Феликсовна? Может быть, у меня видения уже? А? Вы скажите — меня уже ничем не напугать, я и так всего на свете боюсь! А на кой вам знать мое любимое число? Ну семь, допустим. Родился я седьмого числа седьмого месяца, а год и не упомяну... Не верю в магическое число семь...

— ...Семь ангелов стоят пред лицом господа — Цафкиил, Цадкиил, Шамаил, Рафаил, Ганиил, Михаил, Гавриил, — владеют миром души человеческой, страстями людскими. Твой ангел — Ганиил, попечитель хитрости и алчности...

Семь планет обращаются вкруг тебя на своде небесном — и твой мир под планетой Сатурн, демоном, пожравшим детей своих.

Семь птиц планетных — угод, орел, коршун, лебедь, голубь, аист и сова, и знак твой — сова, потому что слеп ты при свете дневном.

Семь зверей священных — крот, олень, волк, лев, козел, обезьяна, кошка, и покровитель твой — волк, зверь алчный, злой и трусливый.

Семь металлов планетных — свинец, олово, железо, золото, медь, ртуть, серебро, и твой металл — ртуть,

тяжелая, из рук вытекающая, мерцающая холодом и всех травящая.

Семь отверстий в голове человеческой — рот, уши, ноздри, глаза, и ты — это рот на голове человеческой, потому что глаза твои закрыты на чужие беды, уши не слышат стоны обиженного, ноздри не чуют запаха гари. лишь рот твой ненасытен и неустанен.

И только семь жилищ осужденного судьбой — все твои: геенна, боль смерти, врата смерти, мрак смерти, помойная яма, забвение, преисподняя!..

Тишина. Тоска. Темнота. Мрак смерти?..

ГЛАВА 33 ПРАВОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Ученическим круглым почерком написала она в конце бланка протокола допроса: «С моих слов записано верно», и расписалась так же кругло, детски беспомощно — «Г. Петровых».

Я положил протокол в папку и спросил ее:

— Галя, а вы давно работаете после школы?

— Год. Два курса училища после школы и год работаю, — в глазах ее была надежда, такая же отчетливо-круглая, как детский почерк — она надеялась, что я пойму: не могла она за год научиться читать в людях, не могла она знать, что и такие мерзавцы встречаются, которые могут вырвать дважды чужие деньги. Ведь даже кассир Антонина Петровна ничего не заметила! Но про Антонину Петровну она ничего не сказала, только испуганно покачала головой...

— А вы у Антонины Петровны в больнице были? — спросил я.

Она кивнула.

— Как она? Врачи просили ее пока не беспокоить.

— У Антонины Петровны сердце плохое. Сын у нее был, Женя.

— И что?

— Он новые самолеты испытывал... и в прошлом году погиб. А жена его и девочка живут вместе с Антониной Петровной, — она посмотрела на разложенные по столу фотографии Батона и сказала: — А этот... теперь ее совсем добил...

Раздался телефонный звонок:

— Станислав Павлович, это из бюро пропусков. Тут пришел гражданин по фамилии Окунь, он говорит, что вы его приглашали к себе.

— Да-да, пропустите, пожалуйста...

Я подписал Гале Петровых пропуск на выход и сказал:

— Поезжайте к Антонине Петровне, постарайтесь успокоить ее. Вы ей объясните, что мы знаем этого рецидивиста, он находится у нас в розыске и должен из-за этого проживать нелегально — ему денег потратить нигде будет. Я уверен, что мы его возьмем в ближайшее время и все это как-то утрясется... — Галя молчала, и я добавил: — Экспертиза считает, что подписи в ордере сходны с оригиналом, особенно вторая...

— Ну? — не поняла Галя.

— Ну с учетом того, что он и паспорт предъявил, и расписался одинаково, и ваша вина не так уж очевидна... — говорил я все это бодрым строевым голосом, но, судя по Галиным глазам, не очень-то верила она в мой казенный оптимизм...

А через минуту после ее ухода явился ко мне в кабинет Окунь. Притворил за собой дверь, снял очки, и, пока он протирал темным платком стекла, лицо его — как со сна — было беспомощным и под переносицей с обеих сторон носа ярко краснели ямки, надавленные опорами очков. Потом он надел очки, и глаза его за сильными бифокальными линзами блеснули холодно и ясно. И вид у него уже был совсем не беспомощный и не просоночный.

— Слушаю вас, — сказал он сухо и внушительно.

— Я пригласил вас, гражданин Окунь, чтобы задать вам несколько вопросов о ваших взаимоотношениях с Дедушкиным...

— «Гражданин Окунь!» — перебил он меня, зафиксировав свое восклицание поднятым указательным пальцем. — Имея некоторый опыт в осуществлении юридической процедуры, хочу отметить, что высоким титулом гражданина у нас почему-то принято именовать лиц, вступивших в напряженные отношения с законом. Вам это не кажется странным? Послушайте, как звучит: «гражданин Робеспьер!», «гражданин Окунь!» Нравственная эволюция от Дантона до Дедушкина...

— Это хорошо...

— Вы находите?

— Я хотел сказать, что это хорошо, коли у вас есть время и настроение сейчас резвиться подобным образом. Это раз. А теперь два — вы меня больше не перебивайте. Когда мы будем пить чай у вас в гостях, там вы сможете вести беседу так, как вам понравится. А здесь попрошу вас отвечать на мои вопросы. Договорились?

— Понятно. Но есть один обязательный предварительный вопрос к порядку ведения...

— Готов ответить.

— Если вы намерены просто побеседовать, то для этого, как минимум, нужно заручиться моим согласием.

— Верно, — сразу согласился я. — Но если я намерен вас допросить, то мне вашего согласия совсем не нужно — вы мне отвечать обязаны.

— Абсолютно точно, — кивнул Окунь. — Соблаговолите тогда сообщить мне номер уголовного дела, в связи с которым вы меня хотите допрашивать, а также против кого оно возбуждено.

Он вежливо, почти застенчиво улыбнулся, ласково пояснил:

— По закону нельзя допрашивать людей до возбуждения уголовного дела.

Я вынул из стола папку, перелистнул обложку, спросил его:

— Продиктовать — вы запишете? Или запомните?

— Запомню — у меня очень хорошая память.

Я назвал номер и добавил:

— Дело по обвинению гражданина Дедушкина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 93-й, 144-й и 218-й Уголовного кодекса.

— Вот теперь все прекрасно, — сказал Окунь. — И в каком качестве вы намерены меня допрашивать? — Свидетеля.

Он длинно, тонко засмеялся, повизгивая на раскатах:

— Вы меня не поняли, гражданин Тихонов. Насчет себя я и не сомневаюсь, моя процессуальная роль ясна. Я насчет вас интересуюсь: по закону инспектор уголовного розыска допрашивать не имеет права, — и он радостно потер пухлые ладони, взыграл всей своей пышной грудью.

— Имеет, — спокойно сказал я. — Как бывшему адвокату вам бы не мешало знать, что сотрудник оперативной службы имеет право производить допрос, рас-

полагая на это поручением прокурора или следователя.

— И как же?

— Вы не волнуйтесь — все в порядке, у меня такое поручение имеется. Что, все ваши сомнения разрешены? Можно начинать?

— К вашим услугам.

— Вот теперь, до заполнения анкетной части протокола, попрошу вас ответить: вам зачем понадобилась эта дешевая психическая атака?

— Я отвожу ваш вопрос как не имеющий отношения к расследуемому делу. Можете записать, что я на него отказался отвечать. В отдельном заявлении, которое я вас попрошу приобщить к протоколу допроса, я намерен отметить, что вы считаете выяснение свидетелем своего правового статуса психической атакой на следствии.

— Ах так, вы, значит, меня уже легонечко припугиваете?

— Зачем? Я просто ставлю нас по местам!

— Ну, гражданин Окунь, для этого не надо было тратить столько пороку: нас жизнь уже давно на свои места поставила!

— В жизни, к сожалению, еще слишком велика роль нелепого случая и общественной несправедливости.

— Если вы имеете в виду ваше отстранение от адвокатской деятельности, то вряд ли это можно считать нелепым случаем...

— Зато можно считать прекрасным примером несправедливости!

— Ну-ну... Это скорее прекрасный пример тогдашней нашей нерасторопности — логический конец в той истории отсутствует.

Наливной мужик Окунь весь пошел красными пятнами:

— Может быть, вы располагаете неопровержимыми доказательствами для предъявления мне обвинения?

— Нет, не располагаю. К сожалению.

— Тогда бы я попросил держать ваши домыслы при себе, — и весь он покрылся крупными горошинами пота. У него, наверное, хорошая секреция: внутренний импульс — мгновенная внешняя реакция.

— Почему же? Вот я поговорил с вами и убедился, что если Батону надо пожаловаться на противного,

въедливого милиционера, то ему есть с кем посоветоваться, — и вдруг совершенно неожиданно для себя я сделал «накидку», хотя делать это крайне не люблю и обычно тщательно избегаю: — Если Батон это рассказывает, он что, клеветает на вас?

Окунь снял очки, достал носовой платок и стал не спеша протирать стекла, и лицо его снова было беспомощно-голым, и я не мог не оценить прекрасной отработанности этого хода, потому что немислимо хватать, вязать, изобличать человека, который в это время ничего не видит. А Окунь быстро думал. Не спеша надел он очки, поправил дужку на переносице.

— Уточните, что вы имеете в виду? — спросил он.

— Ваши душевные разговоры с Дедушкиным, и ничего более, — сказал я наугад.

— Помочь человеку — при этом в рамках закона — мой нравственный долг порядочного гражданина и правозаступника, — он говорил медленно, будто подбирая слова, и я понял, что угадал. Чтобы не потерять внезапно найденной позиции, я мгновенно ответил:

— И вас не смутило, что Дедушкин искал выход из трудного положения путем клеветы на меня? Что ж, надо прямо сказать, что ваш нравственный долг имеет очень растяжимые границы.

— Я не знаю, что вам говорил Дедушкин, но мой долг адвоката был в том, чтобы найти честный и прямой путь к закону. Я и дал ему совет обратиться в органы внутренних дел с повинной.

— Послушайте, Окунь, не надо жонглировать словами. Никакой вы более не правозаступник, никто вас этими полномочиями давно не облакает, а действовали вы не как адвокат, а как подпольный стряпчий.

— Как вам угодно будет считать, мне ваше мнение безразлично...

— Ну это вы напрасно так горячитесь! Я вот смотрю на вас и с огорчением думаю о том, что здесь, на том самом стуле, что вы занимаете сейчас, просидел много часов матерый преступник, вор, признанный особо опасным рецидивистом, по имени Алексей Дедушкин. И он говорил те же слова, что и вы, с той же интонацией, в той же манере, что наводит меня на мысль о подражательности всей его личности. В таких случаях мы говорим, что его поведение вторично. Вряд ли вы мне станете доказывать, что переняли манеру поведения у мало-

грамотного, хоть и очень нахватавшегося верхушек вора...

— А я вам ничего не собираюсь доказывать...

— Вот, вот! Я с вами буду столь же откровенен. Вы юрист и знаете так же хорошо, как и я, что оснований для уголовного преследования в отношении вас не имеется. Отсюда ваша независимость в обращении со мной. Но я должен вас разочаровать.

— Н-да? — протянул Окунь.

— Да. Вы были сначала удивлены, когда решили, что Батон уже сидит у нас, а потом даже этому обрадовались — что он может сказать про вас, заурядный вор-майданщик? И с вашей точки зрения даже лучше, чтобы он у нас побыл на иждивении, спокойнее. Но штука в том, что Дедушкин на свободе...

— Да-а? — вновь протянул осторожно Окунь.

— На свободе и совершил ряд исключительно дерзких преступлений. С последнего места происшествия он украл пистолет и может теперь сотворить что угодно...

— Но я-то что могу сделать? — вдруг, не выдержав, крикнул Окунь.

— Вы будете мне помогать искать Батона. Если вы этого не захотите сделать, то я не дам вам сидеть вот так свободненько в кресле и пользоваться моральными привилегиями честного человека только потому, что ваша вина не была юридически доказана.

— Что? Что вы хотите этим сказать? — шея у Окуня от злости побагровела.

— Я хочу сказать, что с вами работал ленивый или неопытный следователь. Я начну землю рыть носом в поисках старых следов. Когда мы возьмем Батона и он расскажет о вас, а он скорее всего расскажет, я поеду на все три предприятия, где вы совмещаете работу как юрисконсульт, и привлеку к вам внимание партийной организации и общественности. Там наверняка с большим интересом узнают, что их юрисконсульт в свободное время консультирует уголовников. В общем, обещаю, что я много старания приложу, чтобы доказать вам: нельзя жить так вот припеваючи только потому, что ты не оставляешь за собою явных следов...

Видимо, очень яростно я поведал это все Окуню, потому что он вдруг засмеялся и сказал:

— Послушайте, инспектор, чего вы в самом деле так распетушились? Мне ведь Батон не сват, не брат. И у

вас наверняка хватает здравомыслия не предполагать, будто мы вместе ходим шарить по вагонам. Отношения у нас с ним действительно старые, но если я вам смог бы помочь его поймать, то сделал бы это с большим удовольствием...

— Вот с этого начинать надо было, — сказал я сердито. — Что вам известно о местопребывании Дедушкина?

— Ничего. Я действительно не знаю, где он сейчас. Но опыт подсказывает мне справедливость слов Альбера Камю...

— Каких?

— «Женщина всегда была последней отрадой для преступника, а не для воина. Это его последняя гавань, последнее прибежище, и неудивительно, что преступников обычно хватают в постели у женщины». Ведь хорошо, черт возьми, сказано! И очень точно!

Савельев, выслушав мой рассказ, сразу сказал:

— Это не просто совет! Он на кого-то намекал, но на всякий случай от прямых указаний воздержался.

— Ничего себе намеки! Иди проверь в Москве все постели, в которых может валяться Батон.

— Есть один вариант, — сказал Сашка. — Но это не наверняка...

— Ну-ка?

— Давай пошлем телеграмму — запрос в колонию, где отбывал последний раз Батон. У них там могут быть сведения о его переписке, посылках или свиданиях...

— Можно попробовать. Составишь телеграмму?

— Хорошо. Слушай, а этого жука навозного, Окуня, надо бы внимательно отработать, — сказал Сашка, недобро ухмыляясь.

— Давай с Батоном разберемся сначала.

Зазвонил телефон, я снял трубку.

— Стас, это ты? — раздался голос Шарапова. — Тут вот какое дело — из Тбилиси пришло спецсообщение. Ребята из уголовного розыска арестовали месяц назад некоего Зураба Манагадзе, его биография — целый уголовный букет. Сейчас он уже во всем сознался. Так вот, вчера на его имя пришли две посылки из Москвы, чемоданы с промтоварами. Ну предъявили ему их — он говорит, что в Москве у него из друзей только Алеха

Батон, больше не от кого получать вещи. Вот такие пироги, понял?

— Наверное, мне в Тбилиси надо лететь...

Разделавшись с перепиской — а за время работы по делу ее всегда накапливается предостаточно, — я натянул плащ, собираясь в «Метрополь» за билетом в Тбилиси. Вспомнил, что хотел позвонить матери, и подошел к телефону, но аппарат затрещал, опередив меня. Я снял трубку и услышал глухой голос Шарапова:

— Хорошо, что застал тебя на месте. Бери дело и приезжай в министерство к Борисову. Машина за тобой уже вышла. Номер — два ноля пятьдесят два. Давай срочно. Тебя ждут.

Ого, видно, там происходило что-то нешуточное, если меня дожидался заместитель министра внутренних дел...

ГЛАВА 34 СНОВИДЕНИЯ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

Это было не похмелье и не просоночный бред. Сон был прозрачный, ясный, я запомнил в нем все до мельчайших деталей...

Я вошел в Зосину квартиру и в передней услышал чей-то негромкий говор из комнаты. Отодвинул штору на двери, увидел, что Зося стоит на коленях перед тахтой. А на тахте сидит мальчик лет двух-трех. Худенький, в заштопанном сереньком свитере. На прозрачном лице — огромные черные глаза, с длинными, почти синими ресницами. Где-то я уже видел этого мальчонку, но никак припомнить не могу, когда и где. И Зося перед ним — бледная, усталая, лицо в слезах.

«Зося, кто это? Чей это мальчик?»

«Это твой сын».

«Почему же я его никогда не видел?»

«Потому что он не родился тогда...»

«Почему же он здесь?»

«Потому что он — это ты!»

И огромное воспоминание, светлое и болезненное, билось во мне, как в непроходимой, вязкой трясине; оно рвалось наружу, пыталось удержаться на поверхности памяти, и это воспоминание стало бы для меня спасе-

нием, кабы оно сомкнулось с явью до того, как я проснулся. Я рванулся к мальчику, хотел схватить его на руки, а он повернулся ко мне, и я увидел, как в зеркале, на тоненьком его лице свои глаза, и мне стало так невыносимо страшно, что я закричал.

И проснулся.

ГЛАВА 35 ПЕРЕОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИНСПЕКТОРА СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

Я отворил дверь в кабинет, и от необычности обстановки, от напряжения и неизвестности всего происходящего у меня перехватило дыхание. Я сделал три шага вперед, неловко стал смирно и сорвавшимся голосом доложил:

— Товарищ генерал-лейтенант, капитан Тихонов по вашему приказанию прибыл...

— Здравствуйте, капитан. Садитесь...

За отдельным, сбоку стоящим столом для совещаний сидело пятеро, и пока я шел к своему стулу, рассмотрел их. С края — Шарапов, за ним, вполоборота ко мне, широкоплечий молодой брюнет, потом наш комиссар — начальник МУРа, напротив него — начальник Центро-розыска страны комиссар Кравченко и в торце стола — Борисов. Я в первый раз видел так близко Борисова и очень сильно удивился — если бы не золотые важные очки, про него можно было бы сказать: совсем молодой человек, ему наверняка только-только перевалило за сорок. Вообще-то за девять лет работы в милиции я видел замминистров главным образом в художественных кинофильмах и с некоторым разочарованием обнаружил, что ни одного из обязательных атрибутов кабинета киногенерала здесь нет. Кабинет был совсем небольшой, ну, может быть, чуть-чуть просторнее, чем у Шарапова, не было деревянных панелей на стенах, тяжелых штор, всех этих раздражающих меня барских апартаментов с громадными гостиничными мягкими креслами, какими-то пуфами и почему-то всегда пустыми полированными столами. Стол Борисова был придавлен двумя кипами бумаг, аккуратно расположенными с обеих сторон: по-видимому, в одной были отработанные, а в другой —

еще не рассмотренные. Рядом, на столе поменьше, стояли телефоны. Вот телефонов-то было предостаточно: министерский циркулятор, городской и еще масса всяких аппаратов, назначения которых я и не представлял, и мне стало интересно, как он сам разбирается, когда они звонят. Нелепые часы-башня в углу кабинета захрипели, и раздались какие-то странные кашляющие удары: бам-ках-кхе, бам-ках-кхе...

Борисов мотнул головой в сторону часов:

— Профессор Лурия утверждает, что мои часы идеально воспроизводят бронхиальный спазм...

Все засмеялись, я сел за стол против широкоплечего брюнета, взглянул ему в лицо и обмер. С очень строгим официальным выражением лица, улыбаясь одними глазами, на меня смотрел Ангел Веселинов. У меня, наверное, был замороженно-дурацкий вид, потому что Ангел не выдержал игры и, захохотав, сказал Борисову:

— Другарь генерал, моя женщина Настя велела мне в первый же день встретиться в Москве с Тихоновым, но она и не думала, что вы мне в этом поможете...

Я еще находился в столбняке, и для всех это было очевидно, наверное, поэтому Борисов сказал:

— ...Ну ладно, для отдыха и приветствия друзей объявляю двухминутный перерыв...

Мы обнялись, и только тут я совсем понял, что это Ангел Стоянов-Веселинов, мой веселый хитрый друг Ангел, с которым мы не виделись девять лет и который, как раньше, называет жену по-болгарски — женщина, а женщину — жена, что именно он офицер связи, о котором говорил Шарапов, и, по-видимому, он заканчивает в Софии дело, начатое мной здесь. Хохотун, насмешник и забияка, от проделок которого больше всех страдал «Два Петра» и называл в сердцах Архангелом, парень, о котором я совсем недавно думал и с которым мы искали и не нашли мой седьмой, некупленный билет. Моя мать считала его единственным приличным моим приятелем, называла только Ангелочком, и мы вместе с этим приличным приятелем по ночам воровали для его Насти из Ботанического сада какие-то, как он говорил, «отдельные», то есть особенные, цветы, обменивались шпаргалками на экзаменах, водили один грузовик на целине, а Гога Иванов — тогда он еще не ездил

по стене в парке Горького — учил нас всяким гоночным трюкам на мотоцикле. Мой друг Ангел, который смешил нас всегда выражениями вроде «постав палто» вместо «положи пиджак» и, утверждая любую затею, кричал призывно и весело «Хай-де!..» — именно он тискал меня в объятиях в кабинете Борисова, куда я сам попал впервые в жизни. Наш разговор состоял из одних междометий, и длилось бы это, наверное, долго, если бы Борисов не сказал:

— Перерыв закончен. Мы вас слушаем, товарищ Веселинов.

Ангел подмигнул мне, шепнув: «Поговорить успеем». Он вернулся за стол, достал из портфеля большой лист бумаги, и я понял, что это оперативная схема.

— ...Шайка располагала скоростными машинами — за несколько часов они могли пересечь всю страну, — сказал Ангел. — Это и осложнило на первых порах следствие. Ведь, говоря откровенно, никому и в голову сначала не пришло, что дерзкие кражи и мошенничества, совершаемые почти одновременно в разных городах страны, дело рук одной шайки... — Ангел показал нам схему, на которой разноцветными условными значками были помечены преступления в Софии, Пловдиве, Русе, Варне, Плевене и многих других городах.

— Вас легко понять, — сказал, разглядывая схему, Кравченко. — Насколько я помню, в республике никогда подобных шаяк не было.

Ангел кивнул, а начальник МУРа заметил завистливо:

— У них оперативная обстановка круглый год как на курорте — благодать!

— Ну вот, эта компания и показала нам «курорт», — повернулся к нему Ангел. — Размах и дерзость преступлений потребовали вмешательства министерства, и только тогда мы обратили внимание на их сходство. Одинаковый «почерк», так сказать...

— А в чем, простите?.. — полюбопытствовал Шарпов.

— В дерзости. В ловкости, — глаза Ангела заблестели. — В методах. Вот смотрите... — Он развернул следующую схему. — В большинстве случаев двери отжимались одним и тем же инструментом. Замки сейфов высверливались электродрелью, а потом шел в ход... —

Ангел задумался, припоминая русское название, сделал выразительный жест рукой: — По-нашему, гыщи крак...

— «Гусиная лапа», — догадался я.

— Вот, вот, — закивал Ангел. — Дальше. Кражи совершались только на первом или втором этаже — чтобы в случае чего можно было выпрыгнуть. И только из помещений с двумя выходами — понятно?.. Интересно, что обычных вещей — даже дорогих — воры не брали. Только деньги, драгоценности — золото, камни и тому подобное. За приверженность к «злату» население очень скоро прозвало их «златарями».

— А «пальцы» где-нибудь остались? — спросил Кравченко.

— Да, в нескольких местах, причем одни и те же... — Ангел поднял над столом дактокарту. — Но что интересно: работала, несомненно, группа, а «следы» оставлял только один. Мы предположили, что остальные судимы, прошли дактилоскопическую регистрацию и, наверное, даже спят в перчатках, не то что воруют. Короче, оставалось немного — установить жуликов и выловить их. Но они скорее всего... имели противоположную точку зрения на этот вопрос.

— Циркулюс вициозус, — улыбнулся Борисов.

— Так точно, порочный круг, другарь генерал, — серьезно подтвердил Ангел. — Пора было этот круг разрывать, а они, как назло, готовились к преступлениям мастерски, всячески перестраховывались, тщательно выясняли все, что можно, личной «разведкой». И на месте были осторожны до того, что мокрой тряпкой затирали свои следы на полу, окурки в карманах уносили!

— Но ведь сбыт похищенного... — подал голос я.

— Правильно! — азартно подхватил Ангел. — Во всех скупках, комиссионных магазинах, на рынках лежали описания или даже рисунки украденных вещей! А они, чтоб их собаки загрызли, поклялись, оказывается, не продавать ни одной вещи! И даже любимым девушкам не дарили!

— А жили на что? — поинтересовался Шарапов.

— Ого! Они только в авиакомпании ТАБСО пять тысяч левов взяли, а у гинеколога Крыстю Ненова, например, семь тысяч. И сколько таких... — Ангел вытащил

из портфеля небольшой плакат и прочитал: — «...опасены брютальни квалифицировани звершени управе смут сред общество то...»

Я взял у Ангела листок — это было обращение МВД к населению, пробежал его глазами и вспомнил Сашку Савельева — «... у них язык точно как у нас, только на старославянский смахивает. У нас — был, а у них — бьяше...». «Граждани бъдете бдителни! — вzywало обращение. — Извършването на кражби е неприсъщо явление в социалистическото общество...» Действительно почти все понятно. А Ангел продолжал:

— Дальше. Кое-где воров видели люди. С их слов художники создали их приблизительные образы — робот-портреты...

— В этих случаях главное, чтобы робот-портрет не превратился в портрет робота, — сказал, скрывая улыбку, Кравченко.

Все засмеялись, а Ангел, пустив по рукам фотокарточки-роботы, заметил:

— Нам повезло: один из свидетелей, профессиональный художник, не только описал воров, но и нарисовал их, как потом выяснилось, очень похоже... Короче говоря, мы стали принимать активные меры: объединили все дела в одно производство — ограбление ТАБСО, нападение на кассира стадиона, кражи в ювелирных магазинах, в квартирах наших крупных ученых, деятелей искусства, просто состоятельных людей...

— По какому принципу объединялись преступления? — спросил Борисов.

— По методу совершения и объектам нападения, — сказал Ангел.

— И ни разу не удалось обнаружить что-либо из похищенного? — удивился Борисов.

— Ни разу... Дальше. Всех арестованных за разные преступления немедленно дактилоскопировали. Тщательно изучали людей, к которым хоть немного подходили робот-портреты. Выявляли ранее судимых. Да. Потом мы построили схему хронодинамики преступлений — их развитие, так сказать, во времени и пространстве. Анализ схемы позволил предположить, что преступники — скорее всего софиянцы, в крайнем случае жители Перника или Кюстендила, городов — спутников Софии.

— Так-так, понятно, — Борисов что-то зачеркнул карандашом в своих записях.

— Да. Значит, круг розыска постепенно сужался. И вдруг две новые дерзкие кражи: из конторки Глория-отеля на Золотых песках ночью похитили целый ящик иностранных паспортов; а на другой день в обед из кладовой стрелкового тира в Стара-Загоре, отжав замки, взяли два пистолета! Задуматься заставляло уже само это сочетание. Ну и... сами понимаете: обстановка накалилась до предела. В этот момент инспектор криминальной милиции Цвятко Янчев выходит на след крайне подозрительной личности. Некто Христо Дудев, бездельник, ведущий самый сомнительный образ жизни, — лицом точь-в-точь робот-портрет. Сделаю маленькое отступление. Я уже говорил, что бытовых вещей преступники не брали. За исключением одного случая: обокрали квартиру в Сливене, и потерпевший заявил, что, кроме часов, колец и пендары — это старинная золотая монета, женщины ее как украшение носят, воры унесли наконечники рулевых тяг от его «вартбурга», лежавшие в кладовой. Наконечники — никчемные железки для всех, кроме владельцев машин этой марки!..

— И у Дудева «вартбург»?! — не выдержал я.

— Голубого цвета и притом не новый. А наконечники у них — слабое место!

— И что рассказал Дудев? — нетерпеливо спросил Кравченко.

— Сначала надо было его взять. А соседи объяснили, что он уехал на море, — отозвался Ангел. — Мы объявили Дудева вместе с его «вартбургом» в розыск, а в это время пришли ваши материалы: справка о Фаусто Кастелли, портсигар композитора Панчо Велкова и фотографии. Портсигар сам по себе был сенсацией, еще бы: первая вещь из украденных «златарями», которая возникла в нашем поле зрения за три года деятельности шайки...

— Что дали направленные вам пальцевые отпечатки Кастелли? — спросил Борисов.

— Вот тут произошло самое интересное. В итальянском посольстве нам сообщили, что Фаусто Кастелли выездную визу у них не получал и не регистрировал. Нас это взволновало: что ни говорите, но через Болгарию проходит крупнейшая международная автомаги-

страль ЕВРОПА — ВОСТОК, и допустить, чтобы по ней беспрепятственно болтался авантюрист такого ранга... Короче, мы обратились в европейское бюро Интерпола, поскольку, если наши подозрения были верны, деятельность Кастелли могла их прямо заинтересовать. Вскоре мы получили ответ: пальцевые отпечатки Кастелли принадлежат Адольфо Марио Беллини, имеющему подлинный паспорт на имя Фаусто Кастелли, уголовному преступнику, осужденному заочно итальянским судом и разыскиваемому Интерполом в течение последних шести лет по обвинению в совершении различных преступлений...

Ангел продолжал рассказывать:

— Оставить такую птицу без внимания мы, конечно, не могли. Пограничные контрольные пункты в Колотине, Враждебно, Драгомане, Кулате были нами ориентированы на въезд Кастелли. После этого мы занялись его фотографиями. Если помните, там, кроме Кастелли, были изображены девушка и пожилой мужчина. Одна из наших версий допускала, что девица — болгарка, ну... из тех немногих, что превращают себя в аттракцион для иностранцев. Не буду обременять вас подробностями, скажу только, что инспектор Филипе Маринов, старый опытный «кримка», быстро разыскал эту девицу. Радка Христова по обыкновению развлекалась в сладкарнице «Бразилия» в обществе себе подобных. На фотографиях Радка без колебания опознала своих «друзей» туристов: итальянца Фаусто Кастелли и американца Алверсена Ги. А затем доброхотно показала нам две собственные фотографии, где, кроме Кастелли и Ги, фигурировал их, по словам Радки, «общий друг и постоянный собутыльник» итальянец Анджело Макети...

Ангел остановился, кашлянул. Кравченко предупредительно пододвинул к нему стакан, налил воды из графина. Ангел сделал несколько глотков...

— ...Проверить их оказалось нетрудно. Алверсен Ги, бывший американский летчик, ветеран корейской войны — деклассированная личность, морфинист, ставший уголовником. Анджело Макети — профессиональный аферист, устроитель липовых «беспроектных лотерей». После не совсем удачной операции с фальшивой лотереей в Италии они были заочно осуждены итальянским судом, а несколько афер в Австрии и ФРГ обеспечили им место в списках, объявленных бюллетенем

Интерпола «Интернэшнл криминал полис-ревью»... Спасла идея перебраться в Болгарию. Используя подложные паспорта с настоящими визами и указав в бумагах, что они — путешествующие коммерсанты на отдыхе, аферисты обосновались в курортной части страны, наводненной огромным и непрерывным потоком интуристов.

После оформления материалов проверки Алверсен Ги и Анджело Макети были арестованы. При обыске у них нашли паспорта, похищенные в Глория-отеле, и ворох приспособлений для их подделки. Через несколько дней на КПП Драгомане был задержан ничего не подозревавший Фаусто Кастелли. Между прочим, перед тем как препроводить его к нам, таможенники вытащили из тайника в его зеленом «шевроле» добрую партию контрабандной галантереи...

Ангел снова отпил от стакана, перелистнул страницу своего досье.

— Розыск Дудева между тем активно продолжался. И вот милиционер Петко Иванов, заглянув в ресторан «Кайлыка», что под Плевеном, обнаруживает человека, очень похожего на изображенного робот-портретом. Иванов под благовидным предлогом приглашает посетителя в комнату милиции и тот предъявляет паспорт на имя... Дудева! Не вступая с ним в долгие разговоры, дежурный сразу же предъявил Дудеву робот-портрет соучастника и спросил: «А где ваш товарищ?» Растерявшись, думая, что милиции уже все известно, Дудев ответил: «Где ж ему быть? Дома». Все сразу стало на место: «златари» попались. Не вникая в подробности, отмечу, что именно этому «товарищу» — его звали Трифон Цолов — принадлежали все найденные нами на местах краж пальцевые отпечатки...

Незаметно подкрались сумерки, в кабинете включили свет, официантка расставила перед нами стаканы с чаем. Ангела слушали внимательно, молча, и лишь изредка бронхиальный кашель старых часов-башни отмеривал очередные полчаса, а я повторял про себя засевшую почему-то в голове фразу из обвинительного заключения, которую прочитал Ангел: «С момента хищения оружия общественная опасность преступников возросла до чрезвычайной степени, так как они были готовы дать

сражение органам власти в случае эвентуального неожиданного обнаружения их...» Да, наверное, так. Ну а Батон? Шарапов говорит, что он теперь готов на все. «Дать сражение органам власти...» Это ведь я «органы власти»? И это мне он готов дать сражение? И теперь уже не в изворотливости, не в хитрости, не в предусмотрительности! Он носит теперь в кармане браунинг, с ним он и сражаться будет. Как смешно звучит, не по-нашему: «в случае эвентуального обнаружения»... Интересно, что шайка возникла не сразу. Сначала объединились Дудев и Цолов — они-то и были исконными «златарями». А «путешествующие коммерсанты на отдыхе», позанимавшись контрабандой, быстро почувствовали себя на мели, в изоляции. Первая же попытка Алверсена Ги сбуть небольшую партию сигарет с опиумом чуть не привела к провалу. Нужны были знакомства, каналы связи с уголовниками. Вскоре такой случай представился: за столиком в «Славянской беседе» подвыпивший Цолов охотно пошел навстречу дружеским ангажементам Фаусто Кастелли. Жулики быстро поняли друг друга, и взаимовыгодный альянс был заключен: аферисты получили искомые знакомства, связи, а «златарии» охотно обменивали с ними «златарскую» добычу на лакомые образчики контрабанды — украшения, часы, транзисторы, которые легко могли сбуть своим многочисленным знакомым. Главным же образом «златарей» интересовало умение аферистов благополучно переправляться через границы: в далекой перспективе маячила надежда — прихватив награбленные ценности и обеспечившись фальшивыми паспортами высшего сорта, осесть где-нибудь в Турции или ФРГ, основав небольшой бизнес — какой, там уж видно будет...

— На этой стадии следствия нам снова пришлось обратиться к досье друга Тихонова... — громко сказал Ангел, и его голос вывел меня из задумчивости — Ангел перешел к изложению эпизода с Сытниковым.

— Сначала Кастелли не хотел говорить о цели своего визита в Москву, — докладывал Ангел. — Туризм, и все. Мы прочитали ему показания горничной из «Украины», напомнили о поездке в Зареченск к Сытникову. Убедившись, что нам многое известно, он рассказал забавную историю. Оказывается, Алверсен Ги был племянником баронессы фон Дитц, урожденной графини

Шмальбах. Когда баронесса сочла нужным огласить свое завещание, Алверсен с удивлением обнаружил в числе сонаследников Аристарха Сытникова. Баронесса объяснила, что Сытников был преданным другом ее покойного супруга, он разделил с ним горечь военного поражения 1945 года и смертную тоску судебного процесса 1946-го. Но перед тем, в Харбине, военная судьба ненадолго развела друзей: Сытников с несколькими белогвардейцами направлялся в глубь Маньчжурии, а фон Дитц, больной воспалением легких, вынужден был остаться. В критический момент, опасаясь ареста, фон Дитц передал Сытникову на сохранение шкатулку со своими ценными бумагами — акциями нескольких европейских коммерческих предприятий и грамотами на родовые поместья в Тульской и Смоленской губерниях. В той же шкатулке была и звезда от ордена Александра Невского. Крест — вторая часть ордена — по прихоти случая остался у баронессы, в Америке... Дальнейшее известно: Сытников был арестован и предан суду вместе с фон Дитцем.

Узнав все это, Алверсен Ги выпросил у тетушки крест покойного генерала — так, на всякий случай. Позже, находясь в Болгарии и испытывая постоянные финансовые затруднения, Алверсен решил поискать свое счастье в шкатулке фон Дитца. А вдруг сохранились акции каких-то действующих предприятий, чем черт не шутит?! Алверсен знал адрес Сытникова, который к тому времени принял наследство баронессы, и надумал в разговоре с ним использовать крест как своеобразный пароль. Заодно имело смысл выяснить: нельзя ли завязать с Сытниковым какую-либо взаимовыгодную комбинацию — например, обмен «златарского товара» на меха или что-нибудь в этом роде. Поездку поручили Каstellли: у него были наиболее надежные документы, а, кроме того, один из всей компании он мог связать хотя бы несколько слов по-русски... Ну чем кончилось все предприятие, вы, друзья, не без вмешательства Батона узнали еще раньше, чем мы...

Ангел остановился в гостинице «Ленинградская». За день мы здорово оба умаялись и решили здесь же в ресторане поужинать. Вошли в зал, и я невольно посмотрел в угол, туда, где стоял под огромной вазой сто-

лик, за которым незапамятно давно, почти месяц назад, я ел свой ночной борщ и разговаривал с Леной. Стол и сейчас был свободен.

— Идем, вон там сядем, — позвал я Ангела.

Он засмеялся:

— Не бойшьяся, что ваза может на нас упасть?

— Проверено, — буркнул я. — Мне тут сидеть уж доводилось...

Да, доводилось, и хоть тогда я сидел здесь не со старым «кримкой» Ангелом, с которым, помимо всего, мы еще соединены одним делом, а был я здесь с женщиной, самой желанной и самой недоступной мне на этом свете, мы и тогда говорили — долго, изнурительно много — о работе. И весь вечер не понять мне — благословение это или наваждение, но ведь было же о чем нам вспомнить с Ангелом за те девять лет, что мы не виделись, а все равно разговор, будто насаженный на ось, делал небольшой круг и возвращался к «златарям», к Батону, итальянцу, и ничего, наверное, с этим нельзя было поделаться, потому что бытие наше невольно стало частью или формой нашей работы и мы не можем приказать себе не думать о Кастелли или о Батоне, так как дела наши с ними — это не пулька в преферанс, где проиграл, или выиграл, или при своих остался — не суть важно, лишь бы время с приятными людьми провести; от того, как проходят, чем заканчиваются наши партии, зависит порой вся жизнь, и не только твоего партнера, но и многих связанных с ним людей, и зачастую твоя жизнь тоже. Вот и думаем мы, и разговариваем о поступках людей, о которых и говорить-то нам вроде нечего, а все их поступки спокойно надо уложить в рамки разных кодексов — уголовного, гражданского или брачно-семейного, есть и такой... Но только отпустишь руки от этих рамок — и люди сразу начинают гнуть их, ломать, вылезают они из рамок, не хотят они в них находиться, вырываются на волю, имя которой — жизнь, и сразу становятся другими, плохими ли, хорошими, но всегда неожиданными, и думаешь о них, споришь с ними, ненавидишь их или жалеешь, к себе примериваешь, забывая, что их дела, мысли, поступки, они сами — это работа, а рабочий день давно уже окончился. И длится это довольно долго, пока не привыкаешь к чувству, что твой рабочий день — это 25 лет службы — от дня первого до вылета на пенсию...

На столе лежали объедки, пустые бутылки. Что-то липкое разлилось по клеенке. Унитаз весь заблеван. Угарный смрад старых окурков и невыветрившегося табачного дыма.

Стоят часы. Нет времени. Небо как саван. Прохожих мало, наверное, сейчас утро. Здесь тяжело дышать, все замкнуто, закрыто, тесно, как в гробу. Надо на улицу идти, на волю. Скоро день настанет, скоро откроются магазины, кафе, можно будет опохмелиться, мандраж мой уймется маленько, успокоюсь. Деньги надо взять с собой, неизвестно, попаду ли я сюда опять, отсюда меня Зосина мамуська как раз в уголкову сдаст с рук на руки. Пистолет — вот моя надежда последняя.

Вышел на улицу, и сразу заморосил мелкий поганый дождик. Недалеко от метро увидел на столбе часы — пятнадцать минут шестого. Скоро трамваи пойдут. Поеду-ка я в центр. А что там делать? И вообще, почему я из дома ушел? Я что-то хотел сказать, а сейчас уже не помню...

На трамвайной остановке ждали несколько человек. Я попросил у какого-то работяги закурить. Он достал из кармана пачку «Памира»:

— Угощайся, заграничная марка — «Горный воздух».

— Спасибо...

Горячий горький дым потек в легкие, слюна накипела во рту, стало дышать чуть полегче. Работяга посмотрел на меня сочувственно:

— Да-а, парень, видать, ты вчера тяжелый был...

Мне было рот открыть больно, ничего я не ответил, отошел в сторону. На стене висело какое-то большое заметное объявление. Ноги как свинцовые волочились, пока я шел к нему... В половину газетного листа объявление с фотоснимком. Красные буквы.

Господи, проснуться бы скорее — это же ведь все продолжается ужасный сон о неродившемся сыне, который был я — умерший. Это же мое лицо на снимке, только я здесь помоложе и слегка улыбаюсь. Проснуться бы! Сил нет!

ОБЕЗВРЕДИТЬ ПРЕСТУПНИКА!

Красные крупные буквы вопили со стены, они бесновались, прыгали, орали, голосили истошно, они собирали весь народ на улице, тыкали в меня своими закорючками и хвостиками — вот он!

ОБЕЗВРЕДИТЬ ПРЕСТУПНИКА!

И серая фотография сбоку — я, в белом костюме и красивом галстуке, улыбаюсь — это я в Сочи снимался.

Черные буквы, поменьше красных, острые, ядовитые, деловые, как приговор, впивались в меня, они притягивали меня к стене с объявлением, они звали людей с трамвайной остановки — читайте, вот же он, чего вы стоите, хватайте его!

Товарищи!

Я оглянулся на людей, они стояли спокойные, курили, ждали трамвая, они не знали, не слышали еще, что плакат вопит, просит их схватить меня.

Товарищи!

За совершение краж разыскивается неоднократно судимый вор-рецидивист Алексей Семенович Дедушкин.

Приметы Дедушкина: среднего роста, плотный, коренастый, волосы темные с сильной проседью. Глаза большие, темно-карие. Имеет татуировки: на кисти левой руки «ЛЕША», на правой руке изображение змеи вокруг ножа и двух голубей на веточке, на левом плече изображение женщины в кругу, на груди изображение церкви и двух ангелов.

Если вам известно местонахождение преступника, просим сообщить об этом милиции. Преступник вооружен, и от своевременности его задержания зависит безопасность честных граждан.

Уголовный розыск

Подошел трамвай. Люди уселись в него, и вагон со звоном и грохотом укатил.

Нет, не сон. Это Тихонов мне доказывает, что воровать нельзя. Будь ты проклят, несчастный джинн из бутылки!

Он рассматривает меня под лупой своей дурацкой нищенской честности, проклятой честности нищих, обворованных мною дураков. Но, когда он поймает все лучи в фокус, он сожжет меня. Хорошо бы его убить.

Убить. Расколоть вдребезги бутылку, из которой я его выпустил. Мне же старая лешачиха сказала, что у человека семь отверстий в голове — надо сделать ему еще одно.

Теперь мне конец. Не сегодня-завтра меня опознают и возьмут. Со всех стен будут орать эти плакаты — вот он —

ВОР, ВОР, ВОР

возьмите его! И все они — товарищи потерпевшие — о радостью постараются навести на меня уголовку.

Что делать? Куда я сейчас?

А может быть, пойти на Петровку и сдатьсь?

Ну нет, Тихонов так легко меня не одолеет. Я за себя поборюсь. У меня ведь пока еще «пушка» есть, в кармане греется.

Надо попробовать прорваться через аэропорт. Надо лететь в Тбилиси, чемоданы туда уже пришли, через Зурика Манагадзе распахать вещички. У меня еще почти все деньги из сберкасы. Не могут же висеть эти плакаты вечно — если пересидеть где-то в глуши, новые повесят, а эти снимут, может быть, как-то забудется...

И бился судорожно мой истерзанный запуганный мозг, что-то еще пытался сообразить, что-то ловкое смикитить, ведь всегда он меня выручал, лазейку незаметную находил, а сейчас в сердце уже не было надежды, и я знал — всей этой мерзкой истории приходит конец...

ГЛАВА 37 СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА

— Возьми оружие, — сказал Шарапов. — На всякий случай.

— Хорошо. А кобуру я у тебя оставлю, пусть пистолет в кармане лежит — надежней...

Он кивнул. Я встал, расстегнул брючный ремень и стал стягивать кобуру. Ремень застрял в петле кобуры, и она не пролезала, я дергал сильнее, и от этого дви-

жения были неловкие, суетливые, будто меня обезоруживали. Наконец кобура слезла, я расстегнул ее и достал пистолет, тяжелый, теплый, тускло мерцающий «ПМ». Передернул затвор, достал обойму, заглянул в ствол, потом положил в карман. Протянул Шарапову кобуру и вспомнил, как много лет назад здесь же он, вручая мне оружие, сказал: «Чтобы добыть этот «ПМ», бандиты убили милиционера Мохова. Но, вот видишь, мы его назад вернули. Носи его теперь ты и знай, что у тебя в кармане лежит жизнь и смерть человеческая. И сколько носить будешь, помни: без дела не обнажать, без славы не применять...

Шарапов отворил дверцу сейфа, отпер нижнее отделение и, положив кобуру, повернулся ко мне:

— Тут она и полежит до твоего возвращения.

Я шел по бесконечному коридору, серому, с размазанными желтыми пятнами электрических ламп, мимо нескончаемой шеренги совершенно одинаковых дверей с разными номерами, слабо скрипел под ногами пахнущий свежей мастикой паркет, и меня почему-то не покидало ощущение, что со всем этим я расстаюсь надолго.

Подходя к дому матери, я с удовольствием подумал, что сегодня у нее свободный день и я наверняка не встречу никого из ее приятельниц или учениц. Нажал кнопку звонка и услышал в глубине квартиры голос матери: «Костя, открой!» Затопали грузные шаги, и дверь отворил ее муж — Хрулев, высокий, лысый, краснолицый. В отличие от матери он человек очень собранный, аккуратный и бережливый, поэтому он до сих пор донашивает дома военную форму. Обычный его комнатный наряд — шлепанцы, галифе и пижамная куртка, и, когда я вспоминаю о нем, он всегда предстает в моей памяти именно в этом костюме — по мере износа меняются галифе, пижамы и шлепанцы, но в целом ансамбль остается неизменным. Я помню, что первое время мать очень шокировал подобный туалет, особенно в присутствии ее подруг, но, уж не знаю почему, Хрулеву был так приятен и дорог его домашний костюм, что это единственная вещь, в которой он проявил твердость перед требованиями и претензиями матери, и ей пришлось примириться с этим не очень обычным

нарядом своего супруга. Во всех остальных вопросах он слепо и беспрекословно выполнял все ее желания, поручения и указания.

Так же готовно он собрался любить меня, потому что знал — матери это будет приятно. Но в это время я ушел от них, и он позабыл обо мне, потому что все его ресурсы времени забирала мать. Когда она говорила ему что-то, я видел, как от удовольствия и внимания у него медленно розовеет затылок. И стоило мне появиться в его поле зрения, как он преисполнился ко мне самыми искренними добрыми чувствами — ведь я все-таки, как ни говори, часть матери, а этого было вполне достаточно. Когда-то давно, вскоре после того как они поженились, я случайно услышал из соседней комнаты их разговор. Хрулев просительно сказал матери, что хорошо бы было, если бы Стасик называл его отцом — я же ведь ее сын. Представляю, как посмотрела на него мать, потому что я услышал короткое и сухое: «Константин, ты совсем сошел с ума!» А товарищеских отношений у нас не сложилось, потому что он никак не мог преодолеть в себе внутреннего тайного убеждения, что лейтенант — это человек по крайней мере на пять рангов поменьше, чем полковник. Во всем остальном он был мужик очень хороший, и жили они с матерью прекрасно...

Хрулев радостно хлопнул себя по пижамно-полосатому животу и закричал:

— Масенька, иди взгляни, какой гость у нас дорогой!

С кухни прибежала мать — в фартуке, повязанная косынкой, скрывающей папилютки, и в косынке этой она выглядела совсем, ну просто совсем-совсем еще молодой. Радостно полыхали ее глаза, она по обыкновению своему беззвучно смеялась, обнажая два ряда ослепительных зубов, таких ровных, что не верилось, будто это настоящие, и все-таки — я это точно знаю — самых настоящих красивых зубов, и я смотрел на нее с удовольствием, потому что видел, какая она еще молодая, и понял, почему ее так остро и нежно любит Хрулев — он ведь был уже совсем немолодой, ну конечно, не то чтобы старый, но совсем немолодой, и в его чувстве было что-то отцовское, и в этой возрастной аберрации ее недостатки представлялись ему дорогими и милыми детскими причудами...

Мать сказала:

— Я тебя сейчас изумительно накормлю. Константин принес сегодня из суперсама индейку, прекрасную и белую, как Джейн Мэнсфилд.

Мать регулярно посещала все премьеры в Доме кино и постоянно оперировала именами каких-то неведомых мне актеров и актрис. Я обнял мать и сказал:

— К сожалению, мне не попробовать индейки, прекрасной, как эта самая Джейн. Я забежал, чтобы попрощаться и попросить у тебя чемодан.

— Ты куда-нибудь едешь? — глаза у матери загорелись еще сильнее. Она жуть как любила всякие поездки и путешествия.

— В Грузию, — сказал я таким тоном, будто собирался в гости к Савельеву.

— В Грузию? — восхитилась мать. — В Цхалтубо? По путевке?

— Нет, в Тбилиси. Меня посылают в командировку.

Мать почему-то пришла в неописуемый восторг:

— Константин, ты слышишь, Стаса посылают в Грузию в командировку? — Она транслировала ему мое сообщение, будто он не присутствовал здесь же при разговоре. Видимо, ее глубоко поразило, что в Грузию можно ездить работать, а не отдыхать.

Хрулев невозмутимо пожал плечами:

— А что? Я всегда говорил, что Стасик способный парень. И добросовестный. Подожди еще немного, будешь иметь сына-полковника.

Мать забегала по квартире в поисках чемодана, запонок, платков для верхнего карманчика пиджака, туалетного несессера. Я понял, что ей и в голову не приходит спросить, зачем я еду в Тбилиси.

Хрулев рассказывал мне что-то про Кутаиси, где он лежал в госпитале во время войны, а я сидел в кресле и рассматривал бюст Бетховена, кашалотовые зубы, свечи в современных канделябрах, маленькую картину Рериха, стилизованные гравюры, ноты, разбросанные по темной блестящей спине рояля, дымящиеся в пепельнице сигареты, которые поминутно закуривала и забывала мать, телефонный аппарат под роялем, старую мебель, ставшую теперь неожиданно вновь самой модной, и думал о том, как бы выглядел наш дом, если был бы жив отец.

Мать сказала Хрулеву:

— Костя, иди подверни огонь в духовке, птица сгорит. Сколько времени сейчас, Стас?

Предотъездная суматоха уже полностью поглотила ее. Я отвернул рукав пиджака и увидел, что часов нет. Забыл. Днем еще на Петровке снял, положил в ящик стола и забыл. Черт, досадно. Не возвращаться же за ними. Я отпустил рукав и сказал:

— Не знаю. Часов нет.

Мать это почему-то очень удивило.

— Как нет часов? — спросила она. — Ты же не маленький. Как ты без часов обходишься?

— Часы у меня вообще-то есть. Я их просто забыл на работе.

— Как же ты будешь без часов? — сильно заволновалась она. — Как же ты время определишь? У тебя же тогда вообще режима не будет? Ведь нельзя же не знать, сколько времени!

— Мама, я буду знать, сколько времени, — сказал я, сдерживая раздражение. — Я ведь не в пустыне, и часы не проблема.

— А как же ты все-таки будешь определять время? — настойчиво допрашивала мать. Я уже пожалел, что сказал про часы.

— Не знаю, мама, не знаю я сейчас, как буду определять время, — сказал я сердито. — Днем я буду спрашивать у прохожих, а ночью определять по звездам.

— Ох, до чего же ты у меня нескладный, — с искренней горечью сказала мать.

Мать вышла из комнаты, а я посчитал дымящиеся в пепельнице сигареты, ни много ни мало — пять. Я встал и аккуратно загасил их. Пора идти. Мать что-то искала в спальне, Хрулев возился на кухне, напевая приятным баском: «Тбилисо, Тбилисо, под солнцем Грузии моей...» Мать вышла из спальни, и я увидел, что она плачет.

— Вот возьми, — и она протянула мне часы.

Старые, с облезшей никелировкой, потемневшим циферблатом, еле различимой надписью на нем «ЗИФ», продолговатые узкие часики, такие старые, что сейчас ни у кого и не найдешь таких. Я взял их в руки, рассмотрел, и вдруг меня обожгло воспоминание, сдавило горло, закружилась голова — я вспомнил, я вспомнил! Даже черный растрескавшийся, совсем истлевший ремешок был тот же! Этот «зифик» был на руке человека,

который таскал меня на себе, распевая «испугался мальчик Стас», я вспомнил, как он подносил часы к моему уху, чтобы я послушал «тик-так», и сейчас я поднес часы к уху, и от того, что они молчали, в памяти произошел скачок — фотография человека с сердитыми глазами на пожелтевшей архивной фотографии ожила, он засмеялся и сказал: «Стаська, тик-так, тик-так!» Он ожил, и теперь навсегда у меня будет его живое лицо, голос, руки, он будет со мной, потому что стоящие часы соединили нас снова — спираль времени сделала полный виток, и отец пришел ко мне через тридцать лет в шестнадцать минут третьего, когда окончился завод и часы остановились, чтобы дать нам точку встречи...

Не знаю, поняла ли мать, о чем я думал, но она наверняка что-то почувствовала, потому что сказала:

— Я их так ни разу не заводила, все дожидалась, что он придет и заведет их сам... Больше у меня ничего не осталось...

Большие, совсем прозрачные капли слез текли по ее щекам, и в этот момент я любил ее нежно и немного жалостливо. Я обнял ее и сказал:

— Спасибо тебе, мамочка. Это самые точные часы в мире.

Она не поняла и торопливо объяснила:

— В них хоть старый механизм, но они действительно ходили очень точно. Заведи, посмотри...

Я покачал головой:

— Не надо. Они наверняка и сейчас точно ходят...

Мать оглянулась на дверь, откуда доносился полнокровный голос Хрулева, негромко сказала:

— Не говори ему, пожалуйста, ничего. Это же ведь наше с тобой дело... И, если можешь, не суди меня строго, я плохая мать...

Вошел Хрулев, мать замолчала, потом сказала:

— Может быть, я тебе с собой на дорогу кусок индейки заверну?

— Действительно, — оживился Хрулев. — Одну булочку и кусочек грудки?

— Не надо, самолет летит до Тбилиси два часа, — сказал я. Взял легкий, почти пустой чемодан с туалетным несессером, запасными запонками, платочками для верхнего карманчика. А в другой руке у меня были зажаты старенькие часы «ЗИФ» на потертom растрескав-

шемся ремешке, и никто не знал, что я держу в ладони машину времени. И сказал:

— Ну что? До встречи?..

Дома я быстро собрал чемоданчик: мне ведь и брать-то с собой особенно нечего было. Разделся и улегся на диван, а стоящие часы «ЗИФ» положил на тумбочку рядом с неистовствовавшим в сиюминутном усердии будильником. Часы молчали, а будильник стучал. В слабом свете уличного фонаря мягко светили на стене Ленины подсолнухи-пальмы, и на душе у меня было тихо, было такое ощущение, будто я со всеми надолго распрощался. Стучат колеса под вагоном, в котором дремлет едущая в Ленинград Люда-Людочка-Мила. Носится со своими неотложными визитами по городу Ангел Веселинов. Лежит без сна, прислушиваясь к неровному бою сердца, Шарапов. Куда-нибудь на Тридцать пятую Парковую провожает очередную любимую девушку Сашка Савельев. Затаился где-то озлобившийся, готовый на все Батон. В обширной камере Пазарджикской тюрьмы скучает по любимому «Чинзано» Фаусто Кастелли. Оглушительно грохочет у себя на свадьбе Куреев с «башенным» черепом. Мать играет негромко «Пассакалию» разомлевшему после прекрасной белой индейки Хрулеву. С ненавистной женой молча едет из театра в такси профессор Обнорский. Последний раз перед уходом с работы перечитывает сводку начальник МУРа. Лена сейчас... А что делает сейчас Лена? Что ты делаешь сейчас?

Часы молчали, будильник стучал, стучал. Четверть первого показывали его стрелки. Пройдет еще два часа, и время будильника сомкнется с временем на часах «ЗИФа», молчащих часах, машине времени, которая может оживлять вчера и позволяет заглянуть в завтра. Когда будильник простучит два часа шестнадцать минут, я открою глаза, и в ночном сумраке моей запущенной комнаты, где в свете голубой электрической луны мягко дымятся подсолнухи-пальмы, придет и сядет рядом со мной Лена, как будто ничего не было тогда, восемь лет назад, и все по-прежнему радостно и прекрасно...

...Я должен был уезжать на другой день в Ленинград и совершенно случайно встретил на Пушкинской

площади Марата Львова. Я знал его по университету — он в одно время со мной окончил факультет журналистики. Сейчас он только что возвратился из Лондона, где провел от агентства печати «Новости» год на стажировке. Мы поболтали, и я решил его взять в гости к Лене. Она понравилась Марату сразу, и мне это было очень приятно. Мы весело провели вечер — Марат был великолепен. Он несколько часов подряд рассказывал про Лондон, про Шотландию, бесконечно мелькали, причудливо переплетаясь, в его рассказе «мартини», «форд-зефиры», Вестминстер, угольные печурки, счетчики-автоматы за огопление, Ковент-гарден, дерби, скоростные магистрали — «чуть нажал, а на спидометре — 160», инфракрасные шашлычницы под названием «гриль», джин-фис и индийская хинная вода «тоник», прогорающий газетный магнат лорд Бивербрук и прием у английской королевы...

Потом Марат предложил Лене проводить меня на вокзал, и она охотно согласилась, и я махал им рукой из окна уходящего поезда, и, когда уже нельзя было разглядеть их лиц, а только две фигуры рядом были видны издали на пустеющем перроне, в сердце ударило нехорошее предчувствие. Из Ленинграда мне пришлось вылететь в Тбилиси, а потом в Таллин, и сразу же оттуда — в Ригу. Отовсюду я посылал Лене по два письма в день и везде получал ответы, и письма ее были хорошие — веселые, с шутками и обычными ее смешными придумками. Но из Риги я поехал во Львов, и туда уже письма ее не приходили. Я никак не мог оторваться ни на один день, а только посылал ей телеграммы и звонил по телефону. Но ее телефон не отвечал — ни утром, ни днем, ни ночью. Я прилетел в Москву и прямо с аэродрома помчался к ней домой. Долго звонил в дверь, но никто не отворил мне. Что-то лежало в почтовом ящике, я открыл его перочинным ножом и увидел целую пачку уведомлений с почты: «Просим явиться за телеграммой из Львова»...

Я поехал не к себе домой, а к матери. Помню, было еще совсем рано, и она открыла мне дверь в халате, заspanная, в папильотках. И потому, что она воскликнула: «Ах, Стас, родной мой! Сколько зим, сколько лет!» — я понял, что случилось несчастье, и только выдохнул:

— Что? Что с ней?

— Ничего, Стасик, не волнуйся, ничего не произо-

шло, — жалко забормотала мать, и я понял, что, наоборот, все произошло.

— Мама, что с ней случилось? — спросил я, и мне показалось, что я говорю спокойно.

— Не скажу, ни за что не скажу! — воскликнула мать. — Подумай хотя бы обо мне!

Сзади маячила румяная лысина Хрулева, он был уже в пижаме, галифе и шлепанцах. Хрулев жалобно сказал:

— Да, да, Стас, подумай о маме. И вообще, значит, она не стоит тебя...

И только тогда я наконец понял, понял, что с НЕЙ ничего не случилось, понял и даже боли не чувствовал, а испытал какое-то огромное, как блеклое осеннее небо, унижение. Унижение, стыд за себя, за Лену, за них, за все их недостойное представление. Я сказал устало:

— Прекратите, пожалуйста, это безобразие. Я хочу поговорить с ней...

Хрулев обрадовался:

— Видишь же, Масенька, я говорил тебе, что он настоящий мужчина. Он просто хочет расставить все точки над «и».

Я побежал вниз по лестнице. Было все еще утро, часов семь, не больше, и таксист, словно чувствуя мое напряжение, гнал из всех сил к Соколу, будто я опаздывал на тот самолет в Шереметьево, что час назад привез меня сюда.

Я вбежал в подъезд, нажал несколько раз кнопку лифта, в зарешеченном колодце неспешно поплыл вверх противовес. Я понял, что кабину ждать долго, и побежал по лестнице вверх, и, пока я бежал, все еще не пришел вопрос — куда, зачем я бегу? Ведь лучше всего, если бы эта лестница шла до самого неба. Но на восьмом этаже была дверь, на ней черная зеркальная табличка «36» и медная дощечка «В. М. Львов». Почему «В. М.»? Его же зовут Марат? Потом сообразил, что он, как все молодые, только начинающие становиться благополучными людьми, живет еще с родителями.

«...Познакомься, папа, это моя жена — ее зовут Лена».

«...Здравствуйте, а меня зовут «В. М.» Что ж, поздравляю вас, желаю счастья...»

«...Спасибо, мы обязательно будем счастливы».

«...Марик так хорошо говорил про вас...»

«...Да, папа, Лена необыкновенная девушка, мы от-

правимся с ней в Лондон и будем ездить в Ковент-гарден на «форд-зефире», нажмешь слегка акселератор — и сразу — 160, а там мы будем пить martini и джин-фис с тоником, а после дерби я напишу грандиозный отчет, от которого окочурится лорд Бивербрук и английская королева скажет на приеме: «Какая прелестная жена у этого советского журналиста...»

«...Ну что ж, будьте счастливы, дети. А как вы познакомились?..»

«...Это, папа, ужасно смешная история. У Лены был друг, к которому однажды прилетела солнечная птица счастья и принесла седьмой некупленный билет — он встретил Лену. Но он не был готов к встрече со счастьем и все время мотается по командировкам и ловит каких-то дурацких жуликов. И последний раз, собираясь в командировку, он встретил меня и познакомил с Леной. Она мне сразу понравилась, и ты представляешь себе, ему это было приятно...»

Я стал непрерывно звонить в дверь и колотить в нее кулаками. Там спросил кто-то испуганно:

— Кто?!

— Я! Это я пришел! Откройте двери! Да, да, да! Откройте!

Щелкнул замок, и дверь, притянутая цепочкой, приоткрылась — передо мной стоял Марат.

— В чем дело? — спросил Марат.

— В чем дело? — спросил я, и спазм сдавил горло, я сглотнул и сипло сказал: — Ты меня спрашиваешь, в чем дело? Ты же вор. Вор! Ты понимаешь, что ты сделал?

— Прекрати кричать на лестнице и устраивать сцены! Иначе я захлопну дверь...

— Захлопнешь дверь? — удивился я. И вдруг понял, какое внутреннее спокойствие, несмотря на страх, он испытывает. Ведь я же не имею права рваться в его квартиру, он не преступник какой-нибудь, закон на его стороне.

Сиплым, сдавленным голосом я сказал:

— Мразь ты несчастная, я в двери входил, когда из-за них в меня стреляли, а ты пугаешь тем, что захлопнешь ее. Ну-ка ты, слизняк, открой двери! Открой, я тебе сказал! Или я сейчас ее вышибу!

Неожиданно высоким, пронзительным голосом, будто переходящим в ультразвук, он закричал:

— Прекрати безобразничать, черт тебя возьми! И уходи, уходи по-хорошему!..

Я ухватился обеими руками за дверь и рванул ее на себя — скрежетнула цепочка, что-то глухо деревянно затрещало.

— Не смей! — кричал он пронзительно и бил меня изнутри кулаками по пальцам, но я не чувствовал боли, а с нарастающим остервенением продолжал рвать дверь к себе.

И вдруг я услышал Ленин голос, низкий, мягкий, спокойный:

— Отойди Марат...

Я выпустил на мгновение дверь из рук, и передо мной появилось ее лицо:

— Стас, не надо. А Стас? Я сейчас открою.

Она захлопнула дверь, чтобы снять цепочку, и я слышал, как он торопливо говорит:

— Не открывай, Леночка, я тебе говорю, не открывай. Он с ума сошел!..

Я сел на ступеньку лестницы, и меня охватило какое-то отупение, пустота, безразличие. Я вспомнил, как семь недель назад Лена целовала меня своими мягкими добрыми губами на перроне, а теперь она живет за дверью с табличкой «В. М.». Я не разобрал, что Лена ответила ему, но замок щелкнул вновь, и она вышла, захлопнув за собой дверь, и я вспомнил, как совсем недавно, ну почти вчера, я дожидался ее на подоконнике в подъезде, пропахшем пылью и олифой... За что же такое? И я горько, бессильно заплакал...

Я сидел на ступеньках, а Лена стояла рядом и гладила меня по голове, выглядывали из дверей любопытствующие соседи, прошел почтальон, маленький мальчишка, тренькая звонком, прокатил мимо нас велосипед, и шины глухо ударялись по ступеням, гудел вверх и вниз в своем решетчатом колодце лифт, и все это меня не касалось, потому что я знал — жизнь моя сломалась окончательно и бесповоротно.

Лена сказала:

— За предательство нет прощения. Ты и не прощай меня никогда, Стас... — Лицо у нее было странное, какое-то неживое.

Я встал и пошел по лестнице вниз, и дорога была такой долгой, будто эта лестница действительно была с неба...

Я поднялся с дивана, походил по комнате, взял с тумбочки часы — молчащий «ЗИФ». Два часа шестнадцать минут, на будильнике — половина третьего. Лена уже, наверное, спит.

После того утра мы увиделись в следующий раз через пять лет. С Маратом она тогда еще рассталась, и замуж она не вышла, а я не женился. Так и живем...

Завтра я улечу в Тбилиси, будет обычная следственная круговерть, и мне вдруг остро захотелось поскорее вернуться в Москву, поймать Батона и на этом поставить точку — закончить со всем, что так властно притягивало меня к прошлому. Но сначала надо было поймать Батона, ибо спор с этим человеком вырастал из прошлого, и сама нерешенность его не давала мне уверенности в правильности прожитых лет, не позволяла решиться на что-либо в настоящем и рождала сомнения в будущем. Смешно, конечно, но мне и для своей личной жизни очень важно было доказать Батону, что воровать НЕЛЬЗЯ.

С рассвета шел мелкий холодный дождь. Стеклянные стены аэропорта густо запотели изнутри — уже сотни людей ждали вылета. А вылетов не давали.

— Сколько это может продолжаться? — спросил я у дежурного. — Может быть, есть смысл вернуться в Москву, а потом снова приехать в аэропорт?

— Не советую. Дело ведь не в нас — это Крым и Кавказ не принимают самолеты. А там горы — в любой момент туман может рассеяться, и сразу дадим вылет. Вы уж лучше подождите...

Текли часы бессмысленного тягучего ожидания. Я сидел в кресле, читал журналы, потом пошел перекусить в буфет, потом разглядывал пассажиров. Трескуче орал над головой динамик, гомонили люди, с надсадным грохотом прогревали моторы самолетов.

В середине дня я позвонил из автомата Шарпову.

— Сидишь все? — сочувственно-весело спросил он.

— Сижу, — уныло ответил я.

— А вот Савельев тут развернулся во всю мощь.

— А что такое?
— Он тут логово Батона разыскал.
— Каким образом? — удивился я.
— Пришел ответ на ваш запрос из колонии. Сообщили координаты дамы, с которой он был в переписке. Ну Савельев туда и помчался сразу...

— И что?

— Ничего. Нет его там пока, хотя дама показала, что он все эти дни у нее жил. Засаду оставили...

— Может, мне стоит вернуться?

— А какой в этом смысл? Ты лучше разберись как следует с этим Манагадзе и вещи привези. А коли Батон появится, то мы с ним тут управимся и без тебя.

И снова текли минуты, часы, часы. Стемнело. Потом по радио объявили: «Посадка на рейс 505 Москва — Тбилиси начнется через сорок минут...»

Я решил снова сходить в буфет.

ГЛАВА 38 ВАРИАНТЫ ВОРА ЛЕХИ ДЕДУШКИНА

День без конца. В магазине я купил уродскую серую кепку и ходил, низко надвинув ее на глаза, подняв воротник, и все равно казалось, что все смотрят на меня, пытаюсь разглядеть в небритой опухшей грязной орясине белокостюмного пижона с веселой нахальной улыбкой.

Я уговаривал все время себя, что это чушь, никто на меня не смотрит, никому нет до меня дела и вообще на меня могут обратить внимание только случайно, но гнилое сосущее болото под сердцем уже затянуло меня по самое горлышко.

Толкучка в аэровокзале. Очередь за билетами. Паспорт Репнина в трясущейся грязной руке. Каменная тяжесть пистолета в кармане.

На такси ехал в Домодедово. Почему-то запомнился по дороге рвущийся на ветру красно-голубой газовый факел над трубой какого-то завода.

Тогда еще подумал, что у меня есть: совсем немного



денег, пистолет... и больше ничего. Мне, оказывается, нечего терять. Может быть, угнать самолет? Там ведь до границы доплунуть можно. Пистолет сунул в зубы — держи курс на юг. Или застрелить одного из пилотов для остроты? Сразу же шмальнуть одного — другой будет веселее пошевеливаться? От Тбилиси до границы — по воздуху-то — километров двести, триста.

Так что — попробовать? Мне терять совсем нечего...

И когда таксист затормозил около аэропорта, я все еще не знал — что же делать?

Народу было полным-полно. Вылетов не давали. Надо пойти в нижний буфет, там в уголочке притыриться потихоньку. Подсел к двум каким-то крашеным девушкам. Пергидрольные дворняжки. Мы их называли «перекисы». С ними сидеть лучше, одинокий больше привлекает внимание.

— Ну, девулюшки, коньячка хорошего попьем? Лететь не скоро...

— Ой, какой вы интересный...

Чего-то они там бормотали без умолку, хихикали, дуриши, и мы незаметно выпили две бутылки коньяку, и совсем хмель меня не брал, а затопляла всего сухая палящая злоба на весь этот проклятуший мир, на этих крашенных сук, на эти толпы дурачья с мешками и чемоданами, на Тихонова. Хорошо было бы бросить на них на всех атомную бомбу — испепелить всех, всех к едрене фене!

И я вдруг почувствовал, что в сердце пришла спокойная и твердая готовность — от всей моей замечательной жизни, от плаката на стене, от выпитого коньяка и щебечущих дешевок — войти в кабину самолета, выстрелить в спину летчику, а второму дать рукояткой по рылу и велеть поворачивать на юг.

Что-то неразборчиво проорали по радио, я поднял голову.

И увидел Тихонова.

И еще не понял, мысль опоздала — сердце само мне крикнуло, что проклятый легавый щенок снова встал на моей дороге, загородил спину летчика в кабине самолета.

Я прихлебывал невкусный кофе и медленно, без аппетита жевал бутерброд, раздумывая не спеша о том, как сильно похож на Батона мужик, сидящий в углу буфета с двумя крашеными девицами, и продолжалось это довольно долго, пока я не понял, что он не похож на Батона, а это и есть Батон. И случилось это в тот миг, когда он поднял голову и встретился со мной глазами. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом Батон встал, похлопал себя по карману, обвел взглядом сидевших вокруг людей и криво, волчьим оскалом усмехнулся.

Я понял, что нахожусь в безвыходном положении: если попытаюсь его задержать, он откроет стрельбу. В помещении, переполненном ничего не подозревающими людьми, Батон пошел к выходу. Я встал и, срезая угол между столиками, двинулся за ним, и он все время оглядывался на меня. Руку он уже держал в кармане. Я никак не мог отпустить его. Я шел вслед за ним, на ходу дожевывая бутерброд, будто сейчас не было у меня важнее дела на свете — успею я съесть свой бутерброд с вареной колбасой или нет.

Батон быстрым шагом пересекал вестибюль. До вертушки-двери — двадцать шагов. Я побежал. Батон бросился к двери, и я увидел, что рядом со мной в стеклянной стене зияет проем на улицу — выставлено стекло, я нырнул в проем, в лицо плеснула острая дождевая пыль, ярко полыхнули автомобильные фары у входа, который оказался совсем рядом, затормозил автобус, и из него навстречу выбежавшему Батону посыпались пассажиры. На мгновение он потерял меня из виду, и я выбежал на мостовую, чтобы обогнуть автобус спереди и выйти Батону в спину, но и он соображал довольно быстро и сразу понял, что для него автобус — хорошее прикрытие. И когда он выскочил из-за кабины, то мы столкнулись носом к носу. Пистолет он вытащить не успел, я перехватил его поперек корпуса, а в голове четко билась мысль: если он вырвет руку из кармана — мне придет конец...

Драчун из меня неважный, и приемы знаю плоховато, но впервые в жизни я ощутил: если не удастся удер-

жать Батона, то через несколько секунд я умру. Батон был тяжелее меня килограммов на двадцать, и рвался он бешено, таская меня по тротуару как куль. Но вытянуть руку из кармана я ему не давал. Какие-то люди, наверное пассажиры автобуса, что-то кричали, молодой таксист — из лучших, конечно, побуждений — стал оттаскивать меня от Батона, и я закричал: «Отойди, пистолет у него!..», и Батон, как бы подтверждая это, хрипел, отплевываясь: «Перестреляю, падлы, паскуды проклятые!..»

Люди не могли взять в толк, что происходит, и в растерянности стояли вокруг, а Батон, извернувшись, ударил меня головой в лицо, и все вокруг загрохотало, будто бухнуло из пушек, заметались, запрыгали по мокрой мостовой фонари, завертелись над головой в бешеном танце голые ветки деревьев, я почувствовал, что по лицу у меня течет кровь, меня тошнило от ее ужасного мясного запаха, вдруг боль во всем лице стихла из-за того, что он вцепился мне зубами в плечо, и я чувствовал, как он вырывает из меня кусок мяса, и мне бы, наверное, не выдержать этой муки, но отпустить его я не мог, иначе все они — вчерашние и завтрашние — Крот, Лагунов, Прохацук, Белаш, Батон — меня бы убили, они оказались бы сильнее. И я не отпускал его руку. Я держал Батона в захвате поперек корпуса, прижимаясь к его рубаше своим разбитым в кровь лицом, в котором болела каждая клеточка, а он бил меня ногами, левой рукой под ложечку, в печень и не мог добить, заставить разжать руки. Вдруг я почувствовал, что скоро потеряю сознание, и хотя еще держал его руку, а перед глазами уже мелькало безумно-слепое лицо деда Батона и Лена говорила: «...а какой ценой это достанется, тебе безразлично, Стас», и мать, светя глазами, объясняла, что надо устроить свою жизнь вовремя и Шарапов говорил: «Без нужды не обнажай, без славы не применяй».

Где-то далеко раздался тонкий частый треск, словно строчили из игрушечного пулемета, бешено забился в моем судорожном объятии Батон, и я понял, что это приближается патрульный мотоцикл. Батон рванулся и дико, страшно, как волк, завыл, мы оба упали на мостовую и покатались по лужам, по грязи, но рук я не разжимал. Потом приподнял голову и увидел, что желтый мотоцикл совсем рядом, я видел даже дымки у вы-

хлопных труб и брызги из-под колес и видел, как с ко-
ляски прыгнул и бежит к нам милиционер, но Батон
снова страшно ударил меня головой в лицо, на мгно-
вение я откинулся, и он смог вырвать руку из кармана
и выстрелить в меня.

В упор. Выстрела я не услышал, только что-то боль-
но ударило в грудь, небо подпрыгнуло как резиновое,
и последнее, что я видел, парящий надо мной в этом
ненастоящем, резиновом небе милиционер...

ГЛАВА 40 АЛЕХА ДЕДУШКИН

И сразу он отпустил руки, силы кончились и у меня.
Кто-то меня держал, кто-то выворачивал из ладони
пистолет, меня связывали, пинали, кто-то все еще
кричал пронзительно-тонко, замахнулся на меня
таксист, его отталкивал милиционер, люди метались,
и все шел и шел дождь, и что-то бубнили голоса
вокруг:

- Поднимите голову ему...
- Расступитесь, граждане, воздуху дайте...
- «Скорую» вызвали?..
- Какая «скорая» — кончился он уже...
- Господи, молодой какой! Мальчик...
- Бандит проклятый!..
- Что же это делается, люди добрые...

Не доходили до меня никакие слова, потому что я
все время смотрел на лежащего в грязи Тихонова. И у
мертвого, лицо у него было удивленно-сердитое. Кровь
и грязь уже спеклись на щеках. И глаза были открыты.
Дождь стекал по его лицу круглыми каплями. И только
сейчас я понял, что это я — я, я, я — убил его.

Лицо у него было, как у моего сына, неродившегося
сына, в том страшном вещем сне.

Боже мой, что я сделал? Это же ведь не Тихонов вов-
се, окровавленный, растерзанный, валяется под дождем
на мостовой.

Это я свою собственную жизнь растоптал и растер-
зал. Вот и открылись передо мной все семь жилищ осуж-
денного судьбой...

Яркий свет операционной лампы. Боль. Холод. Беспамятство. Все плывет, качается, и времени не существует, я нырнул в него, пробив тонкую пленку сна, как дрессированный тигр рвет в цирке горящее бумажное кольцо. Рядом на стуле — мать. В послеоперационную пускают только к умирающим. Значит, я умираю? Нет сил шевельнуть губами... И чей-то голос — где-то в изголовье, позади меня — шелестящий, шепчущий: «...Старые часы в нагрудном кармане... Пулю увело... полсантиметра...»

И вовсе это не послеоперационная, это гоночная «бочка»; громадная тяжесть прижимает меня к ревущему мотоциклу, и спираль круто, сильно разворачивает меня на грохочущей машине все выше, к белому полыханию юпитеров... Долго-долго, целый год светло. Потом снова темно. И теперь опять яростно вспыхивает свет — я вспоминаю шелестящий голос, спрашиваю:

— Часы?..

Мать протягивает мне на ладони блестящий искореженный квадратик, весь изорванный, размятый, и не разглядеть на нем тусклого циферблата со старыми черными стрелками... Бессильные горячие капли бегут у меня по щекам, и нет сил сказать матери, что она держит на ладони завещанную мне машину времени, которая разлетелась вдребезги, чтобы вновь подарить мне ощущение своего бессмертия — навсегда.

И снова плывут сны, короткие, легкие. Я открываю глаза, в палате полумрак. Девочка-медсестра сидит рядом со мной и читает книжку. Из окна дует слабый ветерок, пахнет листьями и дождем. Девочка перелистывает страницу, устраивает книгу поудобнее, и на обороте я вижу рисунок: монах дошел до края небесного свода и, высунув наружу голову, разглядывает чудесный и неведомый мир...

О Г Л А В Л Е Н И Е

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1.	Инспектор Станислав Тихонов	6
Глава 2.	Вор Леха Дедушкин по кличке Батон	12
Глава 3.	Досуг инспектора Станислава Тихонова	15
Глава 4.	Тишина вора Лехи Дедушкина	28
Глава 5.	Стена инспектора Станислава Тихонова	36
Глава 6.	Пасьянс вора Лехи Дедушкина	50
Глава 7.	Вчера и завтра инспектора Станислава Тихонова	56
Глава 8.	Школа справедливости вора Лехи Дедушкина	68
Глава 9.	Перспективы инспектора Станислава Тихонова	81
Глава 10.	Похвальная грамота вора Лехи Дедушкина	89
Глава 11.	Унижение инспектора Станислава Тихонова	96
Глава 12.	Час свободы вора Лехи Дедушкина	109
Глава 13.	Ночь инспектора Станислава Тихонова	124
Глава 14.	Золотая рыбка Лехи Дедушкина	133
Глава 15.	На взгляд инспектора Станислава Тихонова	145
Глава 16.	Шаман вора Лехи Дедушкина	154
Глава 17.	Предпраздничные хлопоты инспектора Станислава Тихонова	161
Глава 18.	Тихая гавань вора Лехи Дедушкина	166

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 19.	Загородные прогулки инспектора Станислава Тихонова	176
Глава 20.	За правду борется вор Леха Дедушкин по кличке Батон	188
Глава 21.	...А оправдывается инспектор Станислав Тихонов	195
Глава 22.	Нервная система вора Лехи Дедушкина	203
Глава 23.	Бриллиантовая брошь инспектора Станислава Тихонова	217

Глава 24. ...И золотая челюсть вора Лехи Дедушкина	222
Глава 25. Савельев, боевой заминспектора Станислава Тихонова	235
Глава 26. Совсем один вор Алеха Дедушкин	241
Глава 27. Светские контакты инспектора Станислава Тихонова	247
Глава 28. Выдумки вора Лехи Дедушкина	255
Глава 29. Седьмой, некупленный билет инспектора Станислава Тихонова	262
Глава 30. Самоутверждение вора Лехи Дедушкина	275
Глава 31. Породистый щенок инспектора Станислава Тихонова	280
Глава 32. Семь жилищ вора Лехи Дедушкина	291
Глава 33. Правоведение инспектора Станислава Тихонова	294
Глава 34. Сновидения вора Лехи Дедушкина	301
Глава 35. Переоценка доказательств инспектора Станислава Тихонова	302
Глава 36. Разыскивается вор Алеха Дедушкин	313
Глава 37. Спираль времени Станислава Тихонова	315
Глава 38. Варианты вора Лехи Дедушкина	327
Глава 39. Обязательства инспектора Станислава Тихонова	330
Глава 40. Алеха Дедушкин	332
Глава 41. Станислав Тихонов	333

Вайнер А. А. и Вайнер Г. А.

В14 Гонки по вертикали. Роман. М., «Молодая гвардия», 1974.

336 с. с ил. (Стрела) 50 000 экз.

Между следователем Станиславом Тихоновым и рецидивистом Лехой Дедушкиным давняя и непримиримая борьба, и это не просто борьба опытного криминалиста с дерзким и даровитым преступником, это столкновение двух взаимоисключающих мировоззрений.

Р2

В 70302—173
078(02)—74 без объявл.

Вайнер Арнадий Александрович
и Вайнер Георгий Александрович

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

Редактор **А. Лобанова**
Художники **Н. Лавецкий** и **М. Златковский**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Г. Прохорова**
Корректоры **Г. Трибунская, Г. Василёва**

Подписано к печати с матриц 12/VI 1974 г. Формат 84×108^{1/2}.
Бумага № 1. Печ. л. 10,5 (усл. 17,64). Уч.-изд. л. 18,4. Тираж
50 000 экз. Цена 75 коп. Заказ 1394.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Су-
щевская, 21.

75 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ